# БОРИС ШЕРГИН

## *ИЗБРАННОЕ*

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1977

Составитель и автор вступительной статьи **Ю. Ф. Галкин**

Художник **Г. Н. Бурмагина**
Оформление **Е. М. Дробязина**

Ш $\frac{70302-148}{М\text{-}105(03)77}$ 106—77

# Б. В. ШЕРГИН
# (1896—1973)

## I

По-разному величали его при жизни: и «фольклористом», и «замечательным советским писателем», и «поэтической душой Севера», и «волшебником русской речи». Но словно все чего-то не хватает — еще одного определения? Еще одного эпитета? И они являются: «сказитель», «самобытнейший писатель, ни на кого не похожий». Но опять книги его, сама сущность его творчества, подобно капле живой ртути, ускользают из-под этой золотой булавки.

По некоторым сугубо внешним мотивам критики находили возможным сравнивать его с Пришвиным или с Бажовым — из любви, может быть, к разряду, к порядку в творческих рядах, но это еще меньше помогало делу и вызывало недоумение у самого Шергина.

Все доказательства «замечательности», «самобытности» сводились, по сути, к разговору о достоинствах и особенностях предмета, который у Шергина был всегда один—Русский Север, а личность самого Шергина приобретала некое прикладное значение.

Кажется, и сам Шергин отстраняется от этих неуверенно-пылких определений, он пишет в предисловиях к своим книгам: «...новеллы и сказки настоящего сборника слышаны были мною дома, в городе Архангельске, еще в юности» (Сб. «Архангельские новеллы». М., «Сов. писатель», 1936). А если так, если все это «слышано», то вроде бы авторство Шергина — дело вторичное, ведь и магнитофон тоже умеет слушать и запоминать. «Если я рассказал мало и не полно или что забвеньем спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни. Подкрепи свидетельством своим мою скудость» (Сб. «Запечатленная слава». М., «Сов. писатель», 1967).

Всякое присвоение художества безвестных людей было настолько чуждо характеру Шергина, что он считает необходимым не только обозначить все источники произведений, которые входят

в его книги,— «Устьянский пра́вильник», «Из рукописи «Сия книга — знание» Ивана Дмитриева», — не только воздать должную благодарственную славу учителям своим словотворцам, но даже к рассказу в полстранички считает необходимым дать примечание: «Слышал в Ленинграде на Волковом кладбище, от приезжей из Архангельска Наторовой», «Слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году, рассказывала женщина, ехавшая из Архангельска в Ленинград, к мужу», «Записано в Архангельске от мещанки пос. Неноксы». И так велика достоверность живого человеческого голоса в этих «записях», что исчезает впечатление его личного участия. Читателю кажется, что он уже не Шергина слушает, а саму живую жизнь. И не потому ли многие его вещи получили как бы «литературную обработку»? Так, например, А. Платонов обрабатывает сказку «Волшебное кольцо», которую Б. Шергин записал в 1920 году на северном, поморском, наречии,— А. Платонов переписывает ее своим, «платоновским», языком. Поэт Александр Яшин в 1939 году пишет по сюжету шергинской «записи» «Пуговка» свое знаменитое стихотворение «Пуговка» — почти доскональное переложение маленького рассказика стихотворным размером. Разумеется, все это говорит только об одном — об умении Шергина «записать» так, что сам он вроде бы тут ни при чем. Но какое в таком случае нужно было иметь чутье на слово, чтобы оно не прошло «мимо носу», не затерялось в веренице обычных слов и обычных бытовых разговоров! И эта удивительная «робость» вмешательства в произведение истинной высокой поэзии, которую люди творят как бы походя, под настроение, по случаю, не ведая о том, что профессиональные художники с благоговением называют эту редкую минуту высоким словом — вдохновенье! И не потому ли мы, уже основательно привыкшие только к одному виду искусства — именному, не потому ли мы, согласившись на «самобытнейшего писателя», все-таки не выдаем Шергину «патента» на изобретение, на открытие и в конце концов на значение его собственной личности? Да, он не вписывается в круг современных знаменитых писателей, тем более — классиков, но это еще ничего не значит — в смысле искусства, разумеется. А обо всем прочем, что дает принадлежность к избранным, он и сам мало весьма хлопотал, благодарно склоняя свою голову перед художественным гением своего народа. Да и всю жизнь свою Шергин остался верен завету, полученному еще в ранней юности:

— Поедешь, Борис, в Москву учиться, постарайся, чтобы наши сказания попали в писания.

Какое спокойное достоинство в простоте этих слов! Но удивляет еще и другое — сознание важности и необходимости для будущей грамотной жизни «наших сказаний»,

* * *

Конец XIX века и начало века XX. Волны капиталистических преобразований, меняющие облик крестьянской России, достигают и северных берегов. В Поморье исчезают ремесла и промыслы, на которых веками стояла здесь жизнь. На смену деревянному парусному флоту приходят железные корабли с машинами, и старик океан уже теряет свою грозную власть над человеком. Исчезают древние ремесла, и художники-корабелы, государи-кормщики, которых еще недавно можно было подрядить на постройку шкун или выбрать главой промысловой дружины, обретают вдруг некое легендарно-символическое значение — ведь их уже нет с нами, а народная память, утишая свою тоску по ним и ставя в пример новым поколениям морского сословия, пестует этот образ, влагая в него радостные воспоминания своей юности, здоровья.

Так, возмещая утрату, является в жизнь поэзия: шкипер Егор Васильевич («Егор увеселяется морем»), чиня новые пароходные машины, слагает, однако, гимны «легкокрылым парусным судам».

Технический прогресс меняет не только ремесла, а с ними и весь уклад жизни, он властно наступает и на все художества, на все старые формы бытования народного искусства. «Иона Неупокоев,— рассказывает Шергин устами устюжского мещанина художника Вопиящина,— имел дарование писать с живых лиц — глядит и пишет. Умел миниатюрное письмо, так что предельная величина не превышала двенадцати вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия. Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посановитее».

А слово — материя еще более хрупкая, чем «миниатюрное письмо». Пусть даже если это слово и письменное — народной письменностью Север был богат, и это уже сейчас не требует доказательств. В книгах Шергина мы найдем прекрасные образцы такого творчества, и один из них — «Устьянский пра́вильник». «В северорусском промышленном мореходстве издревле существовало «обычное право», своеобразная юриспруденция, определяющая профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу,— свидетельствует Шергин.— Иногда эти жизненно деловые отношения закреплялись письменно». Но, право, смысл «Пра́вильников» гораздо шире границ хозяйственных забот морского сословия. Это некий моральный кодекс вообще, имеющий в виду профессиональные качества че-

ловека скорее производными от всего нравственного строя индивидуальной души и всей среды, в которой эта «душа» обитает.

«За которым человеком сыщется какое воровство, или татьба, или какое скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать» — потому, мол, что такой человек, будь он самых высших профессиональных достоинств, может загубить не только все дело, но и всю артель.

Или: «Ежели покоренье невклиру (кормщику) напоказ содержится, а внутри молва и мятеж, то ждет нас беспромыслица».

К XX веку такие «пра́вильники» уже были реликвиями старого времени, но даже и писаные «почерком XVIII века» они все-таки существовали. Но вот устному художественному слову, этой народной библиотеке сказок, преданий, ста́рин, легенд, былин, притч, новелл, песен, XX век угрожал полным исчезновением,— много ли мог записать случайный ученый-фольклорист! Да и то сказать: один записывает только былины, другой — только свадебные песни, третий — сказки. Все это незначительные островки в океане народной поэзии. Да эта библиотека не могла существовать сама по себе, она была живой и могла жить, пока устное художественное слово в течение многих веков было полновластным, единственным и универсальным средством общения, пропаганды и воспитания. Но если в обычной жизни, «на берегу», в спокойной бытовой обстановке пользование этой библиотекой шло будничным порядком — от колыбельных песен, сказок, нравоучительных новелл до героических былин, то в среде морского сословия были еще и особые хранители этих богатств — «поморы, идучи на дальный промысел, брали с собой на корабль песню и сказку». И тут уж слово служило великую и ничем не заменимую службу — промысел, от которого богатела Архангельская страна, дальний, на диких пустых берегах, Студеное море угрюмо и жестоко, а артель зверопромышленников — десять-пятнадцать человек, вверивших свою жизнь, свою судьбу господу богу да артельному старосте. Но вот еще на утлом кораблике «песня и сказка», и на равной доле она с самым ловким промышленником. Зачем? Да чтобы, когда наступят «мрачные дни», люди не упали духом, не поддались тоске и цинге, не озверели, не одичали за долгую вынужденную зимовку среди полярной ночи, чтобы не затмился разум в изнурительной борьбе за жизнь, не сломилась в душе воля от видимой бессмыслицы такого существования, чтобы не потерялся во мраке путеводный огонек жизни, — ведь песня, сказание — это всегда надежда негаснущая. Не потому ли из-за

талантливых посказителей и песенников — этих последних потомков вещего Бояна — «артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали» их друг у друга, как пишет Шергин.

Речь, по сути дела, идет об исчезновении огромного духовного материка, а не только отдельных видов народного искусства. Теперь у нас уже есть полное право говорить об этом, как о факте свершившемся. Но если осколки материальной культуры мы еще как-то можем собрать по черепкам, склеить и свезти для сохранения в музеи и заповедники по типу Кижей, то со словом дело обстоит сложнее. И страшно подумать, что бы потеряли, не будь Бориса Викторовича Шергина. Поморская многовековая словесная культура на своем безвозвратном закате как бы положилась на одного из немногих уже своих наследных художников и хранителей. Нужно иметь в виду не те жанровые острова словотворчества, поддающиеся хотя бы мертвой записи на «машину», на магнитофон, но слово повседневное, сделавшее быт, труд и весь уклад жизни не скучной повинностью, но тихим неназойливым праздником, раскрепощающим человеческую душу, подвигающим ее к доброй деятельности и творчеству. Прочитайте рассказ Шергина «Егор увеселяется морем», и вы наглядно, крупным планом увидите победное торжество обычной человеческой души над дремучей стихией мелких будничных страстей. Вот какого слова хранителем был Шергин.

В 1924 году на Пинеге умирает Марья Дмитриевна Кривополенова, и этот последний час великой бабушки был по слову Шергина таким: «Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечу. Сейчас запоет петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла:

— Прости меня, вся земля русская.

В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки...

Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен».

Но это был закат и устного народного слова вообще, потому что, кроме всего прочего, на смену устному художественному слову, вместе с переменами и в самой жизни, властно шло и утверждалось слово печатное — газета, книга, а следом и всепроникающее

неумолчное радиослово[1]. И вот это слово пришло и полномочно утвердилось — мы тому живые свидетели. Но эти два состояния русского слова блистательно соединил, если можно так сказать, Борис Викторович Шергин — его письменное слово содержит живую жизнь слова устного, слова народного.

## II

«Я, Борис Викторович Шергин, родился в г. Архангельске в 1896 году в семье архангельского помора, корабельного мастера. Окончив классическую гимназию, я учился затем в Московском Строгановском художественно-промышленном училище...»

Автобиографическая записка — жанр сугубо деловой, здесь имеют значение только внешние факты и даты, а это не всегда соответствует их внутреннему содержанию. В самом деле, как учесть впечатления детства? А именно они и определили всю судьбу Шергина, художника и человека. Детство его было исполнено событиями, в основе которых лежало обыкновенное чудо жизни у моря, у славного, воспетого народом поморским седого Гандвига. Эта сказка детства в родительском благочестном доме взлелеяла в мальчике чистую художническую душу, она озарила всю его жизнь сильным и немеркнущим светом.

«Живая душа содержала наш «старый» быт...» — запишет он в дневнике пятьдесят лет спустя. Теперь это даже как-то и непонятно, необычно, как волшебная бабушкина сказка. Да и рассказ Шергина «Детство в Архангельске» в самом деле больше похож на сказку — в таком гармоничном естестве и духовной свободе предстает здесь жизнь людей, жизнь семьи!

«Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки; окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство... ...Первые годы замужества мама от отца не оставалась, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать и дети... Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, баю да люли!
Спи-ко, усни

---

[1] «Вопрос о том, как поживает «народная» речь в наши времена,— писал Б. В. Шергин в 1963 году («Звезда», № 12),— есть вопрос школьный, отвлеченный. Быт города и деревни нивелируется. Устанавливается массовый язык.

Поэтически одаренные люди давным-давно равняются по тому или иному направлению общей литературы... Словарь печатной речи и речи устной в наши дни стал нейтральным. От газетного пошиба не убежишь».

Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец...

...Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновые,
Нашёсточки, лавочки еловые,
Весельшки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

...Я постарше стал, меня дома читать и писать учили. Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку. В азбуке опять корабли, и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная...»

А наставление, которое сочинил корабельный мастер первой статьи Виктор Васильевич Шергин, даря своему шестилетнему сыну Борису эту азбуку, было таким:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись...
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует.
Ходи право,
Гляди браво...
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно,
Дружно, не грузно,
А врозь — хоть брось!..

Семья Шергиных — не какое-то счастливое исключение. В таких обычаях, в таких наставлениях отеческих ясно слышен голос древних «пра́вильников», озабоченных прежде всего строительством человеческой души. И строительство это начинается именно с колыбельных песен, с таких вот азбук и наставлений. Вот с подобных обыкновенных чудес началась его жизнь.

Есть у него прекрасный рассказ «Поклон сына отцу». Рассказ в полторы книжных странички, но сколь он сдержан словом, столь полон чувством сердечной, невыразимой человеческим языком любви. Слово этой светлой прозы может быть даже и не совсем нам понятно, потому что тут автор не себя любит, не своими тонкими, высокими чувствами играет, нет, себя он и забыл вовсе, но вся любовь его обратилась в слово, возвышающее того, кого он любит, кто любим. Он не пишет: «О, как я любил отца!..» Но он так говорит о своем отце, что уже читатель не может не испытывать чувства благодарной любви к этому человеку.

Шергину чужда всякая попытка трагической детализации в картине смерти отца, долженствующая произвести «впечатление»

на посторонних, то есть на читателей, — то самое, мимо чего не может пройти беллетристика, — все это он оставляет вопленницам, это их работа, их искусство почиталось в Поморье. Но настоящая, живая любовь и театр — вещи разные, и для убедительного примера мы можем вспомнить тургеневские «Щи»: баба-вдова после похорон единственного сына хлебает, давясь горькими слезами, щи, потому что не пропадать же им, щам, ведь они посоленные, а барыня, для которой соль — пустяк, при этом размышляет: «Господи! Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»

И у Шергина: «Конец апреля... пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых».

Вот так просто, чисто и — на быстрый взгляд — бесстрастно заканчивается рассказ об отце. Но бесстрастно ли? Да, тут нет ни жалостного сиротского вздоха, ни траурной, для контраста, краски, ни тоскливой тени могильного креста, нет ничего такого, за что обычно хватается художная рука. Но вот будь весь этот личный антураж, не обернулся ли бы поклон отцу «поклоном самому себе»? У Шергина же ни напрасное слово, ни суетная мысль не заслоняет образ отца. И это молчаливое благородство истинной сыновней любви, и только оно может быть залогом будущей добрчестной жизни сына.

Слово Шергина скупо потому, что за ним таится глубина народной мудрости. Мудрости не книжной, нет, но той, которую скапливают только века, а осуществляется она с полной отчетливостью в таких понятиях, как любовь, смерть, жизнь... Это равнозначные и мирные строительные силы истории, традиций, самого человеческого характера, а в данном случае, в поморском варианте, характера удивительного каким-то радостным желанием подразумевать в другом более прекрасных свойств, чем есть в тебе самом. На такой характер, на такое мироощущение опирается искусство Шергина, и понять значение, смысл его скупого слова поможет нам такой, например, удивительный рассказ «Для увеселения». На каменистой грядке среди холодного северного моря остаются без всякой надежды на спасение два человека, два мезенских плотника Иван и Ондреян. Ситуация, как видим, далеко не рядовая, и мы, читатели, вроде бы вправе ожидать неких роковых страстей, как-никак, а борьба за жизнь — дело жестокое. Но, право, странные эти люди, Иван с Ондреяном! Как спокойно они рассудили о своей жизни: «...Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету перемененья не будет». Это была первая их мысль, мысль не случайная, не по благородному озарению возникшая, но по «превосходному разуму», а потому и твердая, спокойная, опро-

делившая все их дальнейшее существование па этой каменистой грядке среди моря. Эта мысль, это великодушное сознание о «нашем брате» и «белом свете» стали как бы заплотом для всех прочих черных, созвучных отчаянной ситуации, мыслей и темных, животных инстинктов. Да, в дело были пущены ножи, но даже не для того, чтобы «по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля», — это оставлено для других, потому что это дело не мужское — вопить. А стали они ножами своими украшать печальный досуг любезным их сердцам художеством, и вот простая столешница «превратилась в произведение искусства».

«Чудное дело! — пишет Б. Шергин. — Смерть наступила на остров, смерть взмахнула косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах...

Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы...

Ондреян, младший брат, прожил на острове шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано...»

И в самом деле, невозможно «стерпеть» простых и трогательных рифм этой мужественной эпитафии:

Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки...
Ондреян ухитрил раму резькой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья...

Вот каким был пир обреченных на смерть людей, величие которых сделало их святыми для жизни на родных берегах. Да разве и не так именно воспринят этот подвиг всем беломорским народом? «...старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки, — пишет Б. Шергин в начале рассказа.— «Заповедь положена, — пояснил старик. — Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».

В этом крохотном рассказе — весь характер поморского народа, все его нравственные и художественные воззрения, так широко и глубоко охватившие жизнь и строящие эту жизнь. Именно такое здоровое нравственное чувство и лежало в основе народного искусства Поморья. И оно вовсе не отвергает искусства именного, как не отвергает здоровое, сильное, крепкое дерево еще одной новой ветки, еще одной почки. Эти ветки и почки именного художества питаются соками из главного ствола, но они же и укрепляют этот ствол плодами своей работы. Такой именно органичной

ветвью является и творчество Бориса Викторовича Шергина. Это родство предельно ясно и очевидно во всем том, что он «записал», «пересказал», но так же предельно ясно и очевидно оно и в тех вещах, которые он создал на основе своей собственной жизни, своих собственных наблюдений и впечатлений. Эти его «личные» произведения так полно проникнуты светом народного мироощущения, что становится невозможным разделить то, что Шергин «сочинил» сам, и то, что он записал, «перенял» от неведомых рассказчиков на пароходах, на пристанях, в поездах, и то, что еще в раннем детстве «усвоил» в родительском доме, так изобильном на всякое доброе художество.

## III

С 1915 года, как пишет Б. В. Шергин в автобиографической записке, он начал выступать с былинами и сказками в Москве и Петербурге, а в 1916 году двадцатидвухлетний юноша командируется Академией наук в Архангельскую и Вологодскую губернии с серьезным, как надо полагать, и едва ли сподручным даже ученому человеку заданием — определить границы диалектов вологодских и поморских. Но в данном случае интересен сам факт командировки с таким заданием.

Есть, думается мне, все основания считать, что эта работа молодого Шергина входила в программу по изучению фольклора и народного искусства вообще и отвечала глубокому общественному интересу того времени. В начале XX века интерес этот был особенно велик, а работа по изучению народного искусства и устного слова продолжалась с необычайной энергией. Началась же она гораздо раньше, еще с Пушкина, еще с Петра Васильевича Киреевского. Вслед за ними с такой же преданностью и самоотверженностью сбором произведений народного художественного словотворчества занимались и Павел Николаевич Рыбников, первый начавший записи русского народного эпоса, и Александр Николаевич Афанасьев, составивший капитальное собрание русских народных сказок, и Владимир Иванович Даль, в 1861 году выпустивший собрание «Пословиц русского народа». Это была работа людей пушкинского воспитания, пушкинской школы, и она стала возможна не только потому, что ею преданно занимались такие выдающиеся люди, но и потому, что они находили взаимопонимание и поддержку «доброхотных деятелей, помощников и пособников», по словам В. И. Даля. И работа эта была далеко не антикварного, не музейного свойства. Впервые, может быть, за всю историю России народное искусство, народное слово явилось совместно с профессиональным искусством самой существенной созидательной и организующей силой.

Конец XIX века характерен и новыми мотивами в искусстве, и новым подъемом общественного внимания к национальным художественным традициям, новыми формами просвещения. Л. Н. Толстой так, например, об этом сказал: «...в последнее время все чаще и чаще встречаются попытки народных изданий книг и картин, общедоступных концертов, театров. Все это еще очень далеко от того, что должно быть, но уже видно то направление, по которому само собой стремится искусство для того, чтобы выйти на свойственный ему путь», то есть быть истинно народным, служить «осуществлению добра в нашей жизни».

Начало XX века в искусстве, да и вообще во всей русской культуре, зачастую проходит в наших рассуждениях под знаком бурного и, можно подумать, единовластного торжества так называемого декаданса — весьма громкие, хрестоматийные имена художников, поэтов и писателей обозначили своим талантом это течение в искусстве. Но, конечно же, это было не триумфальное шествие[1], не единственно «новое». Как бы в противовес этой силе декаданса и модерна явилась и сила другая, не такая, может быть, эффектная, рядом с голубыми «шелковыми дамами», однако здоровая и детородная. И не менее известные художники, поэты и писатели, артисты и ученые служили ей своим талантом, видя смысл своего искусства в усвоении нравственных идеалов народа, его истории и художественных традиций. К тому времени благодаря усилиям многих поколений русских художников, музыкантов, писателей и ученых стала очевидной вся серьезность и художественная глубина народного искусства: за видимым примитивом картины, сказки и притчи, свадебной песни и героической былины, безымянных патериков и житий открылась самобытность, изобретательность, ясность мысли и устремления. Было уже о чем петь Шаляпину и Собинову, что сочинять Чайковскому, что писать Нестерову, Рябушкину, Кустодиеву, Коровину, Васнецову, было о чем задуматься Ключевскому. А сколько еще равных им по таланту и глубине прозрения художников, поэтов и писателей обратили взоры свои на жизнь народа, на историю родного отечества, на тот громадный художественный материк русского народного искусства! Все, кто чувствует свою причастность и ответственность за судьбу народа, за судьбу художественного народного

[1] Известно отношение Л. Толстого к декадансу, но надо думать, что на такое отношение у него не было монополии, а выражал он определенные настроения. В дневнике за 1909 год есть у Толстого такая запись: «Читал «Русскую мысль»: «Конь Белый», «Березка» и стихи. Без преувеличения: дом сумасшедших...» А в этом номере «Русской мысли» были: Ф. Сологуб, А. Блок, А. Белый, Б. Брюсов, З. Гиппиус, Д. Мережковский, С. Соловьев — цвет нового искусства и «мозговой центр» декаданса.

наследства, точно бы начинают спешить, торопиться: записываются на «машины» былины[1], зарисовываются ветшающие деревянные строения, создаются общества по охране памятников культуры и т. д. и т. п. Сериями почтовых открыток расходятся изумительные по сердечности и чувству рисунки И. Билибина, В. Васнецова, И. Грабаря. Запечатлеваются холмогорские, вологодские «девушки в праздничном наряде», «типы русских крестьян». А первое появление пинежской старушки Кривополеновой в Москве в военном 1916 году вылилось в триумфальный праздник русского народного слова. Да только ли слова? Мне кажется, и характера, который явила пинежская бабушка. Среди бабушкиных слушателей был и Борис Шергин, в это время — студент Строгановского художественно-промышленного училища.

Вообще повышенный, даже страстный интерес к народному творчеству, к народному искусству отвечал и самому духу тех предреволюционных лет, и существо этого общественного внимания очень точно высказал Василий Сергеевич Воронов, один из первых и глубоких исследователей русского народного творчества. В книге «Крестьянское искусство» (1924) он писал: «Давно пришла пора решительно отвергнуть тот снисходительный подход и милостивую оценку, с которой всегда обращались к этому искусству любопытствующие художники и критики. Перед нами находятся великая творческая сила и далеко не бедная художественная культура. Изучение и понимание их откроет нам убожество и бедность очень многих индивидуальных стремлений, которые мы склонны считать глубокими и важными. Перед русским крестьянским искусством неуместны гордые позы. Если мы еще не прониклись глубиной, жизненной красотой и мудростью этого художественного труда, то это значит, что мы очень небрежные наследники оставленного нам культурного богатства. Мы отрицаем то, чего еще не усвоили, мы пренебрегаем тем, что должны бы беречь, мы пытаемся исправлять там, где нам зачастую следует учиться».

Эти страстные слова можно с полным основанием считать эстетической и гражданственной программой действия не только В. С. Воронова, но и многих его единомышленников, в том числе — Б. В. Шергина.

В том же 1924 году выходит и первая «московская» книжка Б. Шергина «У Архангельского города, у корабельного пристанища». Он составил ее по старому, «научному», образцу: собрал

---

[1] Один А. Д. Григорьев за три лета поездок по Архангельской губернии записал 424 текста, «объехал и обошел пешком 39 населенных пунктов, записал от 65 лиц 213 былин, сделал 174 записи напевов на 52 валика, собрал массу наблюдений над бытованием эпоса в этом районе, подробно познакомился с условиями жизни крестьян».

ста́рины, эпические песни, былины, которые слышал еще от своей матери и талантливых земляков-посказителей. Правда, в предисловии, кроме верных слов вообще, есть и такие: «Если смолкают колыбельные песни, старухи позабыли сказки, а старики — старины, не можем ли мы перенять их исчезающее уменье?» Наивный и тихий вопрос по тому бурному и сложному времени, которому, впрочем, и сам Шергин был свидетель и участник: с 1921 года он работает в Институте детского чтения художником-рецензентом по оформлению и иллюстрации детской и юношеской книги. А живет этот «научный сотрудник первого разряда» в Сверчковом переулке в полуподвальной комнатушке, где скудный свет дня тщетно стараются возместить ярко расписанные филенки дверей и шкапов...

«Если смолкают колыбельные песни...» Но явилось в жизни уже много причин, по которым народное словотворчество, это «исчезающее уменье» воспитания человеческой души, в живом его виде, перенять было уже невозможно. Задача состояла в том, чтобы запечатлеть это умение как можно глубже и полней образом достойного печатного слова, которое уже будет неистребимо и, незабытое, совершит пусть и медленную, тихую, но серьезную работу. Однако к печатному, беллетристическому делу Шергин в эти годы как бы еще только примеряется. Да и талант его был — талант сказителя, сказочника, талант артиста народной школы, и уроки Кривополеновой, Пафнутия Анкудинова и многих других талантливых северных посказителей были еще очень свежи в памяти. И следуя этой артистической традиции, Шергин в разных аудиториях рассказывает новеллы и сказки, напевает старины и былины. Тем более что эта традиция давала артисту возможность при сохранении фабулы вольно обращаться с формой, вносить новые эпизоды и мотивы, менять диалоги — «в зависимости от интересов данной аудитории, так же и от собственного настроения». И условия эстрады не всегда давали возможность обращаться к произведениям с более тонким поэтическим и смысловым рисунком. Поэтому в самой серьезной книге Б. Шергина довоенных лет — «Архангельские новеллы» (1936) мы найдем только остросюжетные вещи и в основном бытового характера — то, что могло живо восприняться на слух, с одного раза.

Но «робость» Шергина-писателя не объясняется только стилевыми, синтаксическими трудностями при переложении устного слова на письменное. Много тут было и от той «гордой позы» именного искусства по отношению к искусству народному, к народному слову, которое стало как бы уделом только специалистов-фольклористов. И к этому «научному сословию» был причислен и Шергин. Однако и когорта специалистов-фольклористов не торопилась принять его в свои научные ряды.

Все это, конечно, мало способствовало популярности Шергина-писателя, Шергина-художника, каким он и был. Но с «дисквалификацией» Шергина как бы уничтожалась и его тема, его манера творчества, да и сам предмет.

«Живое слово люблю: сочинять бы да сказывать, — записывает он в дневнике.— Ино этот товар не идет. «Раз в год по праздникам» позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказать... Для этих редких и случайных «разов» нет резона сочинять, да и слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? «Уронена стара мода со высокого комода».

Но приверженность «старой моде» пронес Шергин через всю свою нелегкую жизнь, и была она ему единственной отрадой и утешением.

Завидная, мужественная цельность художнической души!

«Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или Багдад... Ежели твое упование есть любовь к красоте Руси, то «эти бедные селенья, эта скудная природа» радостное извещение несут твоему сердцу... Потому что талантливость твоя или моя «есть вещей обличение невидимых». Он не видит з д е с ь сказки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, здесь что и было, да сплыло...» А у нас с тобой... Вот выпадет первый снег... Белая земля, серенькое небо, и — на черной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока...»

Все военные годы Шергин живет в Москве, а тяготы и скудость военных лет хорошо известны. Но у Шергина они еще помножались на совершенную неприспособленность к хлопотам о своей персоне, на совершенное, какое-то детское неумение «доставать» самые элементарные житейские блага. Все его заработки были — «концертишки», как он сам говорил: «вспомнят, ткнут в какой-нито концертишко, а не вспомнят, сиди, жди». За военные годы он более полусотни раз выступал с чтением своих рассказов в московских и подмосковных госпиталях. И еще — относятся к букинистам книги — единственное, чем он дорожил в жизни, продается все, что можно продать, — за хлеб, за картошку. Ему только пятьдесят лет, а уже гаснет зрение. Не ждет он и чуда с исцелением ноги, которая ампутирована была еще в 1919 году, когда юношей в Архангельске на принудительных оккупационных работах попал под вагонетку. «Еле брожу, еле вижу,— записывает он в дневнике в 1944 году.— Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу и, всегда холодный, равнодушный, участливо взглянул:

— Не много ли для одного человека?

Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в послед-

ние смертоносные годы... Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей...»

И вот только в 1947 году в издательстве «Советский писатель» выходит его книга «Поморщина-корабельщина». Но, видимо, долгие годы «концертной деятельности» наложили на эту книгу свою печать — была она, по сути дела, неким репертуарным сборником тех произведений, с которыми выступал Шергин в военные годы. Разумеется, это не могло быть ни литературой и ни фольклором, чем и не преминули воспользоваться специалисты-фольклористы, увидев в ней посягательство на свои святыни. Отлучение было жестоким, как приговор, и повлекло свои недобрые последствия: Шергин «замолчал» на десять лет.

Лишь в 1957 году в издательстве «Молодая гвардия» выходит его, по сути, первая «писательская» книга — «Океан — море русское», которая и приносит автору заслуженную славу.

И поскольку признание это было заслуженным и слегка запоздавшим, оно не стало громким и суетным, оно не изменило ни самого Шергина, ни образа и условий его жизни, ни его укоренившихся потребностей обходиться самым малым. Слово Шергина не производит в читателе «психических сдвигов» и не требует немедленного поклонения творцу, потому что в первую очередь за словом этим мы не артистический экстаз самого творца видим, но спокойный, живой и самостоятельный образ того, о к о м пишет Шергин. А это — Русский Север с богатством своих древних художественных традиций, это — характер помора, унаследовавшего и ремесло свое и обычаи от предков, это — природа Севера, неяркая, тихая под жемчужным светом широкого неба, такая, какою является во всех своих переменах жителю Севера, а не случайному соглядатаю, и потому все здесь несет сердцу «радостное извещение». Вот почему при имени Шергина первая наша мысль не о нем самом, а о Севере, о северном народе.

Только иногда не мешало бы нам подумать и о нем самом.

Он исполнил завет, полученный в юности, и книгам его, этому живому рукотворному зеркалу Севера, жить да жить во славу русского народа и русского слова. Но если вечен Север, если вечно его жемчужное раннеутреннее небо, если вечно Белое море — «пресветлый наш Гандвик», то не вечен художник, запечатлевший эту вечную красоту. И он умер на семьдесят седьмом году жизни. Умер, как и жил,— тихо, спокойно, в «отдаленной комнате», хотя она и была в центре беспокойной Москвы, и отбыл к месту вечного покоя на Кузьминском кладбище.

А день был мягкий и серый — день поздней осени, и свежий снег пышно лежал по всему кладбищу. Это была любимая им офорт-

ная красота снега и голых черных деревьев под жемчужным низким небом. Но он уже давно не видел ее — последние пятнадцать лет Борис Викторович Шергин «соглядал» красоту русской природы только «внутренним оком».

«У всякого человека есть что вспомнить, но у человека бездарного ничего не отпечатлелось. Бездарному все ни к чему, все мимо носу прошло.

Самая великая печаль — утрата близких, вековечный уход их. Уходят отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и советно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, «годы катятся, дни торопятся», пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью, ее неизбежными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шел ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. Скорбь об ином утишит тебе только мать — сыра земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны (старость нередко приносит известное нечувствие).

О, как досадно слышать:

— Все это было, да прошло. Что прошло, то не существует...

Немысленная речь! Невещественное прочнее осязаемого. Полено хоть сто лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел, без меня обе померли, но любовь и благодарность к ним живы со мною. Все, что было, то я в себя вобрал и оно *есть*. Горестно бывало, но надобно вразумиться сердцем и принять бедности все как науку, как врачество, как опыт для остаточных дней — и почувствуешь удовлетворение...

Мне часто пеняют, и на меня дивят, и меня спрашивают: для чего ты в старые книги, в летописи, в сказанья, в жития, в письма преже отошедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобны разве для жизни эти «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»? И я отвечаю:

— Совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь — история моей семьи, отца-матери, бабок-дедов...» [1]

И книгами, и примером своей жизни Шергин дает нам урок памяти и любви.

*Юрий Галкин*

# ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ СЛАВА

Поморское сказание о Софии Новгородской начинается так: «По слову Великого Новгорода, шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Иван оследил Нехоженый берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут, кряду, и ход урочный морской...»

Устное слово и письменная память Севера свидетельствуют, что уже в XII—XV веках русские люди своим умом-разумом строили суда «сообразно натуре моря Ледовитого». На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки — исполинские осьмиконечные кресты. Поперечины креста астрономически верно указывали направление стран света.

Новгородцы и дети их, архангельские поморы, науку мореплавания называли «морское знание», а судостроение обозначали словом «художество».

Еще во времена стародавние северорусские мореходцы стали закреплять свой опыт письменно. Надобно думать, уже в XVI столетии, если не раньше, распространялись среди архангельских поморов эти «уставы морские», «морские указы», «морские урядники» и «книги морского ходу». Это была литература стихийно-народная, самобытно-русская. С глубоким прискорбием надобно отметить, что невнимание, равнодушие, пренебрежение, при содействии всеистребляющего времени, сделали то, что от морской старинной литературы остались одни фрагменты и отдельные устные свидетельства. То, что рассыпано ворохами, приходится собирать крохами.

В этих «морских уставцах», «указцах» обсказаны кора-

бельные маршруты из Белого моря во все концы Студеного океана, на запад, в Скандинавию и «во Всток» к Новой Земле и Печоре.

Практическая часть этих манускриптов вполне соответствует печатным лоциям нашего времени.

Древнесеверная рукописная лоция не только зрительно преподносит береговые попутные приметы, но буквально ощупывает дно морское, с подводными коргами, поливными лудами, яграми.

Старорусские лоции составлялись многоопытными людьми, которые «своими боками обтерли» описанные пути.

Путеводительную часть старопоморской лоции сопровождали иногда «особые статьи» о природе ветров, о распорядке приливо-отливных течений, весьма сложных в Белом море, о том, как предугадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по движению и по форме облаков. Эти статьи дополняет «Пловущий ледяной указ» или «Устав о разводьях и разделах, кака суды ходити и кормщику казати». Здесь говорится о том, что опытный кормщик знает суточное время прохода меж льдов, ибо судоходные разводья во льдах регулярны, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов.

Архангельские поморы досконально изучили «мудреный обычай» своего моря. Вот записанные Н. И. Рождественской слова мезенского крестьянина Малыгина:

«В нашей местности (Койденский берег) разное течение воды у прилива и отлива. Три часа идет в нашу сторону, на полунощник (северо-восток). Потом три часа идет в шелоник (юго-запад). Так ходит и прибылая и убылая вода. От берега в голомя, на Моржовец вода компасит: два часа идет под полунощник, потом под всток идет три часа, потом под юг около трех часов, потом под запад идет четыре часа.

Опытно знаем, по компасу сверено...

Хождение воды в ту или другую стороны, на убыль или на прибыль, и у Кедовского берега бывает не круто и не тихо. В послонке вода идет кротко, а у Воронова Носа прилив и отлив ходит яро — волну разводит».

Подобное описание пульсации морских течений содержат и письменные памятники.

Другим видом северной народной литературы является письменное закрепление морских правовых обычаев. На основе уставных правил, корни которых уходят во време-

на новгородские, регламентируются не только практически-деловые, но и нравственно-моральные отношения мореходцев-промышленников и друг к другу и к обществу.

Эту древнюю юриспруденцию содержит, например, «Морской устав новоземельских промышленников».

Выдержки из другого подобного сборника, именуемого «Устьянский пра́вильник», напечатаны в этой книге.

В рукописном сборнике XVIII столетия, вслед за статьями Никодима Сийского «О различных художествах», вписаны рассказы о кормщиках Иване Порűнике (Рűнике) и Маркеле Ушакове. Это как бы особый вид бытовой литературы Севера — своеобразная морская антология.

Церковный раскол, возникший в России во второй половине XVII века, был в значительной мере формой народного протеста против «сильных мира сего», против царского правительства. Вспомним сочувствие «староверия» Степану Разину и Емельяну Пугачеву.

На Севере в XVIII веке, в эпоху морального подчинения Западу, раскол носит черты своеобразного патриотизма.

В противовес мнению высшего общества, будто «русские всегда были во всем невежды», поморские писатели того времени прямо или косвенно старались напомнить о том, что у русского народа есть славное историческое прошлое.

Архангельские поморы-корабельщики, памятуя былую славу, обижались на Петра Первого за его увлечение голландцами и немцами.

Современник Петра поморский деятель Андрей Денисов, сказывая поздравление выгорецкому судостроителю Бенедикту, говорил:

«Полунощное море, от зачала мира безвестное и человеку непостижное, отцев наших отцы мужественно постигают и мрачность леденовидных стран светло изъясняют.

Чтобы то многоснискательное морское научное и многоиспытное умение не безпамятно явилось, оное сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют»[1].

По поводу указа Петра Первого, повелевающего строить суда исключительно по голландскому образцу, ар-

[1] Из поморской рукописи XVIII века, содержащей «примеры для поздравительных случаев».

хангельский мореходец Федор Вешняков в своей «Книге морского ходу» рассуждает: «Идущие к Архангельскому Городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Еконской губе[1] до совершенного освобождения Гирла[2] от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец... Но грубой кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но, когда то за обычай, то и весьма сносно... Чаятельно тот новоманерный вид судов определен на воинской поход и превосходителен в морских баталиях. Но выстройка промышленного судна, в рассуждении шкелета или ребер, хребтины или киля, образована натурой моря ледовитого и сродством с берегом отмелым».

В конце концов царский указ оказался бессильным перед... натурой моря ледовитого. Постройка лодей продолжалась до конца XIX столетия.

Поморяне это говорили не к тому, чтобы спорить да вздорить, но к тому, чтобы не обидно было жизнь строить.

Раскольник Ушаков и гонитель раскола холмогорский архиепископ Афанасий забывали распрю о вере, коль скоро дело касалось любезного им мореходства или судостроения.

Афанасий яростно не любил староверов; во времена знаменитого диспута о вере в Москве, в Грановитой палате в 1673 году, Афанасий Холмогорский, как гласит протокол: «Слупил с божественного старца Никиты портки и рясу». В свою очередь божественный старец выдрал у архиепископа полбороды.

Тем не менее, узнав о смерти Маркела Ушакова, Афанасий выразился так:

«Сей муж российскому мореходству был рожденный сын, а не наемный работник».

Холмогорский архиепископ Афанасий (годы его жизни — 1640—1702) принадлежит к числу старинных русских самобытных картографов. Морские карты, или, как их называли в старину, «морские чертежи», были интереснейшей отраслью древнерусского «морского знания».

Еще на заре XV века новгородец Иван Амосов «посиле счислил и сметил» свои морские походы и начертил «Обод», то есть контур, Белого моря.

---

[1] Становище Еконга в восточной части Мурманского берега.

[2] Горло Белого моря.

К середине XVI века соловецкий монах Филипп Колычев «много ревность имый еже в чертеж сложити путь морской... Но и от мореходцев неутомленно истязаше о ходех корабельных... И те мореходцы ему свои походы сметывают. И он, Филипп, ту смету счисливал в чертеж».

В начале первой мировой войны, в Соловецке, автор этих строк калькировал «чертеж морской», по местному преданию, сделанный рукой Филиппа Колычева. В монастыре имелись архитектурные чертежи, план системы каналов, подписанные автором, игуменом Филиппом.

По свидетельству И. М. Сибирцева[1], почерк архитектурных и ирригационных чертежей совершенно тождествен с почерком пояснений к «морскому чертежу».

В XVIII веке художественными и тщательными «переводами» (копиями) с древних морских чертежей (преимущественно соловецкого происхождения) славилось Выгорецкое общежительство[2]. Ф. Вешняков замечает:

«Надлежит смотреть, чтобы девки (мастерицы) не пестрили полуночного круга корунами и лицами». То есть не украшали белых мест на карте орнаментальной живописью. Вешняков заботился об этом на тот случай, что заказчик может нанести на «белые» места опыт своего путеплавания... Возникает недоумение: как же Петр из-за чужих деревьев своего русского лесу не видел?

Недоумение наше малое и худое. Петр был человек страстный и пристрастный. Пристрастие его к голландскому «штилю» покрывает страстная и плодотворная его деятельность. Деятельная натура Петра Первого была сродни натуре архангельских поморов. Вот почему так любил Петра старовер Маркел Ушаков и таким рьяным сторонником петровских реформ был не любивший иноземцев холмогорский архиерей Афанасий.

Ум архангельского помора никогда не был косным и неподвижным. Автор «Малого Виноградца» характеризует «судостроительное художество» Ушакова так:

«Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские[3] обдуманы по чертежу...

...Ушаков был ученик нехудых учителей и не хотел

---

[1] И. М. Сибирцев — учредитель епархиального древнехранилища в Архангельске.

[2] Поморские скиты на реке Выг, впадающей в Белое море.

[3] То есть предназначенные к дальнему плаванию, за границу.

уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству».

Петр жаловался: «Я один тащу воз в гору, а миллионы под гору».

Не Маркелы Ушаковы и не Федоры Вешняковы тащили воз под гору. Дело Петрово исказили господа, залакированные под Европу, не помнящие родства, но задававшие тон.

Во второй половине XVIII века заявлять о том, что у русских существует своя морская культура, уже считалось конфузным.

Федор Вешняков приводит такой факт: «У допросу от коммерц-конторы: куда которые суда ходили, я и похвалился своеручным чертежом. Да и ушаковский объявил, Новоземельской. Господин Присутственный смолчал, а конторские опосле говорят: «Для приезду господина члена, ты бы постыдился карбасное-то художество казать. Соблюдал бы в сундуке».

Упрятанная в сундуке древняя и оригинальная картография русских поморов была забыта.

Самый стиль, самая внешность древних «морских чертежей» оскорбляли вкус помпадуров XVIII века. Все, что было сделано в русском народном стиле, определялось выражением: «в подлом вкусе».

Вот почему первым картографом побережий Северного Ледовитого океана стали считать голландца Ван-Клейна. Между тем Ван-Клейн издал свой атлас только около 1600 года и пользовался для своей работы поморскими чертежами. Там, где у Ван-Клейна не хватало русских данных, чертеж его фантастичен.

В конце XVIII века в Петербурге предпринято было печатание Карты Русского Севера. Петербургские картографы рабски скопировали неверную голландскую карту. Тупоумие дошло до того, что даже искажения русских названий целиком перенесены были на «русскую» карту. Вместо «Канин Нос» на «русской» карте XVIII века напечатано «Кандинес», вместо «Святой Нос» — «Свети Нес» и т. п.

Пренебрежение к многовековому опыту поморов было так велико, что «русский генерал» Ф. Литке (XIX век) предпочел блуждать у Новой Земли в поисках Маточкина Пролива, нежели «оконфузить себя услугами мужиков», то есть поморов, досконально знавших Новую Землю.

В конце концов в сознании русского общества исчезло

всякое представление о том, что на Севере существовала большая морская культура.

Ведь мало ли в матушке-России всяких промыслов? В Кимрах шьют сапоги, в Вязьме пекут пряники, иные лепят горшки, плетут лапти, ткут рогожи. А поморы ловят рыбу. Что тут удивительного или особенного?

Древние документы, письменные свидетельства о северном мореходстве исчезали, терялись, утрачивались, оставались в безвестности, потому что люди науки не спрашивали о них, не искали, не собирали их.

Старинные виды морской литературы уничтожались забвением и временем. Но сохранилась у помора как бы врожденная потребность или привычка записывать события, хотя бы личной жизни, которые казались достопамятными. Отсюда характерное для Севера явление: каждый «архангельский мужик» непременно носит с собой записную книжку.

Во второй половине прошлого столетия в Архангельске жил некто Шмидт. Дворовые постройки своего дома он превратил в своеобразный музей. Здесь сохранялись своеобразные «памяти», оставленные погибшими где-нибудь «на голодном острове» или «в относе морском» промышленниками.

Перед лицом неизбежной смерти промышленник вырезал ножом на бортовине судна или на дверях, на столешнице промысловой избы сведения о себе, о погибших товарищах. Здесь и деловитое завещание о долгах, «кому что дать и с кого что взять», здесь и отцовское благословение, и «последнее прости» жене.

Даты памятных досок доходили до середины XIX столетия.

В 1862 году мещанин посада Неноксы Афанасий Тячкин описывал историю гибели своего карбаса в обстановке, довольно неподходящей для литературной работы... Лихая непогода уже несколько дней носит по Белому морю опрокинутый вверх дном карбас. Большая часть людей утонула. Мещанин Тячкин, уцепясь ногами за киль, то погружаясь в ледяную воду, то всплывая, выцарапывает шилом на днище карбаса обстоятельное донесение о причинах гибели груза и людей. Конечно, при более человеческих обстоятельствах поморы пользовались пером и бумагой.

Всем, кто бывал на Западном Мурмане, напомню высеченную на большом камне малого островка изящную узорную надпись:

«Горевал Гришка Дудин. 1696 год».

Лодья Дудина отстаивалась здесь от шторма, и Дудин украсил пустынную морскую скалу изящной резьбой.

В Эрмитаже хранится кубок старинной холмогорской работы, вырезанный из мамонтовой кости. Резьба производит впечатление тончайшего кружева. По венцу кубка идет надпись: «На посмотрение будущим родам».

Эта любовь к достопамятности, это стремление увековечить явления живой жизни в большой мере свойственны были людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся единственным хранителем русского национального эпоса?

Здесь приходится погоревать и позавидовать вот о чем: на Север с половины прошлого столетия стали приезжать специалисты по собиранию былин, специалисты по собиранию сказок и песен, специалисты по народному прикладному искусству.

В двадцатых годах Север объезжали командированные Институтом материальной культуры специалисты по собиранию и описанию оловянной посуды: кроме оловянных ложек и плошек, они не глядели ни на что!

Но, увы, никогда-никогда на Север не приезжали люди, которые настойчиво, целеустремленно спрашивали бы, искали бы, собирали бы специально морскую письменность.

Никто никогда не внушал поморам, что все «морские уставцы», «урядники», «лоции» важны для науки и имеют историческое значение. Никто специально не записывал и устных преданий, устных рассказов о славных мореходцах, об именитых судостроителях.

А ведь жизнь не стоит на месте. Забывается не только все ветхое и бесполезное, но и то, что интересно для истории, для живой науки.

Я говорил о старинных видах северной морской литературы, об уставах, урядниках, указцах, лоциях, сказаниях и т. п.

Может быть, позднейшим видом морской народной литературы Севера можно считать записные книжки поморов. Даже в начале века XX любой кормщик-шкипер, мурманский промышленник, корабельный мастер, пароходский служащий, непременно имел при себе записную книгу, достаточно объемистую. Сюда заносились сведения, например, о вскрытии Северной Двины. Тут тщетные арифметические выкладки с целью сообразить, почему при рас-

чете с хозяином он не только ничего не получил, а еще остался должен «три рубли».

В записных книжках, например, восьмидесятых годов общедоступность и дешевизна постройки деревянного парусного судна сравнивается с неприступною дороговизною постройки парохода.

Нередки в этих книжках описания штормов или «любознательных случаев», «морских встреч». Нередки записи преданий, связанных с тем или другим местом попутного берега.

У какого-нибудь старого мореходца таких записных книжек накоплялось немало. После его смерти они выносились на чердак или поступали в распоряжение ребят, которые заполняли своими каракулями свободные места.

Здесь было упомянуто, что историческая наука морской историей Севера специально не занималась, а наука географическая упоминала о северном мореходстве и судостроении вскользь, наряду с бесчисленными «местными» кустарными промыслами деревенской России. Но все же, в силу какой-то интуиции в среде «морского сословия» «свеча не угасла». Сознание, что «морское преданье и морское писанье» для чего-то важны и кому-то нужны, теплилось в среде беломорских мещан и крестьян. В начале XX столетия в Архангельске еще немало было «домов», или семейств, хранивших память о славных мореходцах и судостроителях. Были в среде моряков, пароходских служащих, в среде судостроителей отдельные лица, любители морской старины, собиратели морских преданий.

Я, пишущий эти строки, родился в Архангельске, в семье «корабельного мастера первой статьи», и половину жизни провел в среде людей, прилежащих мореходству и судостроению.

Отец мой принадлежал к числу тех поморов, которые никогда не расставались с записной книжкой. Виденное и пережитое, слышанное и читанное отец умел пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей.

Отменной памятью, «морским знаньем» и уменьем рассказывать отличались и друзья отца, архангельские моряки и судостроители М. О. Лоушкин, П. О. Анкудинов, К. И. Второушин (по прозванию Тектон), В. И. Гостев.

Кроме того, что каждый из поименованных имел многолетний мореходный опыт, каждому из них сословие наше приписывало особый талант.

Пафнутия Анкудинова и в морских походах и на зве-

риных промыслах знали как прекрасного сказочника и певца былин. Умел он так же петь по-древнему, по древним «крюковым», знаменным книгам[1].

Виктор Шергин мастерски изготовлял модели морских судов. Был любитель механики. Любовь к слову сочеталась с любовью к художеству. Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме расписаны его рукой. В живописи своей отец варьировал одну и ту же тему: корабли, обуреваемые морским волнением.

Корабельный мастер Василий Гостев сохранял в искусстве своем лучшие традиции северного судостроения. Конон Тектон говорил о Гостеве: «Я в его меру не дошел». Знание Василия Гостева творчески унаследовал сын его. Этот Гостев-сын является в наши дни видным представителем деревянного судостроения.

В противоположность собратии своей, жившей интересами и бытом своего морского сословия, Максим Осипович Лоушкин был, так сказать, человеком светским. Имел чин «капитан дальнего плавания». Картинные рассказы Лоушкина о жарких странах больше всего интересовали его слушателей. Свое, северное, казалось нам будничным. Даже наезжавшие в Архангельск писатели требовали от Лоушкина рассказов о кругосветном плавании. С просьбой рассказать что-нибудь в этом роде обратился к Лоушкину и Новиков-Прибой.

— Когда я был в Марсели,— начал Лоушкин.

— Я тоже был в Марселе,— перебил его Новиков-Прибой.

— А были, дак вы и сказывайте,— отрезал Максим Осипович и замолчал.

В настоящей книге приведено несколько моих пересказов слышанного в свое время от М. Лоушкина о старинных северных мореходцах. К морской старине Лоушкин относился с большим интересом — чувствовал, что познания его в этой области важны и нужны.

У Лоушкина были своеручные чертежи путеплаваний его по Ледовитому океану. Интересовался М. Лоушкин и старинными картографами. По поручению Лоушкина автор этих строк незадолго до первой мировой войны делал копии с Соловецких морских чертежей.

[1] Нотная система, бывшая в общем употреблении на Руси до XVIII века.

Уже в годы гражданской войны я брал у М. О. Лоушкина для прочтения и переписки «Устьянский прáвильник», выдержки из которого приводятся ниже.

В девяностых годах М. О. Лоушкин был капитаном морского судна, с которого архангельский губернатор Энгельгардт обозревал берега подведомственной ему губернии.

Увидев, что губернатор ведет путевые записки, капитан Лоушкин возблагодарил бога: «Наконец-то на жизненном пути встретился человек, не только влиятельный, связанный с Петербургом, но и ученый!» При всяком удобном случае дальновидный Максим Осипович начал внушать «его превосходительству» о древности северного мореходства.

Зимою Максим Осипович хвалился перед приятелями:

— Я себя не сконфузил. Энгельгардту неинтересно слушать о голых алипутах Африки. Он сам это видел. А вот встретили мы у Терского берега лодью, и я говорю: «Обратите внимание, ваше превосходительство, на этот тип судна. Это праотцы российского флота». И начну ему сказывать от книг, от старых, что помню.

— А он что, губернатор? — осведомляются слушатели.

— Он на ус мотает. Вот увидите, друзья, и наше сказанье попадет в писанье.

В 1896 году вышла книга Энгельгардта «Северный Край», посвященная его путешествию по Северу. Упомянул ли автор вдохновенного помора Лоушкина, вспомнил ли его сказания? Вспомнил и упомянул в двух словах:

«...наше судно вел М. Лоушкин, любитель поболтать».

— Знать, час наш не пробил,— вздохнули поморы.

Приблизительно в 1900-м году в Архангельск пришла весть из Норвегии, что послы «Петербургского комитета помощи поморам» обивают пороги у норвежских судостроителей. Просят сочинить проект промышленного парусного судна, по которому могли бы учиться русские судостроители-поморы.

Слухи оказались верными. Уполномоченный Комитета Брейтфус привез норвежские чертежи в Архангельск. На собрании поморы задали Брейтфусу ряд вопросов:

— Зачем было ходить на поклон к варягам? Разве на севере России нет своих опытных судостроителей?

— Заказывая иностранцам проект промыслового суд-

на, имел ли Комитет понятие, что таковому судну не должно чуждаться льдов, ни бояться заходить в отмелый берег?

Эти принципиальные вопросы поставлены были плеядой М. Лоушкина, и они остались без ответа.

Зато Брейтфус говорил о том, что и «ваш великий земляк Ломоносов ездил учиться в Германию. И великий Петр учился кораблестроению у голландских мастеров».

— Вы, поморы,— говорил Брейтфус,— плаваете по памяти, по дедушкиным приметам, а на Западе уж за сотню лет существует морская наука и морские книги...

Максим Лоушкин не стерпел, прервал оратора:

— Господин Брейтфус,— загремел старый помор,— а не будут ли наши морские книги постарше западных?!

С этими словами он выложил на стол древний рукописный морской устав.

Брейтфус был приятно удивлен, но, очевидно, все еще не пришел час, чтобы петербургская наука обратила внимание на свидетельство поморов, опросила бы их и занялась собиранием древних поморских документов.

Через несколько лет, когда в Петербурге подготовлялись к печати лоции Мурманского моря, Белого моря, в Архангельск приезжал составитель лоций Арский (или его сотрудник). Секретарь Губернского статистического комитета Голубцов с энтузиазмом отыскивал для них по городу поморские рукописные лоции.

Некоторый отзвук о том, как использовала комиссия Арского материал Голубцова, отзвук невнятный и односторонний, привелось мне услышать уже после революции там же, на родине, на выставке, посвященной культуре Севера.

Среди пышно разрисованных книг выгорецкого письма XVIII века выделялись скромным своим видом «Книга морского ходу» Федора Вешнякова и «Лоция» Ивана Лодемского.

Из случайного разговора я узнал, что как раз из этих тетрадей были некогда сделаны выписки сотрудником Арского. Но в печатном издании первоисточники не названы.

Опять, значит, если «наше сказанье и попало в писанье», то без помину запечатлено, скрыто в литературном изложении.

К рукописной литературе Севера я никогда не подходил как историк-исследователь. Я не на том коне ехал. В юности выискивал в старой книге живой фабульный рассказ. Постепенно начал я замечать и ценить образность

и оригинальность языка. В старых книгах замечал только картины живой жизни, старался увидеть живых людей.

В силу такого моего умонастроения любое северное предание, слышанное из живых уст, запечатлевается во мне ярче и сильнее, чем любой письменный документ.

Да и все мы, младшее поколение «морского сословия», любили больше устный пересказ, то есть предание, а не писание.

Но и учителя наши, скажем, Лоушкин и Анкудинов, хотя и верно передавали «вытверженное по тетрадям», но зачастую тетради эти были в их руках лет пятьдесят назад. И хотя Лоушкин сохранял в передаче, скажем, «Софии Новгородской» славянизмы «абие», «бысть», «убо» и т. п., все же это было уже «устное предание».

Будучи таким же начетчиком, как Лоушкин, Анкудинов любой книжный текст излагал живой, искрометной северной речью. Рассказы Анкудинова о морской старине, взятые из морского писания, звучали совершенно так же, как его былины и сказания. Но дух истории, как старое вино, благоухал в рассказах Пафнутия Анкудинова.

В нашей семье рассказывали, что какие-то «одновытные чиновники», слушая Анкудинова, отозвались: «Не знаем, богослов ты или баснослов. Кому такое нужно?»

Анкудинов отвечал словами былины:

Я сказываю нашему морю па утйшенье,
Добрым людям на услышанье,
Пустоперым воронам на погрaянье,
Лайчивым псам на полаянье.

Ярким представителем «морского сословия» в следующем поколении, человеком, остро чувствовавшим богатство северной культуры, был известный мореходец-полярник Владимир Иванович Воронин. Деятельность его принадлежит советской эпохе, и в нашем поколении он, может быть, больше всех знал и живее всех умел передать унаследованное от отцов художественно-историческое слово.

Недалеко от Сумского посада, родины Воронина, находился скит, богатый рукописными книгами. Еще в молодые свои годы, собираясь писать историю родного берега, В. И. Воронин говорил:

— Соловецк, Пертозеро, Сорока — вот мои архивы.

Отцы наши поморы не дожили, не дождались того вре-

мени, когда русское имя вновь станет «честно и грозно от Запада оли до Востока».

Но отцы северного мореходства не завещали ли нам рассказать о них?

Если ты северному мореходству рожденный сын, а не наемный работник, засвидетельствуй свое сыновство, свою любовь к Родине сказаньем и писаньем.

.

Если я рассказал мало и неполно или что забвеньем спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни. Подкрепи свидетельством своим мою скудость.

# ОТЦОВО ЗНАНЬЕ

# ПОКЛОН СЫНА ОТЦУ

Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал.

От юности до старости жизнь его прошла в службе Студеному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень «корабельного мастера первой статьи». Ряд лет состоял главным механиком Мурманского пароходства.

Мы видели отца дома в Архангельске только зимою. Прибежит в обед с верфи или из «Мурманских мастерских». Для спеху уж все на стол поставлено. И убежит — не убрано.

— Мне некогда. Машину пробуем...

За ужином ушки хлебнет, а рыбы не может:

— Я устал. Я лягу.

Жизнь скоро скажется, а трудно тянется...

Я еще мал был, беда стряслась над нами: у отца жилы с правой руки машиной обрало, и до смерти пальцы худо разгибались.

Еще помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла: «Пароход «Чижов» у Зимнего берега разбит».

А на «Чижове» отец ходил... Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой.

Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус, как есть по корабельному — и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет.

Лет семи начал я у отца проситься в море, а он не внимал:

— Рано тебе, свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальет.

— Я рыбу хочу промышлять.

— Вот и промышляй у себя ложкой в тарелке.

Только на десятом году попал я в море до Мурмана.

Иной раз ранней весной или поздней осенью пойдет отец на бор поохотиться, тут я ему закаблучье обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем, и я юн забéгал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать...

Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся. Скажет:

— Праздное слово сказать — все одно что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть... Прежде вечного спокоя не почивай... Слыхал ли поют:

Лежа добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить.

И еще скажу — никогда не печалься. Печаль как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали — смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь; а горе — упавши, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели...

А и вéсело подойдет, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, ажно посуда в шкафу звенит. У Ледовитого океана, у Грозного промысла, без шуток да без песен и век проживешь — не усмехнешься.

А отец много на веку работы унес, много поту утер на зною у машины, на людей тружаяся. Не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи.

В Мурманском доке у отца был кочегар — парнишка недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит:

— Молод, бедной... мне эдак-то с мала пришлось... Теперь легче, теперь двенадцать часов. А пускай поспит.

Среди зимы на пятьдесят пятом году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладать судовые машины к навигации.

Конец апреля того же года пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.

## РОЖДЕНИЕ КОРАБЛЯ

Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века — Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров.

— Виват Ершов, Загуляев энд Курочкин, мастерс оф Соломбуль. Равных негде взять и не сыскать, и во всей России нет[1].

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождает славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордятся у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодьма и Емецк, и Соломбала.

Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись — криво ли, право ли хозяйской мошной трясет.

Суда у нас строили: шкуны, боты, гальоты, лихтеры, кутера, ёлы мурманские, шнёки, карбаса морские и речные.

Прежде были лодьи, бригантины, кочи, барки — всё большие корабли, на них давно мода отошла.

---

[1] Курочкин Андрей Михайлович (1770—1842); Ершов Василий Артемьевич (1776—1850); Загуляев Федор Тимофеевич (1792—1868) — знаменитые кораблестроители Архангелогородского адмиралтейства. Доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй половине XVIII века славился мастер Архангельского адмиралтейства Поспелов.

На шнеке, древнем беспалубном судне, еще мой отец плавал в «Датску» — Норвегию.

Рассказывал: как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда — то-де корабли древних мурманов (норманов).

Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги непременно сосновые. Ну, остальной рангоут из ели. Ель на воде слабее сосны.

У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.

Кому это дело в примету, тот, и в морской дали шкуну усмотрев, не только, какого она берега, скажет, но и каким мастером сработана назовет.

Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон[1].

Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.

В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.

Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и ёлы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук такого строителя, и не однова докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, все раздает в долг без отдачи.

Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.

Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.

---

[1] Фамилия мастера была Второушин, но более известен он был под прозвищем Тектон, что значит Строитель. *(Примеч. автора.)*

И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не залюбил.

Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Василем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут — не ждан, не зван — подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией; все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:

— Вези к новопостроенному судну. Нам угодно, там гулять будем.

И Конон отказал:

— А нам не угодно... И гулять там не будете.

Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, подскочил и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.

Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось... И, опять тряхнув, бросил в карбас, ажно поддон заговорил.

Гуляки — па Конона с кулаками:

— Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!

И который с ружьем учал палить и одной барыне обжег ухо.

И Конон, боясь головщины[1], открыл парус и сел за румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те припали до девок, как век не видали,— не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.

Как на широком месте качнуло, хозяйский брат прохватился:

— Ты пьян, мужик? Куда ты правишь? Почему долго едем?

И Конон ответ держит:

— К ночи вода кротка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже.

И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу:

— Приехали!

Те выкарабкались на незнакомое место и опять приправили грозить и лаять, зачем стройки не видно! И охот-

[1] Головщина — уголовщина.

ник опять палит, как дикий. А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся — да и был таков...

Целую ночь бродили господа те по песку в тумане. Судна наискались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.

Ну, коньяков с собою было на залишке — небось не озябли.

А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке[1]. И судно новопостроенное видать не так далеко; только стоит на другом острову за рекою.

Ах да руками мах, а на том не переедешь...

Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с палагушками[2].

А кто прав остался?

А Конон!

Хозяин, боясь, как бы мастер на гневе работы не покинул, тот же день причесал на стройку, по палубе за Кононом ходит. Брата с компанией всех приругал:

— Сами себе они, страдники, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил... Хы, хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!

Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было высвистнуть Конона Ивановича из города, да раздумали: кончилась японская война, начинались забастовки.

В те дни и годы отобралось маленькое стадышко низовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим осилить постройку большого судна для океанского плаванья. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем.

И отец загодя припас лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и кокоры обтесал.

Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:

— Каким думаешь мастером строить?

А отец и говорит:

— У меня один свет в очах — Конон Иванович, да он сей год в Кеми завяз...

Было подумали на Пигина, кронштадтского мастера,

[1] Кошка — отмель.
[2] Палагушка — сосуд для молока.

он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек зависимый, ему Немецкая слобода только палец покажет — он артельное дело бросит... Нет уж, без Конона Ивановича нам не сняться.

И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с писемцем:

«Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большина наша!»

Старая любовь не ржавеет.

Мастер дела в Кеми довершил и на олешках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.

Как мы обрадовались! Долго ждав, думали: не в Норвегу ли мастер убрался?

Тот же вечер отец собрал артельных:

— Как рассудите? Деды наши с осени строили, чтобы, зимой закончив, на вешнюю большую воду спускать. А тут мастер прибыл при конце зимы...

Все зашумели:

— Радоваться надо, что прибыл, и всё тут!

Отцу давно хорошо. Утром он засряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой.

Я говорю:

— Что бы мастеру-то самому к нам приехать?!

— Так не водится. Он художник, он строитель... К добру ходят-то, не с добром.

В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.

Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, бил челом.

Потом поздоровались в охапочку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные молодца тоже встали и поклонились. Один — быстрый, темноглазый, другой — светловолосый, конфузливый. Тогда пришли за стол, стали беседовать и друг на друга смотреть. А Олаф да Василь — подмастерья — опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.

Невдолги отец домой сторопился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.

Доро́гой я не утерпел:

— Про кораблик-то уж нисколько не поговорили...

— Что ты, глупой! Ведь мы с визитом.

— Неужели они, папа, тройма трехмачтовый корабль поставить можут? Подмастерья-то вовсе молоды.

— Годы молоды́, да руки золоты́. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.

Рекой едучи, отец все свою думу думал, а я свою. Только как стали к дому подыматься, я еще спросил:

— Папа, тебе любо ли?

— Как не любо. Пускай-ко наши толстосумы поскачут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают... А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.

На масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали — по крыльцу, по сеням половики стлали новотканые, по столам скатерти с кистями.

Я заметил, он ел малехонько-редехонько и пил — только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили и какая судну мера, на сколько тысяч груза?

И отец ему учал сказывать:

— Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой, два года назад. Дерева́ — ни кривулины, ни свили, ни за́болони — настоящая корабельщина. Ноне все пилено и тесано, мастера дожидается.

На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгий час.

Наконец дело отолковали, и порядились, и руку друг другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.

Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота было спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не посмел.

На следующей неделе отец с Кононом многа́жды ездил на место стройки. Вечерами говаривал матери:

— Ты, моя хозяюшка, мастера наблюдай, пироги ему пеки да ко́лобы. Мне его моряки поручили... А вы, робят-

ки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил.

Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль «Трифон».

На острове на песке лежали дерева золотые, прямотелые, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, кокорья и тесин судно родится.

Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.

На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя отношение частей. Ширину корабля клал равной трети длины. А половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитывал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности, все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.

По этому плану сколотил лекалы. Тогда приступает к постройке.

Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля,— киль.

На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение киля — упруги, или штевни; к носу — форштевень, к корме — ахтерштевень.

Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет, врастили ребра корабельные — шпангоуты. Они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились.

Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками.

Чтобы обшивка льнула к шпангоутам, доски пáрили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости.

Как кожу дратвой, прошивали корпус вересовым корнем и железом и утверждали дубовыми гвоздями — нагелями.

Концы у нагелей расклинили и раскonопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри расклепали.

Потом всё проконопатили и просмолили.

Не на час, не на неделю — на век строил мастер Конон Тектон! В то время распута прошла и ожили реки.

С борта на борт перекинул Конон Иванович перешвы — бимсы, на них постлал палубу. А в трюм, в утро-

бу, на поддон намостили подтоварье — ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал.

Шла работа — только топор посвечивал. С утра, со всхожего и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то.

Когда «Трифон» строился, уж я там спал и лежал. Хоть до кого доведись, каждому любо поглядеть, как корабли родятся. Да и к Конону старого и малого как на магнит тянуло. Был Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.

Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.

В тихий час, в солнечную летнюю ночь сядет Конон с подмастерьями на глядень, любует жемчужно-золотое небо, уснувшие воды, острова — и поет протяжные богатырские песни. И земля молчит, и вода молчит, и солнце полуночное над морем остановилось, все будто Конона слушают... А Конон сказку расскажет и загадку загадает:

Дочь леса красного,
Возраста досельного.
Много путем ходит,
А следу не родит...

Это что?

Мы с Олафом молчим. Он еще русской речи в тонкости не разумеет, я умом вожу, не знаю, к чему примениться. А Василь, быстрый, схватчивый, скорехонько бякнет:

— Лодка!

Конон Иванович, родных сыновей потеряв, любил, как детей, своих помощников Василька и Олафа. Кроме кораблестроительства, учил их языкам, английскому и немецкому, рисованию, математике и черчению, работе с морскими картами, с лоцией. Олафа Конон привез из датских городов, и тот до смерти не отходил от него. Олаф уж не похож был на гулящего парнишку. Не помянет молодецких дел, хотя и бритву накладывал года три. Ему гулять не надо, нарядов не надо, не попросит уж костюма. Он и не знал, что в торгу костюмы есть. Такой не щеголь был.

Олаф со мною перво молчал. Я спросил:

— Что молчишь? Родом такой разве?

Он тогда рассмеялся. Да и с мастером Олаф больше по-

малкивал, а Василь придет и — разговору! Василь пьет и ест — и все говорит, не перестает, как гулял да с кем гулял.

Олаф брови насупит:

— Как хочешь — мне это не надо.

Василь недоверчиво:

— Хм... Бреешься, дак кого-ле приманиваешь. Свои и так никуда не деваются.

Олаф первый у корабельного дела помогал и всему научился, что учитель знал.

Так почитал мастера Олаф, что и хлеба без него не ел.

Другой, Василь, ученик был на все талантлив, ко всему горяч, жаден на всякое добро и неистов на зло. Временем бесчинствует и мастера ничем зовет; до того дойдет — унесет с корабля дорогую какую вещь и продаст и прогуляет. Да укараулит пароход английский или норвежский, упромыслит себе приятелей таковых, каков сам, и в портовых притонах ножи кровью поят из-за подруг.

Дойдет дело до властей, и Конон по судам ходит, штрафы платит, стыдом лицо кроет перед людьми, которые лицо его честное и видеть бы недостойны. Кто Конона Ивановича любил да знал, те за него оскорблялись и на Василия были в кручине, что учителя не бережет. Однажды, когда Василь подвел мастера под ответ и дело попало в газету, мать моя, заплакав, сказала:

— Ты, Конон Иванович, как река без берегов, не только человека, а и скота напояешь.

А Конон ласково:

— Хоть и вор, да мой, дак и жалко.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А погодя Василь опять придет к мастеру, и зовет, и рыдает, и просит Олафа. И Олаф приложит к слезам слезы. Конон, видя бледное Василево лицо и синеву под глазами, вспомнит родных сыновей, сокрушится сердцем и пожалеет. И отерев Василию последнюю слезу, начнет ему добром говорить:

— Ты теперь в совершенных летах. Поезжай в Датску на верфи. Ты, Василь, талантлив, учись. Я тебе и письма дам заручные...

И Василь ухватит мастера руками, закричит:

— Я в вашей хочу быть воле! Не надо мне датских!..

Значит, опять работают вместе. На вечерней заре сядут у реки. Олаф справа, Василь слева. И руки мастера,

каждый свою, держат. Перед Кононом на береговой свае книга, Шекспир или Свифт. Читает вслух и заставляет учеников переводить.

А пошло время к лету — и три мачты кондового лесу поднялись над островом. Три мачты ставят, когда судно на дальнее, океанское плаванье; если на ближнее, в своем море, то две.

Передняя — фок-мачта, средняя — грот-мачта и задняя — бизань.

С носа от форштевня уставился бушприт.

И как скрипичный мастер струны настраивает, а они гудят и звенят, так Тектонова искусная рука протянула снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам.

В оснастке весь стоячий такелаж завели по-богатому — из четырехпрядной чесаной пеньки, только такелаж бегучий — из обыкновенной, трехпрядной.

Да в ту же оснастку корабельную блоков одношкивных и двушкивных с железной оковкой не меньше полусотни штук. От скул к носу, где хлюсты — ноздри корабельные,— навернули цепи и якоря. Якорь в семнадцать пудов да якорь в пятнадцать пудов. Цепь в шестьдесят пять сажен да цепь в пятьдесят сажен. И белыми полотняными парусами нарядили грот-мачту и фок-мачту с реями; и на бизань — косые паруса.

Много было дела у корабля, и редкий день у мастеров не работали добровольные помощники из артели. По бортам, по мачтам у рангоута все ковано железом, и дверцы, и ободверины покованы медью. И оконцами посветить «Трифону» не забыл Конон Иванович. И печку сложили. И помпы в трюме — воду откачивать.

Потом судно до ватерлинии окрасили красно, а побочины — ярью зеленою и белилами. А у носа и по корме золотыми литерами — имя «Трифон».

Кратко сказать — все было крепко и плотно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился.

Кто посмотрит, глаз отвести не может.

А медь сияет на солнце!..

Осенью, когда начал лист на лесу подмирать, и судно было готово.

Последний день августа завелась у нас стряпня. И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря — солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на

городках, у вод глубоких, у песков рудожелтых, украшен, как жених, а река под ним как невеста.

...Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит.

И мы на ответ кланялись равным образом.

Артельного старосту, отца моего, мастер взял за правую руку и повел вокруг судна и, обойдя, поднялся на палубу. Следом шли все.

В то время вода заприбыла́, стала на мерную степень, да пал ветерок береговой.

Тогда Конон с Олафом сходят на землю и берут в топоры два бревна, держащие судно на городках, над водами.

В то время у старосты пуще всех сердце замерло... И внизу треснуло, и судно дрогнуло да прянуло с городков в воду. И я носом о палубу стегнулся, да и все худо устояли.

А отец смеется:

— Что ты, воронье перо, вострепещился?

Мастер, поднявшись на палубу и став на степень, говорил:

— В чем не упорови́л и не по вашему обычаю сделал, на том простите.

Все к нему стали подходить и поздравляться в охапочку.

А «Трифон» покачивался на волнах — видно, и ему любо было.

Тогда отдали тросы и отворили паруса. В паруса дохнул ветер. И пошел наш корабль, как сокол, ширяся на ветрах.

Все песню запели:

Встаньте, государи,
Деды и бабы:
Постерегите, поберегите
Любимое судно,
Днем под солнцем,
Ночью под месяцем,
Под частыма дождями,
Под буйныма ветрами.
Вода-девица,
Река-кормилица!
Моешь пни, и колодья,
И холодны каменья.
Вот тебе подарок:
Белопарусной кораблик!

. . . . . . . . . . .

И обошли кораблем далече по солнцу. А паруса обронив, бросили якоря у того же острова на живой воде.

На палубе накрыт был стол со всякой едой, рыбной и мясной, с пирогами и медами. За столом радовались до вечера. Таково напировались, ажно в карбас вечером погрузились не без кручины. Егор Осипович с Иван Петровичем, старые капитаны, в воду пали, мало не потонули. Куда и хмель девался. Домой плыли, только мама, да Конон, да еще трое-четверо гребли. Остальные вовсе в дело не годились. А к берегу причалили и на гору подняться наши гости не могут, заходили по взъезду на четвереньках. Вот сколь светлы были.

Конец сентября отец отвел «Трифона» в деревню Уйму, города выше десять верст, на зимовку.

А придет весна-красна, и побежит наше суденышко на Новую Землю по моржа и тюленя, пойдет на Терский берег за семгой, в Корелу за сельдями. Повезет в Норвегу пеньку и доски, сало и кожу. Воротится в Архангельск с трескою и палтусом.

## НОВОЗЕМЕЛЬСКОЕ ЗНАНИЕ

Отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар. Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.

Бывало, я спрошу его:

— Дедушко Пафнутий, вам сколько лет?

Он неизменно отвечал:

— Сто лет в субботу.

Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька», или «Викторко». Я и пеняю отцу:

— Батя, у тебя у самого борода с проседью. Какой же ты «Витька»?

Отец засмеется:

— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки начал проходить.

— Батя, как же он тебя учил?

— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание[1] брали с практики. Я расскажу тебе о первом моем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились...

Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика, Ивана Узкого.

Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.

Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.

Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш шел подряд два дня и две ночи шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:

«Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту».

Но действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.

---

[1] Плавание по Белому морю, Северному Ледовитому океану и их заливам требовало большого опыта и знаний. Наука кораблевождения в той или другой части Белого моря и океана обозначалась у поморов термином «знание». Различались новоземельское знание — умение водить корабли вдоль западных берегов Новой Земли; двинское и соловецкое знания — вождение судов в сложном фарватере Двины, среди многочисленных островов и шхер. *(Примеч. автора.)*

Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня, и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух лодей.

За обедом ученики Ивана Узкого говорят:

«Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: «Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там». Дня через три кормщик говорит: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет». А вчера, в канун вашего прихода, высказал: «Завтра, в час большой воды[1], можно ждать гостей...

Прямо как колдун читал по тайной книге».

Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:

— Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство.

Анкудинов стал объяснять:

— Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.

Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?..

Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.

Как мог я в точности определить место вашей стоянки? Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот верст, я сообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.

Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер, Иван Узкий

---

[1] Большая вода и малая вода — суточные приливы и отливы.

сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».

Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов, учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часиков двенадцать. Его расчет был точен.

День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством».

На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили Новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.

## НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Веку мне — «сто лет в субботу». Песнями да баснями, гудками да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти-тоски отымаю.

Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промыслы, брали с собой на корабль песню и сказку.

Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель идти на Новую Землю бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни. Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.

Дула праматерь морская — Пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутиной заткало, без них весело!

Осень пошла. Старики говорят: «Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться!»

Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи, в задвенной стране. А осенью приходит день и час — полуден-

ный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер-полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!

Вот этак с вечера спать завалимся: «Ребята, завтра домой непременно». А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: «Колѝ зверя-то, стреляй! Вей золото в клубок. Женок, невест с экой добычи в шелк и в бархат оденем!»

До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.

Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое: «Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится».

Староста нас и клял и ругал. В последнюю минуту с нами остался:

— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стрелена. Твори, бог, волю свою! Вы с меня волю сняли.

Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На здвиженье птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Полетели белые мухи; будто саван белый спустился. Тихо припало... Заболели сердца-ти у нас. Защемило туже да туже.

Как-то спросил я:

— Староста, почто ты с лодьи книги снес — четьи-минеи, зимние месяцы?

Он бороду погладил.

— Вдруг да кому, баюнок, на Новой Земле зимовать доведется... Они нам за книги спасибо скажут.

— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?

— Нет, дитя, от льдины...— И ласково так и печально поглядел мне в глаза.— А ты ладь, ладь гусли-ти. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.

Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожиданья на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост, полуночник... Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился; вылез на глядень. И море увидел: белое такое... Лед,

сколько глазом достать,— все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они па берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от... Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а каково будет девять месяцев ждать!

Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали. Староста говорит:

— Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.

Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали-зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались.

Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в полночь горят звездные силы, как паникадила.

Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе па матице календарь па год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. Заместо свечи жирник горел денно-нощно...

Тут повадились гости незваные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверять. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои письмена по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матерых. Перестали гостить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.

Тут и всток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две педели мы за порог пе ступали — как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: «Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими мапами ихние мысли уводи».

С утра мужики шить сядут, приказывают мне:

— Пост теперь, книгу читай. Да чтобы страх был!

Слушают, вздыхают... А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада оли до востока будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают серебряные струны...

Вечером ребята песню запросят. Староста строго:

— В песнях все смехи да хи-хи. Заводи, баюнок, лучше ста́рину.

Сказываю Соловья Будимировича:

Из-за моря, моря Студеного,
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-зверпному,
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По камню было по яхонту,
Вместо бровей было прибито
По черному соболю сибирскому...

В пост на былину-ста́рину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:

— Ну, разлилась масленица, затопила великий пост!

Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня было выучено.

— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.

Был у меня в артели друг, подпеватель, Тимоша. Перед святками он замолчал.

Староста мне наказывает:

— Не давай ему задумываться!

Я заплакал:

— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!

— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.

Я Тимошу отчаянно любил, жалел:

— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок.

На деревянную чашу патянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем.

Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.

— Староста, нам до праздника надо сы́гровку делать.

— Играть нельзя, а сыгровку можно.

«Во святых-то вечерах виноградчики стучат: виноградие красно-зеленое!»

В праздник всякий вечер ударим в гусли; запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скакапье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зач-

нет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится...

У нас песни поют,
У нас гудки гудут,
Золотая труба трубит,
Переладец разговаривает...

За старостой стар и млад, ажно ветер по избе. И Тимоша с нами. Только я заметил, глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.

Я обниму его, реву над ним.

— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит...

Он рассмехнется:

— Ты не отдавай меня смерти-то.

Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти...

За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить... Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:

Спит Тимоша-горожанин,
Ждет трубы архангеловы.

На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью-полузимницу солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.

В Сретьев день солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:

— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!

Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.

Друг друга разглядываем:

— Ты, баюнок, оборődател!

— А ты поседател!

— А это кто, негрянин черной?

— Ничего, промоюсь,— краше вас буду!

И Благовещенье, и Пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазка-

ми в небо заглядели. Мох закудрявился. На Ра́доницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвенела — с гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебеди, и гуси, и гагары, и... все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!

На Троицу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого.

По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит...

Мы, где эко место увидим, падем на колени, руками охапим:

— Мать-земля благоцветущая! Мать — сыра земля!

День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть...

Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:

— Парус! Парус! Парус!..

Подняло нас. Правда парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика... Наши это! С Двины за нами идут...

Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.

## ПАФНУТИЙ АНКУДИНОВ

Быт и искусство архангельского Севера до последнего времени сохраняли остатки культуры новгородской и феодально-московской.

Поморянин, поэтически одаренный, вполне укладывался творчеством своим в традиционные формы устной поэзии — песню, сказку, былину. Но в этом стиле, в этой

стихии он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности.

Поморская среда ценила и поощряла такой талант. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывал со своим бытом и укладом.

Отправляясь на промысел зверобойный, рыбный, лесной, печорцы, мезенцы, двиняне, онежане, кемляне непременно подряжали с собой сказочника, певца былин на очень выгодных, сравнительно с рядовым промышленником, условиях.

Таким же признанием пользовалась женщина-поэтесса, слагательница причетов, плачей, песен, истолковательница чужого горя и радости. Ей расскажут обстоятельства несчастья («муж утонул в море» и т. п.), тут же, не отходя от домашней обряди, коров, складывает она песню-плач. Далее со всем родом погибшего выходит к морю и строфа за строфой читает свой причет. Женщины вторят ей жалобным хором... Шум морского прибоя, крики чаек, воздетые руки вопленницы, пронзительный напев — картина незабываемая.

Весь народ северный вдохновенно отдается всякой игре, всякой обрядности — «театру для себя». Любимая пословица: «чем с плачем жить, лучше с песнями умереть».

Украшают песней любую работу. Например, звякая ножницами, поет портной:

. . . . . . . . . . . . . .

Вынимаю солодóново сукно,
Солодоново с россыпью.
Шью (имя заказчика) кафтан.
Чтоб он не долог был,
И не долог, и не короток.
По подпазушке подхвáтистой,
По середке пережáмистой,
По подолу растру́бистой.

Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.

Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпáли перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.

Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и по-

мощник моего отца. Пафнутий Осипович что хотел, то и творил с людьми. Захочет, чтобы плакали,— плачем.

По древним крюковым нотам рыдально выпевал он страшные вопли покаянных opus'ов Ивана Грозного:

Труба трубит,
Судия сидит,
Животная книга
Разгибается...

По той же нетемперированной нотации, дающей такой простор художнику-исполнителю, с пергаментов XV века пел Пафнутий Осипович эллинистические оды с припевами «Эван, эво»:

Дэнэсэ, весна благоухает,
Ай, эван! Ай, эво!

Старые манускрипты, разбросанные на Севере, были преимущественно светского содержания. Это — «антологии», «диалоги», «мелисса», «хроники» — литература античная и эпохи Возрождения. Каждый такой литературный жанр исполнялся особой речитативной мелодией. Считалось невежеством читать «хронику» напевом новеллы из пролога.

Глухая бабка умиляется, бывало, на внука, вычитывающего что-то приятелю из древней книги, а книга-то «Семидневец» («Гептамерон» — родной брат «Декамерону»).

Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море. Во все стороны развеличилось Белое море — пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет «время наряду и час красоте». Запоет наш штурман былину:

Высоко, высоко небо синее;
широко, широко океан-море.
А мхи-болота — и конца не знай,
от нашей Двины, от архангельской...
. . . . . . . . . . . .

Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину... Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают, как мед пьют.

Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду — на полатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отечеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори... Вечером народ соберется, я засказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим... Дале — один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори...»

В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьет что-нибудь кожаное. На нем вязаная черная с белым узором рубаха, голенища у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет легкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика.

Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:

Не грозная туча накатилася,
Ударили на Русь злые вороги.
Города и села огнем сожгли,
Мужей и жен во полон свели...

Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берет корабельный рог-рупор и звонко кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте, государи!

Шкипер встречного судна спрашивает:

— Далече ли путь держите, государи?

Анкудинов отвечает:

— От Архангельского города к датским берегам.

И встречное суденышко потеряется в морских далях, как чайка, блеснув парусами.

И опять только ветер свистит в парусах да звучит размеренный напев былины:

А и ехал Илья путями дальними.
Наехал три дороженьки нехоженых.
На росстани Алатырь — бел горюч камень,
На камени три подписи подписаны:
Прямо ехать — убиту быть,
Вправо поедешь — богату быть,
Влево ехать — женату быть.
Тут Илья призадумался:
— Не поеду я дорогой, где богату быть,
Богатство мне, старому, ненадобно.
Не поеду дорогой, где женату быть,
Жениться мне, старому, не к чему.

А поеду я дорогой, где убиту быть,
Любопытствую увидеть, как меня убивать будут.—
А и едет Илья прямой дорогою.
По дороге накрыла ночка темная.
Добрый конь идет, не спотыкается;
Что по сбруе у коня камни-яхонты,
На дорогу светят, как фонарики.
Подводит дорога к лесу к черному.
В том лесу застава зла, разбойничья,
На дубах сидят разбойники, как вóроны,
Под корнями караулят, будто ястребы.
Разбойники Илью заприметили,
Со высоких дубов стали прядати,
Из-под дубова коренья завыскакивали,
На Илью они стаями насунулись,
Ладят богатыря с коня снести.
От седла Илья отхватывает палицу,
А и весу в этой палице девяносто пуд.
Вздымет, вздымет палицу выше могутных плеч,
Ударит палицей впереди себя,
Отмахнет, отмахнет созади себя,
Вправо и влево стал нахаживать,
Разбойницкую силу стал настегивать.
Что тут визгу, что тут писку, что тут скрежету!..
Валятся разбойники увалами,
Увалами ложатся, перевалами.
Не осталося в живых ни единого.
А и эта ночь кромешная скороталася,
Утренние зори зарумянились,
Над зорями облака закудрявились.
Снимал Илья с головушки свой златой шелом,
На все стороны стал Илья отслушивать...
Тишина, тишина безглагольная.
Только слышно, край дороги ручеек журчит.
На лету птичка утренняя посвистывает,
На болоте сера утица покрякивает...

## МАРЬЯ ДМИТРИЕВНА КРИВОПОЛЕНОВА

Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — река Пинега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север еще в четырнадцатом веке.

Неграмотная, но любознательная Кривополенова рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала:

«Прежде на Двине, па Пинеге, на Мезéни чудь[1] жила: народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы — новгородцы, у нас волос тонкий, как лен белый или как сноп желтый.

Мы, русские, еще для похода на Пинегу и карбасов не смолили, и парусов не шили, а чудь знала, что русь идет,— раньше здесь леса были только черные, а тут появилась березка белая, как свечка, тоненькая.

Вот мы идем по Пинеге в карбасах. Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перёные, а чудь молча, без спору давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чудские остались.

Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки — они любопытные. Им охота посмотреть: что за русь? Похожа ли русь па людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождем они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что русь мимо пробежала:

— Ах мы, дуры, прозевали!

Для увеселенья и запели свою песню. По сказкам-то, никому во вселенной чудских девок не перевизжать.

Было утро, и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу. Старики сказали:

— Вот наш берег: здесь сорока кашу варила.

Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить...

В эту пору здесь у водяного царя с лешим царем война была. Водяной царь со дна реки камни хватал и в лешего царя метал. Леший царь елки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шибáл. Мы водяному царю помогали. И за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега...

Это все мой дедушка рассказывал. Он от своих прадедов слышал. От них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила и с девяти лет возраста внялась[2] в его былины и до вас донесла».

Имя шестидесятилетней сказительницы Кривополеновой известно стало науке еще в конце прошлого столетия. Но записи ее былин покоились в академических шкафах, а Марья Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жи-

---

[1] Чудь — чудскóе, финское племя, в древности населявшее северную Русь.

[2] Внялáсь — вникла, поняла.

ла в большой бедности: «Не замогу работать, пойду побираться».

Побиралась, на свадьбах невестины речи пела, на похоронах вопила. Тем и кормилась до семидесяти двух лет!

В 1915 году отправилась на Север О. Э. Озаровская, московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний. Вскоре она писала в Москву:

«Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу ее в Москву».

Так попала пинежская сказительница в Москву белокаменную. Не многоэтажные дома, не автомобили поразили Кривополенову. Московской старине радовалась по-детски она. Побывала в Кремле, посмотрела гробницу Ивана Грозного, нашла даже за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова. Все, о чем пела она всю жизнь в былинах,— все оказалось правдой!

Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для нее оправой червонного золота,— она открыла людям талант сказительницы. В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали «бабушку Марью Дмитриевну». Шел 1916 год.

Помню ее выступление в большой аудитории Московского Политехнического музея.

Слушателей набралось до трех тысяч: студенты, гимназисты, художники, ученые.

Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодежь приветствовала ее рукоплесканиями и возгласами:

— Здравствуй, милая бабушка!

Кривополенова ответила тремя истовыми поясными поклонами на три стороны, по старинному обычаю:

— Здравствуй многолетно и ты, Москва, юная и прекрасная!

И зазвучала странная, непривычная мелодия, несхожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, прониклись содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на Север, нерушимо сохраняла общерусскую родную речь.

Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал ее. Маленькая, худенькая, одетая в темный, старинного покроя сарафан, застегнутый сверху донизу на серебряные пуговки, в темном вдовьем повой-

нике, она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху. Приехав из дремучих лесов Севера, она не боялась многолюдной аудитории — наоборот, полюбила ее, чувствовала себя непринужденно и всегда и везде умела держать ее в напряженном внимании.

Слушатели воочию видели древних богатырей — Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню, — слышали тяжелую поступь богатырских коней.

Сказительница рисует картину вражеского нашествия на Русь:

В солнце знаменье страшное,
В полночь звезды хвостатые,
Пред зарями земля тряслась,
Шла Орда на святую Русь.
На Руси петухи поют,
Не спит Рязань полуночная,
По стенам не спят караульщики,
По угóльным башням дозорщики...

И два, и три часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха.

Не раз приезжала Кривополенова в Москву.

Посетила Марья Дмитриевна Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая — день ее начинался с четырех часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла.

— Глядите-ко, — обратилась она к окружавшим ее посетителям. — Жили-были преславные богатыри. Не сказка-побаска, а жизнь бывала: Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает. На руке у него палица висит, свинцом налита, а ему как рукавичка.

И сказительница запела былину:

Вздымет Илья палицу
Выше могутных плеч,
Жахнет палицей впереди себя,
Отмахнет, отмахнет созади себя,
Вправо, влево стал настегивать,
Вражью силу обихаживать...

Взглянув на Добрыню, запела с улыбкой:

Три года Добрынюшка стольничал
У князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
У неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество врожденное,
Хитрость-мудрость природная...

В 1921 году Кривополенова в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Озаровскую, что рад познакомиться с знаменитой сказительницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером. Озаровская зовет:

— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал!

Кривополенова сурово отвечает:

— Марья Митревна занята. Пусть подождет.

Нарком ждал целый час. Марья Дмитриевна наконец вышла:

— Ты меня ждал один час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички. Сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на три зимы...

Марья Дмитриевна и наркома покорила умом и достоинством.

...Вернулась Марья Дмитриевна на Пинегу. Снова началась бродячая жизнь сказительницы.

В 1924 году на Пинеге был недород, бесхлебица. Опять старухе пришлось себе и внукам добывать хлеб в скитаниях по деревням.

Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечу. Сейчас запоет петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла:

— Прости меня, вся земля русская.

В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки...

Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен.

# ИЗЯЩНЫЕ МАСТЕРА

# ЛЕБЯЖЬЯ РЕКА

Есть у Студеного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Ради хлебного недорода народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги — злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:

— Не в ту сторону воюете, друзья!

— Против кого же нам воевать?

— Против тех, кому рознь ваша на руку.

— Золотое твое слово, — отвечали Губа и Щека. — Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.

Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора, самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.

Но пришла пора, ударил и час: царский амбар раз-

валился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в скла́дчину-бра́тчину.

Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:

— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает.

Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.

Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.

В красные дни, на песках у Лебяжьей реки, сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:

— Всякий художный запас, краски, и масло, и клей мы добудем. Кисти и прочую художную спасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить. Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-маперу запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пестро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять ненадобно. У всякой ягоды свой скус.

Старуха Губина докладывала:

— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположенье хоть бы нашего Губы? Узнать бы да стребовать письмом.

Гуля рассмеялся:

— К сожаленью, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.

Порешили на том, что будут сыскивать вестей, и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать, не мешкая, для того, что время горячее.

На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи пооскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучить молодежь столярству и резьбе.

И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столе́ц чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу.

— Вот, Михайлушко, — толковал Федот талантливому пареньку, — вот тебе художественные снасти, пилка да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домок-теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье:

Муха-Горюха,
Блоха-Поскакуха,
Комар-Пискун.
Таракан-Шаркун.

Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж, па бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши-недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.

Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:

— Такой уж иной человек родится: чертить, да красить, да что-нибудь мастерить, вроде как пить-есть, ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну, и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, сто̀лько же себя веселю.

Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжась в море, сказал Федоту:

— У тебя глазишки маленькие и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль...

Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох провалился.

На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:

— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?

— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотенце увернуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню...» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце, — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостоин ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем...»

Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.

На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.

С вешней воды Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.

Гуля Большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.

Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.

— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.

Жена уговаривала:

— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.

— Вот уж, «Ананья да Маланья, Фома да кума» и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.

— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: «Ждем, — говорит, — Ивана Егоровича, как майского дня».

— Ежели я майский день, дак меня встретить да почтить должно.

— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.

— Тебе, дура, смех, а мне смерть... Они и Ваньку Щекина пароком держат без вестей.

— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.

— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.

Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру:

— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести... Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моленья не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.

Молодежь дивилась:

— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?

— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.

Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова:

— В городе красуется, павилиены к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.

Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:

— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.

Вышла Гулю проводить и зашептала:

— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни

сам меня послал в артель: «Узнай обиняком, что такое нова тематика. Из артели парни шли и про каку-то нову тематику песню квакали».

Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подает коробочку:

— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.

Старик впился глазами в рисунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербами.

— Ты это сделал?

— Я, — отвечал Гуля.

— Коробка-то лучше тебя!

Гуля рассказал артельным. Те смеялись:

— Иван Егорович уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет, Губа и на народ с веслом, с какой ни есть со снастью налетит... Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить,— ни который не перетянет.

Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благо летние ночи на Севере светлы как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом. Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов, — готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю золоченые кораблики. Сверху как бы розовый веничек из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился:

— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!

Жена, любуясь, говорила:

— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро маринино.

Мастер усмехнулся:

— Кобальт и ультрамарин... Краски добрые, а стратит без толку. Которую краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно... Я в обморок упал.

Старуха переводила разговор на приятное:

— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады, цветут на блюде.

— То-то! — соглашался Губа. — А разумеешь ли ты силу и смысл письма?

— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамена трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?

— Это Слава с трубой, — улыбался старик. — Изображено «Пришествие Красного Флота на Север...» Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.

Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:

— Медали поехал лудить для своей канпании. Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Ермитаж на божницу при освещении електричества. А позабытый художник Ванька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».

— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать, — всхлипывает старуха. — Вылизарий-то кто?

— Оскорбленная невинность, — хмуро отвечал Губа. Вскоре ему надоело жалобить самого себя.

— Председателя нет, щегольну перед артельными.

Разбирало любопытство — что-то наготовили для выставки.

Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.

— Куда, Иван? — удивилась жена. — Артель-та вся небось на пристани. Пароход пришел.

— Мели, Емеля... Будут они бегать, пароходики встре-

чать, когда выставка на носу... А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.

Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой:

— Ишь, какое министерство! Запершись работают. «Без докладу не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!

Из соседнего дома выглянула бабка:

— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежали, дрова грузить... Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность какунибудь сработал?

Из дома напротив вылезла другая бабка:

— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособлю, колом в простенок приударю...

Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку.

— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.

Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно:

— Ничего, товарищи артельные... Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать...

Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:

— Губа идет! Егорович идет!..

Кто-то крикнул:

— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!

— Какое такое собрание?

— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши и гусиновские тут.

«Ладно, — подумал Губа. — Осчастливлю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года...»

В обширном зале народу было — хоть по головам сту-

пай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел, как колокольчик:

— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.

Иван буркнул:

— Некому меня там знать.

Гуля продолжал:

— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели, то — в качестве ее члена, среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.

Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:

— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.

Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился и... слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез, не видя Гули Большакова, старик нашарил его руками и обнял:

— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это вы, молодые, великодушные, — всемирное наше украшение!

Повернув в сторону артельных мокрое от слез лицо, Иван гаркнул:

— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!

Не гуси-лебеди крыльями захлопали, артельные в ладоши загремели, закричали:

— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович, — решено и подписано!

На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.

На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовывать-расписать шкатулку-сундучок в здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.

— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю, — скажет деревенская хозяйка, — а цветочки как сегодня расцвели. Щекина Ивана рукоделье!

Еще зимой Щека оповестил Федота:

— В навигацию, в корабельный приход буду дома!

Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:

— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.

Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:

— Пригодится нашему художнику.

Федот задумчиво покачивал головой:

— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?.. Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.

Иван Щека приехал к лету. Тут же у морской пристани узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.

Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.

О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое суток, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.

Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:

— Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?

— Федот посек ногу топором.

— Умысел и хитрость... Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?.. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы преклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.

Вася старался умягчить старика:

— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам наприпасали — на барже не утянуть.

Щека уставился на Васю ярым оком:

— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахвально поступаете. Он дурачится по старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин личность неизбежная.

— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.

— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.

Унылой показалась Васе обратная дорога.

«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: «Знать, мошну толсту набил, то и куражится». Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».

На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.

Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.

Вася приехал, начал добрым порядком:

— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?

— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека. — Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под крыльцом, — отзовусь я, — заместо Шарика и Жучки лаю на разные басы».

Вася не утерпел, рассмеялся.

— Ты смеяться, — загремел старик. — Ты посольство править послан или зубы скалить?!

Рассердился и Вася:

— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.

— Я хозяина-мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет, палкой выгоню!

Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок: вдруг да обойдется стариковское сердце».

В деревне Вася сказал:

— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.

Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.

Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.

В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок. Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними поспевал Федот.

Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной.

«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.

Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу: «Ладно, приятели... Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо...»

Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится:

«Кого же это народ встречает?.. Федот в красной шелковой рубахе... Девица с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда... Не начальник ли какой в каюте едет?.. Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»

Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

Палка выпала из рук Ивана, гремя покатилась по палубе... Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:

— Мы, ученики Гусиновской артели, приветствуем нашего художника...

Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.

Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал:

— Васенька, пройдем-ка в каюту. Сундучок пособишь снять.

В пустой каюте Иван спросил:

— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?

— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.

Старик поклонился Васе в ноги.

— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!

Щека ходил по своему дому:

— Занавесочки, цветы, чистота... Пол-то, платком носовым продери, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?

— Тут твое именье, — объяснял Федот. — Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит нетронуто.

Иван зашумел:

— Эх вы, распорядители. Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую.

Вася, лукаво прищурив глаза, шепнул Ивану:

— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.

Иван засмеялся:

— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метен.

До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.

Щека не попал и на собранье, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:

— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.

В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:

— Небывалый гость идет! Раскатись моя поленница без дров!

Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.

— Ванька, — сказал Губа, — сколько годов мы друг по друге тужили?!

— Ванька, — отвечал Щека, — пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.

Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучных мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:

— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.

Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули... Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.

Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устроении Земли, о войне и тишине рассказать.

Иван Губа говорил:

— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гурию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася, стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.

Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение... Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И... почувствовал себя учеником.

## ДОЖДЬ

Эта сказка случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по Северной реке причаливали к деревням, красили портна, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:

— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.

Фатьян отмахивался:

— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-та река с деньгами живет? Здесь смолу курят, мы холсты красим: денег класть не во что, кошелька купить не на что... Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.

Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали россказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход в те времена был в диковину не только деревенскому парнишке.

А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:

— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят: срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.

Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой кар-

бас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила.

Работали, как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Трепька бубнил:

— Эстолько товару наработано. А морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запихтевеет... Тогда куда мы, человеки разоренные и многодолжные?

Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны:

— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.

Фатьян горячился:

— Один уеду! Околевайте без меня.

— Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать.

Приятели согласились неожиданно:

— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.

Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:

— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет.

Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием!.. Столько товару нет, сколько пошлин правите».

В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку:

— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.

Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну:

— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!

Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:

— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю... Какой державы будете?

— Верноподданный заморских королей.

— Чем изволите заниматься?

— Дамский туалет, маскарад кустюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести лет! Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию и поедем вместе на завод. Торгови дом Фатьян и Ко! Шикарно?

Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал:

— Опасаюсь, мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные... Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званью и художники по знанью. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.

Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо.

— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами... Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье!

У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:

— А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?

— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.

— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?

— Барыши пополам, мистер Фатьян.

— Слово дадено, как пуля стрелена, — сказал Фатьян. — Ты как, мистер Пых, па бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал, крепче узла завязал.

У Пыха глаза сделались веселые. Оп промолчал, а Фатьяп ораторствовал:

— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?

— Для производства моделей. Недельки на две.

— К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделывай свои кадрели-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот какая: на чем товар к месту доставим. Море сей год непогодливо.

— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!

Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:

— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.

Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:

— На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.

Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:

— Они какой державы люди? Званья какого?

— Верноподданные заморских королей... А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.

Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь, схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька Бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы, в оконце. После докладывал Фатьяну:

— Намешано у них в ведрах всякого сословия: желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает... И плюют, и дуют, и пеной пырскают. Высушат и мылом налощат. А сидят не со свечой: новомодный свет — карсель горит.

В конце другой недели Тренька доносил:

— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу: сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.

Фатьян поскреб в затылке:

— Твори, господи, волю твою!

Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил кромешный дым.

— Портной гадит — утюг гладит, — стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем. Опытный земляк ушел по должности в море.

Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил, что пароход будет грузиться на морском заводе тесом, и как раз ко времени гулянья.

Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:

— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.

— Из пены! — огрызнулся Пых.

— Хм... пена дело легкое.

— У нас за морем из пены веревки вьют.

Ночью пароход хватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:

— Парохода вы домогались — получайте пароход!..

Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:

— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!

Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани.

Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затайку. Поставили себе шатер особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску: «Пых и К°. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них: взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: желтая земля, синие дороги.

Привалил народ. Бабы па заморские разводы сразу обзадорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал: пуще зазывает:

— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн кустюм! Три рубля комплект!

Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты».

— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?

Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки, сидел, как невеста женихов дожидаючи.

Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали па прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:

— Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!

Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:

— Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты, как цветы.

Фатьян негодовал:

— А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.

— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у Пыха будто феверки. Оделась в мериканском скусе и пошла, как колокольчик...

Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки.

Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.

Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной:

— На здешних клоунов и па попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени.

Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препози́тами:

— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись! Пленти мони вери гут до добра не доведут.

Фатьян становил его:

— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится.

— А ты спросил бы, дядюшка.

— Совестно.

Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «капплектов» продал Пых... Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в край моря.

Теменца́ заводится...

Заежилась древняя бабка:

— Не быть ли дожжу, — вся дрожжу.

Погодя, старики опять проговорили:

— Гром гремит, путь воде готовит...

Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:

— Идут! Идут!

Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармонями. Старики на бревнах запели:

Слетались птицы,
Галки и синицы
Стадами, стадами.
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.

Одночасно весь берег будто цветами расцвел. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разнопестрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что тут величанья, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают:

— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!

— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек.

Тут парни зараз в гармони жахнули. Двести девок, сотня баб песню завели; высоко запесли да в пляс пошли. Только и слыхать, что «ух-ух, ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье...

И в те поры дожжинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошел как из ведра, а — бочками, ушатами заполивало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.

Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-та плывет, и ветошь-та ползет. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновенье вся краса стерялась. Как не бывало туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотье мокрое с себя сбросали в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.

Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:

— Ха-ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!

Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:

— Косматки вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.

Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятовавшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:

— Бабы, девки! Нельзя такого бечестья простить! Головы не оторвем, дак хоть плюх надаем этому Пыху.

Еще до света учредились они как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:

— Маврух в поход собрался... Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли де бабы меня трепать придут!»

— Пущай он хоть в утробу матерню спрятался, и там добудем! — вопияли женки.

Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда началась сумотоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули. А комары их едят.

Одна была отрада: знали, что погрузка тесу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на паро-

ход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.

Фатьян в своем балагане тоже ни жив ни мертв сидит.

— Вот дак мистер заграничный! Присчитается и мне па орехи. И я с ним в паю буду... Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.

— У тебя откуда барыши-то? — спросил Трепька.

— Да ведь половину барыша мне Пых-то посулил!..

— Ох, дядюшка Фатьян! Нет у тебя ума-то с наперсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.

— За мою добродетель?!

— За твою дурость, не во гнев будь сказано.

— После дела всяки умен. Уйди с глаз! — рявкнул мастер.

Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела...»

Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки:

— Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти.

— У меня не кабак...

— Табак не надо... А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.

Так и сидел Фатьян до свету:

— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде...

На рассвете завел глаза, задремал. И тут же со страхом прянул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:

— В воду посадить еретиков!

Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:

— Дедко, вчерашний Пых где?

— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чем не виноват.

— Ты, смотри, никуда не уезжай. Тех поймаем, до тебя есть дело.

Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый как бумага, начал расталкивать Сеньку с Трепькой:

— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи?! Помрем. Деточки, смерточка напрасная приходит.

Поняв, в чем дело, Сенька Бородатый заревел:

— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?

Тренька заорал на обоих:

— Мужики вы или нет? Бежать надо!

— А товар как? — опомнился Фатьян.

— Ведь ты помирать срядился.

— Пережить не уповаю. А своего художества непонимающим людям оставить не желаю, — торжественно сказал Фатьян.

Тренька уважительно поглядел на мастера.

— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ко сунутся которые... А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков?

Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги.

Время тянулось. Никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился, насупив брови, сел.

— Охо-хо!.. Ждать да догонять — нет того хуже...

Со стороны берега донеслись два пароходных свистка, и вслед за тем крики, брань... Фатьян опять схватился за топор.

Прошел час. Фатьян простонал:

— Тренька, ради бога, сбегай, поищи Бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!

Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:

— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду.

Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.

— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?

Докладывать начал красноречивый Тренька:

— Ух, дядюшка Фатьян!.. Женки по штабелям летают, в бревнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат:

— На секурс! На секурс!

Бабы со штабелей ссыпались да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его прово-

жает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:

— Вы что скажете, мистер каптейн?

Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:

— Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснения на его товар. Это есть обычная материй аплике, накладной бумажный кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год.

Управляющий к народу:

— Вот что, женочки и девицы: вы в памяти, в сознаньи эти юбки-кофты покупали. Небось у своих ситец выбираете, жуете да лижете: не марко ли, не линюче ли?.. Ценуто какую иноземец брал?

— Три рубля канплект.

— Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится... Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать?

— Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!

Тут бабы к капитану словцо ввернули:

— Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя.

— Уплыл Пых-то? — спросил Фатьян.

— Угреб.

— Меня-то не помянули?

— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-то отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ насмешили. Почто было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь...»

Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:

— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не довезли.

Фатьян приосанился, прищурил глаз:

— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны; против модного базара не задорны...

Бабы застыдились:

— Карасином бы этот базар облить было да спалить!..

— То-то, — наставительно сказал Фатьян. — За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству свое приложили. Краски натуральные: от матушки — сырой земли и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Трепька досточку-печатку режет, как батальный живописец. Я в свою набойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасиба, другого слова не слыхал. Я не хвалюсь. Моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведенье вековое-цеховое...

Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся.

— И как вчера такой красы не разглядели? Глаза отвел заморский пес.

Старухи брали по целой «трубе» столокотной, по целому куску.

Важно говорили:

— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.

Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:

— Мастер, как по-вашему, это виноградье нам к лицу?

Пришли мужики. Потребовали матерьял «порточный», с продольным «форнаментом». И на рубахи «форнамент попристальней».

Иноземцы торговали полтора дня, Фатьян в полдня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.

По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вкруг палатки, балоболили, хвастались покупками.

Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:

— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на другую сторону переворотить да опять носить!

Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:

— Чувствительно вас благодарю за неоставленье. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили.

И Фатьян поклонился народу в землю. Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:

— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер!..

Обратно Фатьян правился на шкупе. Парусом бежали шибче парохода.

Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».

И объясняют:

— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.

## ЕВГРАФ

Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знавал там ревнителя искусства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчик по дереву. Никогда я не видел его спящим-лежащим. Днем в руках стамеска, долото, пила, топор. А в солнечные ночи, летом, сидит рисует образцы.

Евграф беседовал со мной как с равным, искренно и откровенно.

Я восхищался легкостью, непринужденностью, весельем, с каким Евграф переходил от дела к делу.

Он говорил:

— И ты можешь так работать. Дай телу принужденье, глазам управленье, мыслям средоточие, тогда ум взвеселится, будешь делать пылко и охотно. Чтобы родилась неустанная охота к делу, надо неустанно принуждать себя на труд.

Когда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров. Любуюсь-удивляюсь: как они умели делать прочно, красовито!..

Нагляжусь, наберусь этого веселья — и к своей работе. Как на дрождях душа-то ходит. Очень это прибыльно для дела — на чужой успех полюбоваться.

# УСТЮЖСКОГО МЕЩАНИНА ВАСИЛИЯ ФЕОКТИСТОВА ВОПИЯЩИНА КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей.

Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — дёру. Рисовать и красить отваживался я только в воскресные и праздничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из «Родины» и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно.

Пятнадцати годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева, каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке.

Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за пять рублей в месяц.

С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи: теперь кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством.

Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавши в обучение к маляру Ионе Неупокоеву?!

Истинно был Неупокоев: на одном месте не любил сидеть.

С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологодской и Архангельской губерен. Иону ничто не держит: ни дождь, ни снег. Он все идет да едет. И я за ним, как нитка за иглой. Окрóме всякого малярного поделия, как-то: левкас, окраска, отделка под мрамор и

под орех, с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на Севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи.

Поновляли божество и писали изнова, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма.

Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поповлении древнего иконостаса в Заостровье, под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли так следит за реставрацией, каковым недреманым оком караулило нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов.

Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Перьвой мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удергивали из рук работу или заказ.

Самозванный художник, а по существу, малярешко самое немудреное, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту:

«Де мортуи низиль не бебэне». Но таково было повседневное поведение самозванного Варнашки и К°. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме божием, где имели пребывание по месту работ! Каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекание проживающих деревень.

Но мастер призва́нный, а не самозванный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему бы кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но, даже и принявши с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязах, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на погах, тем не менее твердою рукою пробеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события.

С Ионой Терентьевичем ходил я десять годов не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить.

Преставился в 1895 году в городе Каргополе.

Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом: одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только к краскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не ко граблению. Он чужого гроша под палец не подгибал.

Иона Неупокоев имел дарование писать с живых лиц — глядит и пишет. Умел милиатюрное письмо, так что предельная величина не превышала двенадцать вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия.

Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посановитее.

Иона для сортовых писем холстинку накладывал на тонкую дощечку и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею холст и на кардонку, да, наведя тонкой левкас, пишу готовыми маслеными красками. А из яйца писать — много обрядни. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит мездряным или рыбным клеем, оказывало как дощечка.

Такого рода живопись на поволоке имелась во флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Варпаховского в Рыбопромышленном музее на Троицком пришпекте, того же типа два шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельской город с Ионою Неупокоевым на время ярманки для письма балаганов.

У иконного письма теперь такого растения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки.

Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего пись-

ма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов».

Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менк понял: потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил.

Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись, как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левкас. То уж письмо вековое. Правнуки подивятся.

— Ишь, — скажут, — прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сужектами: вазоны, травы, цветки. Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали па три краски во льняном масле.

Но возьмем предметы благородной страсти г. Варпаховского или флотского полуэкипажа. Им теперича годов по девяносту и по шестьдесят. Но они сохраняют следы былой красоты.

Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописной стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу.

Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах.

У стоющей работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямуринку загладим смачкой. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи.

Паволока пущай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И по просу́хе лощить зубом звериным, чтобы выказало, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки не хороши.

Как деланы были шкапы на морское собрание и у чела писал панораму Соломбальского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу: «Бомбанди-

рование Соловецких островов от англицкой королевы Виктории в 1854 году». Писано яичными красками и самой изящной работы.

## ДЛЯ УВЕСЕЛЕНЬЯ

*Владимиру Сякину*

В семидесятых годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское.

Льдина у Терского берега вынудила нас взять на всток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки.

— Заповедь положена, — пояснил старик. — «Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».

Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

Иван и Ондреян, фамилии Личутины, были родом с Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска. По штату числились плотниками, а на деле выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме корабля. Изображался олень и орел, и феникс и лев; также кумирические боги и знатные особы. Все это резчик должен был поставить в живность, чтобы как в натуре. На корме находился клейнод, или герб, того становища, к которому приписано судно.

Вот какое художество доверено было братьям Личутиным! И они оправдывали это доверие с самой выдающейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков.

К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины воротились в Мезень. По примеру прадедов-дедов занялись морским промыслом. На

Канском берегу была у них становая изба. Сюда приходили на карбасе, отсюда напускались в море, в сторону помянутого корга.

На малой каменной грядке живали по нескольку дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет семь или восемь. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В конце августа Иван с Ондреяном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола мокра́, дак брюхо сыто́».

И вот хлеб доели, воду выпили, — утром, с попутной водой, изладились плыть на матерую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку, у огонька. Был канун Семена дня, летопроводца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унес безвестно куда.

Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от расхожих морских путей. По временам осени нельзя было ждать проходящего судна. Рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбьи черева — то и питание. А питье — сколько дождя или снегу выпадет.

Иван и Ондреян понимали свое положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно.

Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переменения не будет».

По обычаю, надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то и, приведется, случайный мореходец даст знать на родину.

На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона. Четыре четверти в длину, три в ширину.

При поясах имелись промышленные ножи — клепики.

Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званью — были вдохновенными художниками по призванью.

Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля.

Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть замахнулась косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах.

Ондреян, младший брат, прожил на островке шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано.

На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Лучитиных отправился отыскивать своих дядьев. Золотистая доска в черных камнях была хорошей приметой. Племянник все обрядил и утвердил. Списал эпитафию.

История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся...

В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакатимого солнца, держали мы курс от Конушиного мыса под север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Лучитиных. Определили место лучитинского корга.

Канун Ивана Купала шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя. Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенок — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на веслах. В этот тихостный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.

— Теперь где-нибудь близко, — шепчет мне Максим Лоушкин.

И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гуслях. Кто-то поет, с кем-то беседует... Они это, Иван с

Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами, как со дна моря всплыл. Камни вкруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли, это легкий прибой. Волна о камень плеснет да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят, как изваяния. Все как заколдовано. Все будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску лучитинскую и начитаться не может.

Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной светлой тусклости неба!

Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.

Посредине доски письмена — эпитафия, — делано высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и не сгорающая. Стали читать эпитафию:

Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.

Осенью 1857-го года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своею оплошкой
Карбас утерялся со снастьми и припасом,
И нам, братьям, досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.

Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки...
Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенские мещана.
И помяните нас все плывущие
В сих концах моря-океана.

Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел — «на долгий отдых повалились».

Поплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели, и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.

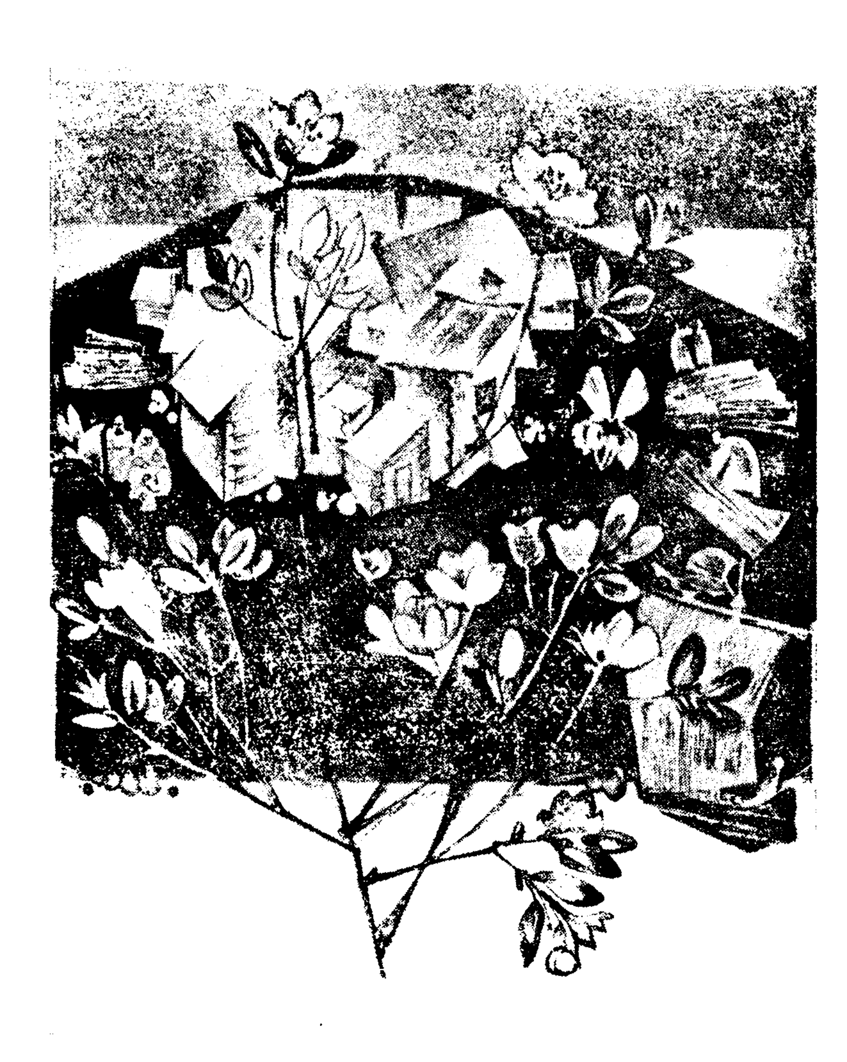
Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..

Обратно с Максимом плыли — молчали.

Боялись, не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного.

Да разве потеряешь?!

# У АРХАН-
# ГЕЛЬСКОГО
# ГОРОДА



# ЕГОР УВЕСЕЛЯЛСЯ МОРЕМ

Впоследствии времени пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечною сиять.

А сейчас разговор пойдет про свадьбу. О том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал! Люди судят:

— Ты, Егор, всему берегу диво доспел. С тебя будут пример снимать.

— Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались.

Жизнь моя началась на службе Студеному морю. Родом я с Онеги, но не помню родной избы, не помню маткиных песен. Только помню неоглядный простор морской, мачты да снасти, шум волн, крики чаек. Я знал Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о ко̀ргу.

Теперешнее мое звание — шкипер, но судовая команда звала меня по-старому «кормщик» и шутила:

— Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да и поворотится.

Мореходство — праведный труд. Море строит человека.

Наше судно называлось «Мурманец». Много лет ходили мы на пем. Пятнадцать человек — все, как одна семья. Зимовали на Онежском и на Зимнем

берегу. Я занимался судовым строением, увлекался переправкой парусных судов на паровые. Чертил проекты и чертежи посылал в Архангельск.

Отдыхал с малыми ребятами: делал им игрушки. На Зимнем берегу был у меня приятель Колька Зимний. Обожал меня за кисти да за краски.

На Онежском берегу меня встречала маленькая Варенька. Я ей рассказывал про Кольку Зимнего. Она ему вышила платочек. Он ей послал рябиновую дудочку.

Маленькая Варенька любила мои сказки. Впоследствии она сама рассказала мне сказку моей жизни.

Имея дарование к поэзии, я две зимы трудился над стихами. В звучных куплетах изложил мое жизнеописание. Но едва начну читать, как слушателей сковывал могучий сон.

Я тогда не думал о своих годах, о возрасте. Годы жизни были словно гуси: летели, звали, устремлялись...

Мне стукнуло пятьдесят годов.

Получаю приглашение явиться в управление Архангельского порта. Товарищи мои обеспокоились.

— Что ты, шкипер! Неужели нас покинешь? Не являйся и не отвечай.

— Ребята, я вернусь через неделю. Может, любознательность какая.

— Смотри, шкипер. Отпускаем тебя на десять дней, не более.

Я ушел от них на десять дней — и прожил в разлуке с ними десять лет.

Являюсь в Архангельск. Оказалось, что над конторой порта поставлен некто, старый мой знакомец. Он меня встречает, стул поддерьгает. Из своих рук чаем потчует:

— Садись, второй Кулибин. Я нашел твои изобретательные чертежи о примененьи парового двигателя в парусном ходу. Мы в этом направленье оборудовали мастерскую. Работай и сумей увлечь мастеровую молодежь.

...Я шел по городу без шапки. Шапку позабыл в конторе. Смеяться мне или плакать?

Мастеровая молодежь оценила жизнерадостность моей натуры. Был я слесарь и столяр, токарь и маляр, чертежник и художник.

Покатились дни и месяцы.

Сравнялся год, пошел другой.

Вышеупомянутый начальник так аттестовал мою работу:

— Я не ошибся, что призвал тебя. Но не могу тебя понять. Ты механик, чинишь пароходные машины, а твои ученики только и слышат от тебя, что гимны легкокрылым парусным судам.

Так прошло пять лет. О покинутой семье, то есть о морской моей дружине, я старался ничего не знать, я усиливался позабыть...

Как весна придет, я места не могу прибрать:

— Эх, шкипер, пять годов на якоре стоишь! Выкатил бы якорь, открыл бы паруса да в море...

...Нет, я на прибавку к якорю цепью приковался к берегу еще на пять годов.

Получаю письмо с Онеги. Варенька, которую я помнил крошкой, пишет, что за смертью отца желают они с матерью жить в Архангельске. Умеют шить шелками, знают кружевное дело.

Я жил в домике, который мне достался после тетки. Пригласил Вареньку к себе.

Встретил их на пристани. Со шкуны сходит девица в смирном платье, тоненькая, но, как златая диадима, сложены на голове косы в два ряда. Давно ли на зеленой травке резвилась, а тут... Взгляни да ахни! И какое спокойствие юного личика! Какая мечтательность взгляда! Тонкость форм не во вкусе по нашему быту, но я обожаю мечтательность в женщине.

Они стали жить у меня в верхнем покойчике.

Мне — за пятьдесят, Варе — двадцать; а я попервости робел. Она выйдет шить на крылечко, я из-под завески воздыхаю и все дивлюсь: «Что это люди-те у моих ворот не копятся на красу любоваться?»

Дальше — Варя поступила в школу учить девиц изяществу шитья. Я тоже осмелел. Укараулю Варю дома, подымусь на вышку, будто к маменьке, а разговоры рассыпаю перед дочкой:

— Ну, задумчивая Офелия, признайтесь, кто из коллег-учителей вам больше нравится?

Варя шутливо:

— Офелию вода взяла. Ужели я с утопленницей схожа?

— Кто-нибудь да утонет в вашем сердце....

И мать вздохнет:

— Сердце закрыто дверцей. Истинная Фефелия. Хоть бы ты, Егор, ее в театр сводил.

Я за это слово ухватился. Представленье привелось протяжное. Моя дама не скучает, переживает от души. Переживал и я... В домашности даже касательство руки предосудительно; в театре — близкая доверчивость. При том воздушный туалет и аромат невинности...

В гардеробной подаю Варе шубку, а сторожиха с умиленьем:

— Ишь, папенька, как доченьку жалеет! Видно, одинака дочка-то?

Дома в зеркало погляделся: сюртук по старой моде. Борода древлеотеческая... Что же, старее тебя есть кобели и те женились на молоденьких. Мало ли исторических примеров!

Ум мой раздвоился. Корабль руль утерял, и подхватили его неведомые ветры.

Не узнают дядю Егора его ученики: брюки с напуском при куцем пиджачке, бородка а-ля ремистофель. Во рту папироса, курить не умею.

Приглашаю Варю в оперетку. Половины действия не досидела:

— Как это можно любовь на смех подымать, а измену выхвалять?!

Как-то в мастерской наступил я кошке на хвост. Ребята рассмеялись:

— Егор Васильевич жениться задумал?

— Кто вам сказал?

— Примета такая. Рассеянность чувств.

Я постарался открыть свои чувства в стихах. Варя отвечала грустным взглядом. Наконец я изъяснился со всею тонкостью, вынесенною из книг. Варя покорно опустила глаза.

Первый-то год после свадьбы «молодой муж» на крыльях летал, на одном каблуке ходил. С лестницы бегом и на лестницу бегом. На работу побежу, жене воздушны поцелуи посылаю. А поясница аккуратно дождь

и снег предсказывает. Изучил тонкую светскую манеру поведенья, ножкой шаркать и ручку целовать. Да, любовь у юноши душу строит, а у старика душу мутит.

А Варя какова была, такая и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Никогда меня не оконфузила, не оговорила, не подосадовала. Чуть припаду с простуды, она и ночь не спит. И школу посещала, ремесло свое правила радетельно. Детей любила. С улицы чужого ребенка притащит, обмоет да накормит.

Варенька была охотница до романов, изображающих высокие волнения страстей. Но к себе того не примеряла.

Таковым пòбытом мы прожили с ней четыре года. Но у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нет, будто я кого-то обокрал.

Было ненастливое лето. В море бушевали непогоды. Ходили слухи о крушениях. В один ненастный день меня требуют в контору. Начальник говорит:

— На Соломбальском острове находится шкуна, по имени «Обнова», потерпевшая аварию. Шкуна принадлежит Онежскому обществу, но контора собирается ее купить. Возлагаю на тебя ремонт. Возьми помощников. Имей в виду, что шкипер этой шкуны — аттестованный механик. Приобучался в Петербурге, Николай Иванов.

— Не слыхал такого, — говорю.

Пришел в Соломбалу на лихтере. Ребята выгружают матерьялы, инструменты, а я на эту шкуну наглядеться не могу. Истинно «Обнова»! Какая легкость и изящество постройки! Разговариваю с ней, со шкуной-то, пробоины руками глажу:

— Не горюй, голубушка моя. Залечим твои раны. Будешь краше прежнего...

Вдруг кто-то меня руками сзади охапил. Оглядываюсь: молодой детина, станом крепок, лицом светел.

— Вы кто будете? — спрашиваю.

Детина состроил мальчишескую рожицу и выговорил только:

— Дядюшка Егор, срисуй кораблик!

— Колька Зимний! Ах ты, милый мой! Ах ты, желанный...

Меня почему-то страшно взволновала новость, которую мне Коля сообщил: команда его шкуны почти целиком состояла из былых моих товарищей по «Мурманцу». Старый «Мурманец» обветшал, но согласие его дружины осталось нерушимо.

Спрашиваю Колю:

— Они где теперь?

— Поспешили на родину, в Онегу. Но я слышал, что управление порта не хочет отпустить таких отменных моряков.

Варе я рассказал о встрече с Колей Зимним, а ему устроил маленький сюрприз. Он знал, что я женат, но ожидал увидеть хлопотливую старушку. Вообразите изумление молодого человека, когда перед ним предстала моя задумчивая Офелия в венце прекрасных кос.

— Варенька, вот этот джентльмен когда-то смастерил трумпетку из рябины и послал тебе в подарок.

Варенька смеется, протягивает ему руку. Он ее руки не замечает, покраснел:

— Так это вы... Это вы мне вышили платочек?..

Я хохочу в покаточку.

— Это я вас, сопленосых, сватал. Дары от жениха невесте за море возил. Упустили вы свое счастье. Сват-то сам не промах. Ха-ха-ха! А ты, Коля, почему не женат?

— Судьбы не было, Егор Васильевич.

С весельем я у этой шкуны работал.

Как матка дочку умывает да утирает, учесывает да углаживает, наряжает и любуется, так я эту «Обнову» уделывал и обихаживал. И то было умильно и утешно, что для старых моих товарищей стараюсь. Пускай добром помянут кормщика.

Варя иногда придет, шанег горячих принесет.

Как-то в обед сижу я, отдыхаю под берегом; чайки кричат, рыбу промышляют. Меж седого камня синий колокольчик, незабудки. Вдруг слышу смех: Коля с Варей собирают по уго́ру шиповник на букет. Она боится оступиться, он ее за руку содержит. И что у них смеху, разговору! Молодость их берет... А мне что-то скучен стал сияющий день, полиняло небо, поблекли цветы.

Стал я у́росить и обижаться. Ну, посудите сами: этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того чтобы с сокрушенным сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с дамами, подносит им букетики.

Коля за столом пустяк соврет, Варенька смеется, как колокольчик. А я учну что-нибудь полезное объяснять —

в ней захватывающего внимания нет. А уж, кажется, любезная, могла бы ты за столько лет оценить мои любопытные познания и рассудительность понятий...

А Николай что? Неосновательность мнений, невнимание к тайнам природы. От моря пошел, а к морю должного пристрастия нет. При всем желании нечем восхищаться: ни изящества воспитанных манер, ни светской обходительности... Медвежонок! Каждая лапа с ведро. Только и есть, что располагающие глаза да зубы со смехом.

Мне были тягостны такие переживания. Будто два человека боролись во мне. Один, любящий и добрый, радовался, что Варя оживилась и повеселела, а другой кто-то — ревновал и оскорблялся.

Но и Варя что-то заметила в своем сердце и чего-то испугалась. Как-то раз сговорились мы втроем на остров по морошку. Я, изобретаючи олифу, позамешкался. И Варя отказалась:

— Я без мужа ездить неповадна.

Как дом отеческий, я шкуну обновил и учинил. И, отделав дела, как с домом отеческим простился. Николай остался жить в Соломбале.

Потянулась ненастливая осень. Залетали белые мухи, Варя ни разу Соломбалу не помянула, Николая не проименовала.

Николай приехал к нам по первопутку. Завидев гостя, Варя дрогнула и с лица сменилась. Он гостил у меня два дня. Варя не сказала с ним двух слов. По отъезде в глазах ее установилась смертная тоска. Молчит, склоняясь над шитьем. За оконцем неустанно-неуклонно падает снег...

Что же делает Егор в присутствии плачевной супруги? Вознамерился презрение показывать и безотрадно в том преуспевал. Оледенело сердце, и страшная была зима душевная.

Думали, конца зиме-то не дождаться...

Однажды Варя мне сказала:

— Егор Васильевич, Коля мне пишет. Письма все в красненьком столике.

Я процедил сквозь зубы:

— За низкость почитаю интересоваться подобными секретами.

Однажды ночью слышу: Варя вздыхает, плачет за своей перегородкой. Я выговорил ехидным тенорком:

— Бабушка, бывало, молилась: «Пошли мне, господи, слезную тучу». Я спишу для вас?

Остегнул ее таким словом и — ужаснулся. Я ли это? Ей ли, бедной, говорю? Хотел зареветь, заместо того скроил рожу в улыбку.

Коля явился к нам на масленой. Я только охнул. Будто кто его похитил: глаза ввалились, по привычке улыбается, но улыбка самая страдальческая.

Я был маленько выпивши и запел дурным голосом:

Где твое девалось белое тело?
Где твой девался алый румянец?

Белое тело на шелковой плетке,
Алый румянец на правой на ручке.

Плетью ударит, тела убавит.
В щеку ударит, румянца не станет.

Пою... И тяжкий груз, который меня всего давил, во едино место собрался: вот-вот скину. Заплакать бы — еще не могу.

На другой день Варина мать мне, по тайности, высказывала:

— Коля без тебя заходил проститься. Они всегда молча сидят. А тут он глядел, глядел, да и пал перед Варей. Обнял ей ноги, положил ей голову на колени и заплакал навзрыд, как ребенок. Варя лила слезы безмолвно, прижимая к устам платок, чтобы заглушить рыданья. Потом отерла Колино лицо и сказала:

«Коля, много у нас цветов было посеяно, мало уродилося. Коленька, когда мы будем в разлуке, не грусти безмерно. Моя душа всякий раз слышит твою печаль и скорбит неутешно».

Я прибежал к себе, зачал бороду рвать и кусать: «Ирод ты! Журавлиная шея, желтая седина! Что ты, мимо себя, на людей нападаешь? Что ты свою жизнь надсаживаешь?!»

Опять весна пришла, большие воды, немеркнущие зори. Было слышно, что старые товарищи мои согласились поступить на «Обнову». Контора их ждала со дня на день. Но какое мне дело до вольных людей!

Какой-то вечер мы сидели с Варей, молчали. Приходит Зотов, пароходский знакомый. К разговору спрашивает:

— Что это ваш Николай Зимний затевает? Подал в управление порта просьбу о зачислении его в команду Новоземельской экспедиции. Вторую неделю живет в городе. Остановился у меня.

Варя сделалась белее скатерти. Вышла из комнаты. Слышу, наверху в светелке дверь скрипнула.

Когда Зотов ушел, я поднялся к Варе. Она, где плакала, у окна па сундучке, тут и успула. И столько было ейного возрыданья, что и рукав и плат мокры от слез. Негасимый свет летней почи озарял лицо спящей. И грозно было видеть неизъяснимую печаль па сомкнутых глазах, горечь в сжатых устах.

Жалость пуще рогатины ударила мне в сердце. И, опрятно встав, руки к сердцу, заплакал я со слезами. И тихостным гласом, чтобы пе нарушать скорбного спа, зачал говорить:

— Дитятко мое прежалостпое, горькая сиротиночка! Где твоя красота? Где твоя премилая молодость! Ты мало со мною порадовалась. Горьки были тебе мои поцелуи. Я неладно делал, лихо к лиху прикладывал. Совесть меня укоряла, я укорам совести не верил. Видел тебя во слезах и стыдился утешать. Сколько раз твоя печаль меня умиляла, по гордость удержала.

Кукушица моя горемычная, горлица моя заунывная! Звери над детьми веселятся, птица о птенцах радуется, — ты в холодном гнезде привитала. Так, как солнце за облаком, терялась, мое милое дитя ненаглядное! Был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-похвалитель...

Шепчу эти речи, у самого слезы до пят протекают. А красное всхожее солнышко золотит сосновые стены.

Так я в эту почь свою гордость обрыдал и оплакал.

Но часы-время коротаются, утро — в полном лике. Прилетел морской ветерок, и занавески по окнам залетали, как белые голуби. Внизу я наказал, чтобы покараулили Варин сон, чтобы, как проснется, шла она к Коле на квартиру и ждала меня там, у Зотова.

А сам достал из сундука поморскую свою одежу коричневых сукон, узорную рубаху, бахилы с красными голенищами, обрядился, как должно, и легкою походкой отправился в контору.

В конторе прямо подлетаю к начальнику, не обратив вниманья на людей, сидящих вдоль стены:

— Господин начальник, я по личному делу...

Удивленно взглянув на меня, он показал рукой на сидящих:

— Ты с ними не знаком, Егор Васильевич?

Я оглянулся и... повалился в ноги им, старой дружине моей.

Сколько у меня было слов приготовлено на случай встречи с ними! А только и мог выговорить:

— Голубчики... Единственные... Простите.

Они встали, все как один и ответно поклонились мне большим поклоном:

— Здравствуй многолетно, дорогой кормщик и друг Егор Васильевич!

Меня усадили на стул. А я все гляжу на них, вековых моих друзей, на их спокойные лица, степенные фигуры.

Начальник говорит:

— Ты пришел, Егор Васильевич, более чем кстати... Да ты ведь по личному делу?

— Я шел сюда проситься в команду «Обновы».

Начальник говорит:

— Я ожидал этого. Но правление не отпустит тебя, если не представишь заместителя. А такого не предвидится.

Я спрашиваю:

— Верны ли слухи, что Николай Зимний ушел с «Обновы»?

— Ушел. Отказался от этой службы категорически. По каким-то личным обстоятельствам.

Я говорю:

— Господин начальник, вот бы кто поставил мастерскую на должную высоту. Николай Зимний — судовой механик с аттестатом.

Начальник даже крякнул:

— Эх, Егор! Лучшего бы выхода и для тебя и для меня не было. Но Николай Зимний рвется в дальние края. Он заявил мне: «Если не устроите меня в Новоземельскую экспедицию, я уйду в дальние зимовья на купеческих судах...» Уперся, уговаривай его хоть год.

Я стукнул кулаком о стол и говорю:

— Господин начальник, я берусь уговорить Николая остаться в городе. И сроку мне понадобится не год, а пять минут.

Все глаза вытаращили.

— Каким образом?..

— Цепью его прикую к пристани.

— В добрый час, Егор! Орудуй!

Я побежал к Зотову, где жил Николай. Остоялся в сенях, слушаю... Варя плачет с причетью:

Не одна родитель нас родила,
Одной участью-таланом наградила:
Что любовь наша — печаль без утешенья.
Мне не честь будет старого мужа бросить.
Он не грозно надо мной распоряжался,
Не обидел меня грубым словом.
Он много цветов посеял, мало уродилось.

Николай говорит:

— Мне должно уехать, Варенька, но не терплю без вас быть!

Я дверь размахнул, за порог высокоторжественно ступил:

— Принимайте меня с хлебом-солью! Доченька! Много ты потерпела бедностей, и ты ныне возрадуйся! Я, твой бывший муж, ныне же твой отец, торжествую над собой пресветлую победу. Отдаю тебя Николаю на руки, Ивановичу навеки... Николка, я твою думу разбойницкую всю знаю. Не затевай! Не езди!

Он прослезился горько и отер слезы:

— Егор Васильевич!.. Мы вас не согласны обидеть...

Варя пала мне в ноги:

— Благодарствую, Егор Васильевич! Спасибо на великом желаньице. Ты доспел себе орлиные крылья, нашел в себе высокую силу.

Ты мужскую обиду прощаешь,
Превысоких степеней отцовских доступаешь,
Перед тобой мы безответны и нéмы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я подхватил ее с полу, как ребенка:

— Дочка, подыми лицо и более ни перед кем не опущай! Дети! Я упал больно, встал здорóво. Теперь буду вашей радости пайщик, вашего веселья дольщик, вашего счастья половинщик.

Видя мою радость, Коля с Варей стали краше утра.

Я учредил их в моем домишке и, как куропать, вырвавшись из силка, устремился к старой и вечно юной морской жизни.

Радость одна не приходит: дружина моя объявила портовой конторе, что подпишутся в службу только в том случае, ежели шкипером на «Обнове» положат старого их кормщика Егора Васильева.

Вот и настал этот торжественный день, день моего освобожденья, день отпущенья. Низменная конторская палата будто светом налилась. Все мы собрались сполна. Начальник конторы сам перо в чернильницу обмакнул и подает мне:

— Подписывайся, кормщик.

Я говорю:

— Дозвольте, господин начальник, чин справить, у дружины спроситься.

Товарищи зашумели:

— Егор Васильевич! Это чин новоначальных. Ты старинный мореходец.

Я говорю:

— Совесть моя так повелевает.

Они сели вдоль стены, чинно. Я встал перед ними, нога к ноге, руки к сердцу и выговорил:

— Челом бью всем вам, и большим, и меньшим, и середним: прошу принять меня в морскую службу, в каков чин годен буду. И о том пречестности вашей челом бью, челом бью.

И, отведя руки от сердца, поклонился большим обычаем, дважды стукнув лбом об пол.

Они встали все, как один, и выговорили равным гласом:

— Осударь Егор Васильевич! Все мы, большие, и меньшие, и середние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика. И править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно. И будем мы тебе, нашему кормщику, послушны, подручны и пословны[1].

И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами.

Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам:

— Путем-дорогой здравствуйте!

---

[1] Пословны — повинующиеся по первому слову.

Я отвечаю:
— Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!
От них опять доносится:
— Куда путь правите?
Я отвечаю:
— Из Архангельского города в Мурманское море...

И опять только волны шумят да ветер разговаривает с парусами.
О море! Души моей строитель!

## ДЕТСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было не́как. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Такой щеголь...

— Машка, ты это к чему?

— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закрост...

— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать... В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.

Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и...

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.

— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь...

Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит...

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:

— Что ходите тут?

— Малину беру...

А уж о Покрове... Снег идет.

Старик к дочери:

— Аннушка, что плачешь?

— Ох, зачем я посмотрела!..

— Аннушка, люди-то говорят — ты надобна ему...

Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица» — миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в Выгореции... Помолчали; гость вздохнул:

— Вы все с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь?..

— Ни за царя, ни за князя не пойду!

Гость упавшим голосом:

— Аннушка, а за меня пошла бы?

Она шепотом:

— За тебя нельзя отказаться...

В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки; окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.

Первые года замужества мама от отца не отставала,

с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят па карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, бай да люли!
Спи-ко, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец...
. . . . . . . . . . . . . . .
Бай, бай да люли!
. . . . . . . . . . . . . . .
Ты па елке тетерку имай,
На озёрке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедошку.

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — все поет.

Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Заппусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь... Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.

Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!

— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.

— Я сама нашью, модных.

Сестрица шить любила: ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко и в море сторопится.

Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение.

Я раз спросил:

— Папа, машина-то, она самородпа?

Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океап парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, пе знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит пас руками:

— Ох, деточки! Что на море-то делается... Папа у пас там!

Я утешаю:

— Мамушка, я, как выросту, дальше Соломбалы не пойду в море.

А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестапут ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полното! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце па месте.

В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.

Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.

Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет...» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком...

Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

— Варгас, постой-ко, постой!

Он лошадь остановил, ждет, недоумевает...

Я выбежал за ворота.

— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать...

А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще...

Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка... Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.

Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульянкиной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:

— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти.

По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют, отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята! Эвон-де орда-та!

Испугаемся, домой полетим. А орда[1] вся-та с фунт, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.

Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходно-

---

[1] Орда — небольшой зверек из редкого, уничтоженного сейчас, вида полосатой белки.

го ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех-шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — смотренье, рукобитье, понимапье. Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают, — честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий... И тут увидит из соседей старик ли, старуха, с розгой к нам треплют... Ведь пост! Беда если песни да скоромное!.. Мы опять кто куда — в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:

— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..

Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк.

Для памяти я и декламирую:

Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро — ящички.

И другие стишки про буквы:

Ер (ъ) еры (ы) — упал с горы.
Ер, ять (ять) — некому поднять.
Ер, ю — сам встаю.
А и б сидели на трубе.

Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует.
Ходи вправо,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно, не грузно.
А врозь — хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:

— Выучишься, ума прибудет!

Я таким недовольным тоном:

— Куда с умом-то?

— А жизнь лучше будет.

Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил;
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!..

Или еще:

Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек,
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

## МИША ЛАСКИН

Это было давно, когда я учился в школе.

Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

— Тебя как зовут?

— Миша Ласкин.

— Ты один живешь?

— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плаванье.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.

Старший из ребят кричал:

— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.

Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы весла потеряли.

Миша засмеялся:

— Весла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ерш, куда ползешь?

Он зачерпнул свободною рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться», — и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:

— Ешь, мой голубчик.

Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашел за мной?

Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.

Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать.

Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину — к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.

Вздохнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Варпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.

И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую, премудрую, под названием «Морское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.

Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише, и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.

В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный, — сказал Миша, — эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!..

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.

Старичище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».

## МУРМАНСКИЕ ЗУЙКИ

Зуек, или зуй,— наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение — обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери одна забота: чтобы сынишка и семье помог, и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.

Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды,— пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных тресковых голов.

Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто, близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навыкать. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким пол-дела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом до́ма — отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуек бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет:

— Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим! Милости просим!

Во время пированья зуйки сто́льничают и ча́шничают с шитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Обедает зуек с хозяйкой после гостей.

Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет:

— Батюшко, припади!

Это просят ветра посильнее припасть, дунуть.

Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет и поет:

Сизенький мой соколо́чек,
Миленький голубо́чек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!
Беззаботные годочки прокатились,

Беспечальные денечки миновались!
Не в доцвете траву шелкову
С поля убираю,
Не в доросте моего рожóного
В работушку провожаю...
Всхóжее ты мое солнышко,
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головушка заподумыват,
Ребяческо сердечушко запобаливат!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вспомнит мать и младенческие годы сына:

Ты спал у меня, высыпался,
Ты ждал, дитя, дожидался
От отца веселого покликаньица,
От матери тихого побужаньица,
От брáтелка ключевой воды,
От сéстрицы полотенышка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит. Слушая мать, и парнишка всплакнет.

После обеда на жальник сходят (на кладбище) с родными проститься.

На пристань идут, каждому нищему подают:

— Нате-ко на пóветерь.

И все встречные и поперечные отъезжающие пóветери — попутного ветра — желают.

Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, паруса откроют. Ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом, и... вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет, любо в море!

Матрос песню запоет, в гармонь заиграет — смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской, ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из зашéйка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в гóломень летит.

Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают... В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним

поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, посеребренную трубу-рупор и кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Те отвечают:

— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Мы опять:

— Куда путь-дорогу правите?

Ответ уж издалека донесет:

— Из Стокгольма в Архангельской!

Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск:

— Агафье моей расскажите, что меня встретили!

Зуйки опять за дело: медные котлы начищают. Чайки на берег воротились. Кругом небо да вода. Навстречу английский пароход. Англичане дразнятся:

— Роши шхуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!

Зуйки из себя выходят, кричат:

— Роши шкуна шик! Инглиш тво фут руль, а фуль! Елефан трунк друпк!

С тем и разминемся.

Бывает, что англичане корабельные сухари, «бишки», зуйкам бросают. Или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колобами отдаривают.

Норвежане встретятся, те спрашивают:

— Куры фра? Куры фра? (Куда, мол, пошли?)

Им отвечают, что на Мурман или в Данию.

Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-е!!!

Тошно в море — земля и небо стонут.

Самое опасное место в туманы Горловина — выход Белого моря в океан. Тут всегда волненье, толкунцы.

Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи, лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане, как чаечка маленькая. И подвигается на него «девята» — девятый вал, что всех больше... Вал черный,

гребень белый — кружево белое на черном бархате. «Ну,— думаешь,— сейчас закроет, и все тут...» Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенком, да и спустит вниз. Только сердце екнет да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок; горе, если со всех румбов заповертывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест.

Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников:

— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили?! Ух, коровы косые! Крепче кливер! Рочй шкот!.. Ух, карасином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!!!

Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте.

В непогодушку, когда старик океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм, юнга Бельских ходит с подвязанной щекой. Сувор к нему:

— Ты что, Владимирко?

— Что... Глаз-то худо заоткрывался...

— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберешь... По шее бы надо.

— Себя бы бил по шее-то!

— Любя ведь, леший...

— Любя... Теперь как на берег сойду? Ни погулять, ни девкам показаться. Никотора на меня не обзадóрится.

— На экого винограда чтобы не обзáрились! Да ты первый парень по деревне.

— Первый парень... А где наряды-то? Ты много ли нашил?

— Ужо не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.

Этот Окладников «хороший» был, а случалось на бедовых налетать. В шапке зуек в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Жди, когда заговорят. Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев.

Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню:

В чужих-то людях рано будят,
На работушку гонят до зари.
С той-то работушки рученьки
Болят по плечам,
Со воздыханьица грудь болит.
. . . . . . . . . . . . .

По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте есть поморский стан, летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу, зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня, рукава стряхня. Замараются, припотеют, а все с песнями:

Сам толку́,
Сам мелю,
Сам и по́ воду хожу!
Кашеварничаю,
Пивоварничаю!

Хлебы зуй катает — поет:

Уж и сею я муку
На полатях на боку!
Уж я по полу катаю,
По подлавочью валяю.
На печи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.

Всего хуже ребятам хлебы печь. Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин, рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню, емкостью в несколько ведер, взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.

В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли, как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ковриги

рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся.

В мурманских станах живут временно, одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы у поворят в саже. А все с песнями. Один поет:

Три дня печи не топил,
Много сору накопил.
Ложки вымыл,
Во щи вылил!

Другой припевает:

Косяки скребу,
Пироги пеку...

Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:

Кисни квас —
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Чуть не угодят — и... гроза. В наказанье на берег не отпустит. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как привезут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают:

Как за эту выслугу,
Что нас на́ берег не выпустил,
Тебя трясло бы, потряхивало,
Выше печи бы побрасывало,
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалитися,
Во щах заваритися,
Пирогом подавитися!
. . . . . . . . . . . . . . .

В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так, бедные, душу отведут.

Приход шнёк и ёл в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:

— Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлебы есть!

Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно:

— Господа промышленники наши, милости просим обедать!

Про себя-то всего насулит...

Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол. Ее скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуек обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада. Дразнят друг друга:

Витька баню топит,
Ситом воду носит.
Решето-то розно,
Он принес,— порозно!

Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок-фо́ршней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколь долог ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров.

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег, взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок:

Я вставал поутру-ввечеру,
На босу́ ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.
Не путем, не дорогой шел.
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в нее шиб — не дошиб;

Другой раз шиб — перешиб.
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.

А то запоет кто-нибудь один:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
По поднébесью сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом принаправливает.

И все дружно подхватывают припев:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

А с горы корова на лыжах катится,
Ноги рóсширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

На дубу свинья гнездо свила,
Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Малы деточки поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят,
По верхам глядят, улететь хотят.
Небылица в лицах, небывальщина.

Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан в лохани воду:
— А не то ли, братцы, море синее?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан, из чашки ложками хлебают:
— А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок этаких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую... А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет:

Ох, да во синем-то да во широком-то
Раздольице, ох, да подымалася погодушка
Немилослива.
А и плыли туры по синю морю,
Ох, да выходили туры на белы пески.
Ох, да им навстречу турица златорогая;
«Уж вы здравствуйте, туры, где вы
были, что вы видели?» —
«А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась, и не вихри
В поле слетались. Ох, да подымался
Батый с Золотой Ордой и со всею
Своей силою несметною...»
. . . . . . . . . . . . . . . .

На мурманских пахтах — утесах — гнездятся тысячи птиц — гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус — рыбой припахивают, не все любят.

И яйца брать и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.

А дни — день за днем в работе,— как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — поморы — поплывут на парусниках и на пароходах по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят: на верхушке мачты есть шарик — «клотик». Назначают состязание, кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. Внизу на палубе героя ждет премия: баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (перекладина у мачты), и зуйки

один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся.

Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дружки, Бóрдики, Лыски, Кóпы — приезжим на грудь скачут.

## ВАНЯ ДАТСКИЙ

У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды-морошки по белому мху; торговок-пирожниц, бражник, квасниц,— будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу... А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить.

Горожане дивились на Аграфену:

— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный.

— Умрем, дак выспимся,— отвечала Аграфена.— Я тружусь, детище свое воспитываю!

Был у Аграфены одинокий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушко является с визитом, спросит: по здорову ли шли? Его угощают солеными «бúшками» — бисквитами, рассказывают про дальние страны.

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти!

Мама заревела, как медведица:

— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!

— Ну, я без благословенья убежу.

Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:

— Кэптен, тэйк э брод! Возьмите с собой!

У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился.

— Хайт ин зи трум! Ступай в трюм!

Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.

Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь: «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!

И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет...

Нету слез против материих. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Кажду бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушку спросила...

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.

Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая...

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?

— В Россию, в Архангельской город.

Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же порядился с капитаном

сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.

Жена с плачем собрала Ваню в путь:

— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там..

— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.

Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежи корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.

На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой... Теперь он идет по пристани высокий, бородатый Идет и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует».

Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:

— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!

Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.

У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит...

Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает: «Открыться бы!.. Нет, страшно: она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как?»

В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки двадцать пять рублей.

Так, не признавшись, и отошел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:

— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой?.. Твенти файф рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.

После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.

Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».

Опять жена плачет:

— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.

— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.

Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:

— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!..

Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые... Упасть бы в ноги! Может бы и простила и отпустила... Нет, страшно!

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних!

Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала. — Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя... Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры; кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать...

Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега... Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки.

Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.

И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.

Как он деньги-те пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки.

— Кара-у-ул! Грабя-ат!!!

Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.

Аграфена тихонько говорит приставу:

— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.

Пристав подступил к Ване:

— Признавайтесь, вы ей сын?

— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!

Аграфена закричала с плачем:

— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говóрю забыть... Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.

Пристав приказывает Ивану:

— Раздевайтесь!

Тогда Ваня пал матери в ноги:

— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги — пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:

— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала...

Заплакал и Ваня:

— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца...

Заревели в голос и торговки:

— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!

Аграфена говорит:

— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими ру-

ками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:

— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.

Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

— Джон, останемся тут! Здесь такие добрые люди.

Аграфена веселится:

— Вери гуд, невестушка. Где лодья ни рыщет, а у якоря будет.

Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.

По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.

## МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ

*Рассказ портнихи*

— Корытину Хионию Егоровну, наверно, знали?.. Горлопаниха: на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередый, крашеный? Дак от Хионии Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель — модная мастерская...

...Дело давнишнее: после первых забастовок пустила Хиония Егоровна петербургского студента ссыльного... И видно, что Лев Павлович был не из простых. Разговор, манеры... Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к Корытихе чашечку кофейку выпить и, грешны богу, элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагност поставили: не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. Два-три письма еженедельно в Питер Катюше своей пошлет. Одно-два от нее получит. А уж ни с Хионьей Егоровной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделится своей сердечной тай-

ной. А мы, не будь дуры, Левины-то письма, да и супругины нежные ответы при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью.

Зима тот год была дождлива. Наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он, как лебедь унылый, который улететь-то не в силах.

Этак сидим однажды у Хионьи, не то по пятой, не то по девятой чашечке кофейку налили, а Лев Павлович и заходит.

— Не откажите в любезности бросить письмо... (Почтовый ящик у нас на воротах.)

Хионья и осмелилась:

— В свою очередь, Лев Павлович, окажите любезность дамам выпить с ними кофейку. Также, извините за нескромный вопрос, почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастие — быть возле вас.

— Да. Катя там тоскует без меня, но климат здешний...

— На! Чем этта не климант — у дров да у рыбы?!

— У Кати там должность.

— Этта тоже можно письменны упражненья найти!

— Катя такая хрупкая...

— Будь она хоть рюмочка хрустальна — она бы здесь кофейком отпилась!

Зима пошла на извод, наш Левушка — вовсе на исход. А свою принцессу все успокаивает: здоров да благополучен. Мы с сестрицей взяли да на семи ли, на восьми страницах, вкратце, и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, а она сама является, как майский день! И знаете, действительно принцесса! Такой тип красоты парижанки: блондинка при черных бровях. При этом ежели парижанкин тип, то лик неизбежно втолсту отщекатурен. Но у Кати, окроме добродетелей, ничего в лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом: во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из последних: в туалетах можем понимать!

Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего. Даже нам с Хионьюшкой досталось по нескольку поцелуев... А багажу-то дорогая гостьюшка не ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот веретеном тряхнуть... Но не поспела она этот че-

моданчик расстегнуть, как сразу разговор на копылья поставила: какие в городе конторы и насколько личность, многознающа в науках, может найти упражнения. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомства, и весь *бомонд* на вестях. Раскинули умом да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных.

Фирма «Маляхин и сын» преименитая — свои пароходы, рыбой торговали.

Об эту пору мы молодого Маляхина супруге Настасье Романовне шили гардероб домашний и а-ля́ променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение, в рассуждении застать домовладыку.

И папенька и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадесяти языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.

— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!..

А папенька, медведь такой:

— Хм... Какая-нибудь на велисапеде приехала.

Одним словом, принялась наша протеже служить в маляхинской конторе. И мы с сестрицей ходим, подпявши нос, как две виновницы торжества. Ох, ежели бы знать, к каким это приведет плачевным результатам, дак волосы бы на себе лучше было драть и свою безумную главу толченым кирпичом посыпать... Тем более под ярким впечатлением видела я сон: будто катаемся в шлюпке при тихой погоде я с сестрой и Катя с Левой. И вдруг нас качнуло... Агромадный пароход валит на нас, обдавая рыбным запахом... Я заревела... Сон сестре рассказываю, а она:

— Вольно тебе рыбну кулебяку на ночь под носом оставлять...

Ну, ладно... Не успела наша Катя на должности показаться, все мужчины принялись кидать на нее умильные взоры, а молодой хозяин ус крутить и ножкой шаркать... И нельзя винить: прежде за диковину была служащая дамочка. Притом Федькина жена, Настасья Романовна, взята была из поморского быта. Платья по журналам шить согласилась, а уж парчового повойника с головы сложить не соизволила: «Это женский венец! Не от нас заведено...»

Ну, куда же современный муж такую патриархальность поведет? Ни в театр, ни в концерт. А тут на глазах, при своей конторе, богиня красоты — юбка плиссе с воланом, блузка с утюга...

Обзадорился Феденька на свою подчиненную, а какими средствами ее достигнуть, не знает. Это не певичка, в «Золотой якорь» не позовешь.

Каких только промыслов он над Катей не чинил! В пасху плюшевое яйцо, ростом с бочку, четыре оленя к Хионьиным воротам подвезли. Из яйца выпал карлик и подал Кате самовар с французскими духами. Хионья этими духами больше году поливалась.

Опять на Катин день рожденья пряник от Маляхина, в пуд весу, прикатился. И литеры «К» и «Ф» — Катя и Федя — сахаром на прянике выделаны...

На улице молва пошла: ссыльна барыня купеческого сына присушила, приворотным зельем опоила...

Убежала Катерина из маляхинской конторы. Хотя мы и советовали: «Терпи с выжиданием». Да уж Федька-то... что ступит, то стукнет. А ведь этаку фарфоровую штучку, вроде Катеньки, надо полегонечку обдерживать, вкруг да около манежно переступывать.

Соболезнуя Настасье Романовне, мы не раз к Маляхиным для ради примерки являлись, испытующим оком выраженье ейной личности изучали. Но ничего прочесть не могли. Уродится же такая дура, не от мира сего!

А Левушка не долго прожил после этого. В июньскую сияющую ночь смерть исторгла его из объятий рыдающей супруги.

На провожании мы с сестрой Катю под руки вели. Хионья Егоровна заместо духовенства впереди ступала. Шла в старинном косоклинном сарафане, в шитом золотом платке. Несла в руке ветвь благоцветущего шиповника и пела плачную причеть. Мы с сестрицей подхватывали на голоса. Все плакали, выключая молодой вдовы.

— Катя, для чего ты не плачешь?

Она — что каменная. А мы выревемся, нам и легче.

Шесть недель она к Леве на могилку ходила. Молча сидела. Домой воротится вся в комарах искусана.

Тут опять на сцену донжуан выходит. Ежели Феденька Маляхин при живом муже светским приличием пренебрегал, то теперь открыто повел лобову атаку.

В Ильинску пятницу идем с сестрой из магазина, а у корытовских ворот маляхинский рысак. И Хионья из окна

подает отчаянные знаки. Несмотря на страшный недосуг, летим к ней черным ходом.

— Душенька, что у вас?

— Формальное предложение сделал!

— Кто?

— Федька.

— Вам?

— Черт ли мне! Катерине...

Мы даже заплакали: «Забыть так скоро!..» Коварная, прельстилась на богатство... К дверям Катерининым припали... Нет! Почтения достойное творенье ничем не обольстилось.

Федоров голос из-за двери:

— Дом отделаю во вкусе, и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, подобно жемчужине.

А Катин голос:

— Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены!..

Мы в куски рвемся под дверями-то: «Дура ты, дура ты, Катерина! Благодарение бы надо воссылать такому благодетелю. И ты-то, Федька, дурак! Тебе бы сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонетов, потом букет пунцовых роз, а ты: «На содержанье возьму!..»

Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то за какие прегрешения скорбную чашу будет пить?! Смолоду на нее шьем! Слова худого, взгляду косого не видели.

...Разоряемся этак под чужими дверями, а Федор и вылетел да хлоп Хионию дверью в лоб!.. Пал в коляску, ускакал. Еще бы: обожаемый предмет заместо сабли все чувства становит.

Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркою пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла и губы в кровь искусаны, однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. «Ну,— думаем,— ежели сердечного участия не понимаешь, дак и черт с тобой!»

Домой шли, ругались, а дома заревели:

— Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой благоверный в рассужденьи Катерины изумился.

Недели не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника. К зимнему сезону шила плю-

шеву ротонду на лисьем меху. У нас первостатейны дамы шили. Прикидываю ей сантиметром по подолу, а жандармша и погляди в окно:

— Ох, какая роскошная упряжка мокнет под дождем!

Я посмотрела, да и села со всего размаху на пол: у Хионьиных ворот старика Маляхина карета.

— Душенька, что с вами?

— Это у меня на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух.

Сдали барыню помощнице, а сами кубарем через забор да соседским двором, чтобы жандармша не увидела, к Корытихе. Подолы ободрали, в крапиве обожглись,— наплевать!

Хиония в коридоре на своем посту обмирает; молча нам кулаком погрозила... Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали, не смеем дух перевести.

К началу представленья не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит:

— Возьмите отступного полтысячи, даже тысячу и удалитесь в родные палестины.

Катя с гневом:

— Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить?

— А вы какое имеете право женатого человека завлекать?

— Я служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя, как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла, увидевши себя в ложном положении.

— Порядочная женщина должна оберегаться мущин, а не действовать над ихним воображением. Мало тысячи, получите полторы, ежели вы такая практикованна особа...

Тут Хионьюшка двери рванула да как налетела на Маляхина-то:

— В моем доме нету практикованных! Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда, рыбьи глаза! Я честна вдова, тридцать лет вдовею! Меня сам отец Иван Кронштадтской знат да уважат!

Старик шапку в охапку, пал в карету, ускакал.

Мы пых перевели, а по всему дому чад, окон не видно. Хиония кофей жарила, да и забыла с гостем-то. Сожгла огромадну сковороду. Пока окна-двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом, с самым жалким выражением сво-

его миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хиония говорит:

— Пущай по ветерку пробежится. Я свежего кофею зажарю. Она кофейком отопьется.

А моя молчаливая сестрица и провéщилась:

— Может, Катя-то тонуть ушла...

Хиония заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули а-ля́ помпадур и потрепали за Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке, привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла, мы оврагами махнули, да и спрятались в елочках, где Лева-то лежит. Катя подошла молча, постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала:

— Левушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?..

В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось:

— Не оплакивайте меня, я ведь на минутку духом упала.

— Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели! И в корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам. Мы тебя на фарфорову тарелку посадим и по комнатам будем носить.

Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал, и солнышко выглянуло.

Однако до Хионии кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван-Брейгель, супругу датского консула. И Хиония налетела, будто туча с громом:

— Я честна вдова! Меня отец Иван Кронштадтской знат да уважат! Я сама за моих квартирантов умею кровь проливать!

Тут опять является на сцену Феденька Маляхин.

Как вечерняя заря небо накроет, так несчастный донжуан и заслепит Корытихину улицу золотыми часами и золотым портсигаром. Как перо на шляпе, мимо Корытихина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться. Корытихин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговоры. Она калитку размахнет, выпучит глаза, а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пустит.

— Что, Корытиха, стоишь? На кого глядишь?

— Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума.

— Ах ты, раковы глаза!..

— Ах ты, сомова губа!..

Мы браним Хионию-то:

— Вы хоть бы Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей. С пьяным связываетесь.

— Не подумала, что пьяной. Катенька, прости меня. Не могу своего характера сдержать.

Вот эдак, скажем, сегодня она покаялась, а назавтра еще с большей талантливостью сыграла... День-то рыбу в погребу укладывала, перед ужином вышла в залу отдохнуть. И покажись ей, что Маляхина нету. Обрадовалась: «Хоть один,— думает,— вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов». Окна-то распахнула — под окном-то Федька!

Хиония Егоровна Корытова цветы с подоконника срыла, да и выпихалась на улицу задним-то фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федора Маляхина... Прохожие путники во главе с уличными детями вопиют:

— Гордись, гордись, Корытиха, не сдавайся!

А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра да мадам Корытову и окатил с головы до пят... Страм!

После этого день прошел, и неделя прошла. Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту.

А вечера чудные, непохоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки, побежали за Катей.

— Прекрасная затворница! Позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш Отелло исчез!

Катя, как птичка, радехонька...

Вот и шествуем три элегантные дамы. У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля́ Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьеп ганте.

Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу. Что такое? У гостиницы «Золотой якорь» народ, извозчики, точно свадьба. Пробираемся поспешно через публику, а все в окна глядят. А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий визг. На улице темно, в гостинице светло, нам некуда деваться, в окна смотрим... О, ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут, ажно ветер свистит... Лампы и свечи вспыхнут, то померкнут... Федор опух, обородател, глаза остолбели... И он вопит:

— Сволочи, песню! Мою песню!

Прихлебатели и девки грянули под музыку:

Кат-тя, ты меня не лю-убишь!
Кат-тя, ты меня погубишь!
. . . . . . . . . . . . . . .

В толпе кто-то и выговорил:

— О-хо-хо!.. К каждой песне Катю помянет. Пятые сутки пьет напропалу, любовь-то утолить не может.

Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватила Катю за руку, перебежали через дорогу и — окаменели, как две Лотовых жены: у чужих ворот прижалась-притаилась Настасья Романовна Маляхина и тоже глаз не сводит с ужасных спяющих окон «Золотого якоря»...

Катерина моя охнула да бежать. Чем дальше бежит, тем громче плачет.

...Что вы думаете — в одну ночь она собралась. Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионьюшка сидела на полу да причитала:

— Опустеть хочет корытовско подворьице!

У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не па ельник, не на кладбище. Она смотрела на маляхинскую набережную, неутолимо глядела на маляхинский дом.

Она не велела никому сказывать о своем отъезде. Но разве в нашей провинции могут быть секреты!

Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионии Егоровне явился Федор Маляхин, в черном сюртуке, в черном галстуке.

— Куда уехала? Докуда билет брала?

Хиония и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтобы следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму, как медведь, в лавке сидел. Пощелкает, пощелкает на счетах, потом уставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жил там до белого снегу. Катя у него далеко стала, все перегорело, он и обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде нимфы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина: «Мимолетное виденье».

## МИТИНА ЛЮБОВЬ

У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было.

Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а... все не мои. Притом холостой да мастер корабельный, дак сватьи налетают, как вороны на утенка:

— Погоди, Митька! Роешься в девках, как в сору, одна некрасива, друга нехороша, а криворота камбала и достанется.

— Скажите, как напужали!

— Небось напужаешься! Над экими, как ты, капидонами вымышляют колдуны-ти. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею чего надо споят, страшну квазимоду и возьмешь, молекулу.

А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как гуси, пролетают.

...Позапрошлая наступила зима, выпали снеги глубоки, ударили морозы новогодни. Три дня отпуску, три билета в соломбальский театр. Соломбала — города Архангельска пригород. От нашей Корабельщины три часа ходу.

У вдовы, у Смывалихи, остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт огляделся: рядом особа сидит молодая. Сроду не видал такого взора! Не взгляд — тихая заря поздновечерняя. Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться.

Другой день ушел в гости к вечеру.

Народушку в театре — как тараканов на печи.

— Ишь, лорд какой расселся, член парламента! Расшеперил лапы-то!

Ейно место охраняю... Идет. Голову гордо несет, щеки, уши пылают. Стыдится. Честного поведения, значит. Привстал ей. Мило улыбнулась.

«Грозу» Островского представляли... Вместе ахнем, вместе рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракт осмелел:

— Не угодно пройтись в фойе?

— С кем имею честь?..

— Такой-то.

— Марья Ивановна Кярстен.

И в слове и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю.

— Что на меня зорко глядите?

— Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эка печаль...

— Оттого, что родом я со печального спня-солона моря...

— У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня вчера заметили ли?

У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

— ...Ну, как вас не заметить?

— Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался.

А в последнее действие уливается моя соседка слезами:

— Люблю слушать, как занапрасно страдают...

— Любите, а эдак плачете.

— Я сама в том же порядке.

Проводить не дозволила, одна убежала.

На третий день представленья не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что-де у меня мамы нету, сам хлебы пеку, тесто жидко разведу — скобы у дверей и у ворот в тесте...

А она:

— Говорите, говорите!.. Я потом вашу говорю буду разбирать, как книгу.

— Марья Ивановна! Мы по своим делам часто в Соломбале бываем. Дозвольте с вами видаться!

— Да что вы! Ведь я замужем!

Как нож мне к сердцу приставила...

— Дак... от мужа гуляете?..

— Гуляю? За пять лет замужества случаем в театр попала... С добрым человеком поговорила... Может, до смерти нигде не бывать...

— Теперь эта неволя отменена.

— Неволя отменена, да совесть взаконена!

— Вот вы наделали делов — бросаете меня... Куда я теперь?!

Но горячность моих упреков умиротворяет чудная мелодия вальса:

Зачем я встретился с тобою,
Зачем я полюбил тебя?
Зачем назначено судьбою
Далеко ехать от тебя?

Марья Ивановна сделалась в лице переменна... Встала, выхватила у меня из грудного карманца батистовый платочек... Публика музыкантам хлопает, а я слышу тихое, но внятное слово:

— Пока я жива, это мне лучезарная память. А умру, глаза вашим платочком накрыть прикажу.

И ушла. Как век не бывала. Опомнился да побежал вслед — знай, метелица летит в глаза да адмиралтейская часозвоня полночь выколачивает...

А Смывалиха на квартире:

— Сегодня в Соломбале два дива было. Первое диво — Машенька Кярстен в театре показалась, второе диво — с некоторым молодым человеком флиртовала.

— Она чья? Она кто?

— Мужняя жена. Замужем живет, честь наблюдает. Муж-то пьюшшой, хилин такой. Она мукой замучилась, а уж ни с кем ни-ни... Сама портниха, рукодельница...

Замужем живет... Честь наблюдает... Мне тоже бесчестно баловством-то сорвать. Кабы навеки моя, а так, баловством, мне не надо!..

И той же ночи побежал я домой. Бежу пустыми берегами, громко плачу, как ребенок:

— Эх ты, Машенька Кярстен! Навела мне беду!..

И поклялся я забыть эту любовь. За троих работу хватаю. Сам себе внушаю: «Не думай про нее! Знай, что она не твоя». Да, а ночь-та моя; а кто же рад один-то!.. Бывало, не лягу в хороших брюках, все увертываю да углаживаю, а теперь... Обородател, похудел...

Зима на извод пришла. На верфях стук да юк рано и поздно. У меня топор в руках, чертежи в глазах, на уме Машенька Кярстен. Голос ее, духи ее слышу — «Лориган»...

— Эх, Митя, Митя, упустил ты свое счастье!..

Не курил — закурил...

Притом эту сплетню из Соломбалы принесли в нашу Корабельщину. То прежде дамы по своей части меня хладнокровно укоряли, теперь, видя полноту переживаний, в другую сторону заобиделись. Заведующая парикмахерской как-то при гостях на меня затужила:

— Не желаем соломбальску прынцессу! Счас парик-

махерску замкну и ключ в море брошу. Пущай население ходит в диком образе!

Пришла весна-красна, с летичком теплым, с праздничком майским. Со всем народом, со всем славным шествием пришел я в Соломбалу. И скопилось три дня свободных. Куда пойду?.. А Смывалиха на углу и стоит.

— Здравствуй, Митенька! Да, помнишь Машеньку Кярстен, в театре-то увлекались?... Овдовела; до краю допил...

— Она где живет?!

— В город переехала отсюда.

— Улица какая, дом какой?!

— Дом номер восемнадцать, улица... Погоди ужо; дом номер восемнадцать... улица... Забыла. Ново какое-то переменено название.

— Она где с мужем-то жила?

— Эво, где домичек зеленый!

В зеленом домике самовары лудят да паяют, никакой Марьи Ивановны не знают. Сунулся в возледворные соседи...

— Мы у ей на новосельи не бывали, городского пива не пивали. Гордиянка была и скрытница...

Я на перевоз да в город. В адресном бюро дежурна подает адрес прежний, соломбальский.

— В город она переехала!

— Может, и год проживет не прописана. У нас не торопятся.

Все пропало! Машенька Кярстен, утерял я тебя!.. Вылез на крыльцо, а кругом-то весна! Река ото льда располнилась, в море плывет, чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях флаги, ленты, банты... Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая!

Искать пойду! Обойду город с верхнего конца до нижнего. В каждую улицу загляну, в каждой улочке дом № 18 найду. Везде спрошу Марью Ивановну Кярстен. Взял да и пошел. Три дня ходил. Как лесом, пошел этими домами. № 18 увидаю — так сердце и замрет. У старушки пить попрошу:

— Здесь проживает портниха такая-то?

Ответ один:

— Не знаем, не знаем никаку Марью Ивановну.

По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На Мхах одушевленна собачка, за штанину ухватясь, две улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю. Иду в желтых

щиблетах, пальто серого драпу, норвецкая кепи. Дома «Дели» или «Спорт» курю за шестьдесят пять, тут «Пушку» купил. Инде домоуправляющий выскочит, как пробка из бутылки:

— Санитарной инспектор являетесь? Помойны ямы смотреть?

— Иду своим путем, за своим делом.

Ничего не доспел, а той же отвагой к Смывалихе почевать явился.

— Нашел?

— Найду.

— Присушили тебя. Приворотным зельем опоили. А то опять кошки есть троешерстны... Завтра пойдешь шляться, зайди в «Ледовитый океан». У ворот бабка-гадалка живет...

На другой день ходил главными улицами. Помню, в комфортабельну квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкапах посуда говорит... Спрашиваю:

— Что это у вас, кабыть... Последний день Помпеи?

— Это у нас пенсионер Иван Авдеич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает.

«Нет, моя жемчужина сюда не закатилась».

В обед на реку выгулял, тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинна избушечка, кабыть из-под ягой бабы. Постучался.

— Хозяйка жива?

— Жива маленько-то...

Хорошенька беленька старушоночка у оконца вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест.

— Бабушка, я не гадать.

— Что тут гадать, без гаданья видать. Нарядной, взволнованной, судьбу свою ищешь.

— Бабушка, я остался без невесты!

— Значит, курняга кака-нибудь.

— Нет, уж всех честнее да прекраснее!

— У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоющая женщина, ты у ейного сердца прижат.

— Потеряю ее — буду пить, в карты играть!

— Не дичай. Праведная любовь не потеряется.

— На тебе, бабушка, на гостинцы.

— Не надо, не надо! Свадебного принесешь, пряничков мятных.

Как меня эта маленькая старушка развеселила! А к вечеру еле ноги перекладываю: новые ботинки жмут. О полночь в Лодейну улицу выбрел. Над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом № 18, а как зайдешь... Стою, булочку доедаю. А на крыльце человек и пошевелился.

— Вам кого?

— Дозвольте с вами на крылечке посидеть, опоздал на пароход.

— Даже прилечь не угодно ли! Вот вам оленья постель. Я как выпью, меня женка всегда на улицу выгонит и постелю высвиснет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем бы не огрела...

А я на оленину пал, пальтишком накрылся... Как у мамы за пазушкой.

Пароходные свистки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный, окатистый. Я застегнулся да наутек... И не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя: весь в оленьей шерсти. О, кто бы меня шомполом оловянным настегал! За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец; невеличка осталась Кузнечевская слободка. Домишки, как коробки худые, а нельзя не пройти. По дороге канава: с горы вода летит, льет. Мостик был, да сплыл. Я размахнулся да — р-раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках!.. Тут я духом упал, тут весь форс потерял.

«Эх, Митя, Митя!.. Век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил!»

И поворотил я обратно — скорее бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит.

«Эх, Машенька Кярстен, потерял я тебя!..»

А поперек дороги под старым карбасом сапожник, как в магазине, сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук.

— Мастер, вы худо сделали.

— Худо сделал, дак и опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, дак и без денег сиди...

— Мастер, вы мне карман не прилепите хоть на живую бы нитку?

— Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво где, за углом, портниха живет, дом номер восемь.

Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного... Дом номер восемь... Крылечко и сенцы чистень-

кие, половички тканые. За дверью швейна машина стучит. Поколотился.

— Зайдите.

За порог ступил, у оконца... она!

...Радость любезна бывает слезна... Захватилась за меня, руками за шею напала.

— Вы въявь ли мне видитесь?! Не во сне ли мне кажетесь?!

— Машенька, в день веселья моего не плачь!

— Жить-то начинать без вас тошно было! Как в погребу сидела, с вами рассталась...

— Я-то тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали: надо восемь — восемнадцать сказали...

Третий год с нею живу. Каждый день как в гостях гощу. Така хозяюшка, така голубушка!.. На пароходе со мной в море выпросится.

— Машенька, там тебя заплеснет валом.

— Митенька, ты меня крепче держи-то.

Смывалиха встретилась:

— Поздравляю, Митенька! Умно ты родился да умно и женился.

— Соврала номер-то, вралья редкозубая!

— Забы-ыла!..

## СТАРЫЕ СТАРУХИ

На Севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят.

«Домоправительница» наша Наталья Петровна в деревне с привыкла лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят,— керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядет или шьет у лучины.

— То ли дело соснова лучинушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Нащипал хоть воз — и живи без заботы. Лес везде есть... А керосин — вонища от него, карману изъян, на стекла расход; лампу от ребят храни... Люблю свет, который сама сделала.

Сама с сеновала к коровам идет — лучина в зубах пластает, сено в охапке.

— Петровна, дом спалишь!

— Вы с лампами не спалите.

Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет «осрам», а на столе, у самого носа,— керосиновая лампа.

— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивой пузырь чуть что — и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях остались... А уж Лампияда Керосиновна не выдаст... лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огопек, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала.

Бывало, заведут избомытье,— подобием постная Наталья Петровна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей,— Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитье:

— Благослови-ко, хозяюшка, полы шоркать!

Мать равным образом поклонится в пояс:

— Мойте-ко, голубушки, благословясь!

Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтем моет полы крашеные, левкашепые. Опроксенья сдирает пол белый струганый, только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой да во всю мочь. При этом вслух сравнивает обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер — с тряпкой: «Мной хоть полы мой да пороги затирай!..» А пол «отдерет» — как желтилами выжелтит.

Наталья Петровна любуется на нее:

— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Падоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.

Гризельда польщена:

— Бело — не бело, да дело-то ведено!

— То и ладно, то и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.

— Ты, Петровна, поглядывай вот, как я...

— Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то! Все минуло...

При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют... Обеим по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит:

— Горе мне с глухой тетерей! Врет — глазом не мигнет. Последний раз играю!

И Глафира Васильевна не поддается:

— Беда с теми играть, которые из ума выжили!

Одна другую не слышат, им и не обидно.

Утром тетенька станет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:

— Вот он! Вот он, бубновой-то король!.. Под Люрсихиным стулом лежит. Вчера думаю: «Куда козырь девался?» — а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!

Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта...

Раз, под праздник вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит — бегут по полу черные катышки. Подумала — тараканы; давай летать — давить. Испортила пол,— чернику не скоро выживешь.

Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматое, скрюченное. Умная девка сразу смекнула, что это «банна обдериха», заверещала не по-хорошему да в чем мать родила — на улицу... Девку водой холодной обрызгивают, она — свое:

— О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка́ и вышла!

Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банную дверь да орет:

— Где ты, обдериха?! Зашибу!..

Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить (первые восемнадцать чашек без сахара). Пьет и в зеркало на себя любуется:

— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мя-

конька стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвецкой на мне сватался?

— А?

— Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин?

— Медвежин?

— Тьфу! Молчи, глуха, меньше греха... К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-от оказался женатой!

Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое «умершее» платье:

— Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева, и рюш, и воланчики добавишь, и чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять...

И тетеньку, и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:

— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасти как непохоже! Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались?.. Как живые вышли. И не так давно было, в Турецкую войну... Только Боре-то не надо говорить, что не умеет... обидится. Бог с ним...

А сами кричат одна другой в ухо, па улице слыхать.

Мамина мать, Олена Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддернуть стул, обидится:

— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется... Нет, еще жива маленько. Еще шалнеры гнутся... Это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуть!..

Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:

— У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними навытяжку, как рекрут на часах...

Застучит тростью, уйдет.

Лет восьмидесяти двух бабушка Олена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают

пошутить над ней; бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:

— Аниса-то где у вас?

Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает.

— Убежала в рынок на минуту да и провалилась. Верно, чаи да кофеи с пароходскими распивает.

— Давно ушла?

— Часа два, поди... Пока у тех кофейники-то скипят...

В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение.

Сядет рядом.

— Олена Кирилловна, как поживаете? Невестки-ти каковы?

— Ничего невестки.

— Лучше-то котора?

— Обе хороши.

— Котора-нибудь лучше уж?

У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:

— Петькина-то уж не совсем... не очень... (а «Петькина» с нею разговаривает). Кофейком уж не угостит...

— Бабенька, да ты целый день за кофейником!

— Свой пью. Никому дела нет...

Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку — непременно.

У Олены Кирилловны курочка Хохлатка тоже аредовы века доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:

— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся.

Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит:

«Ко-ко-ко-ко...»

Мы жили в городе, бабушка — на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься:

— Бабушка, прощай!

— Какой такой среди ночи чай?

И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито:

«Ко-ко-ко-ко?»

Восьмидесятилетней Олене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела; однако, потрясенная операцией,

захворала... Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитания:

— Ты промолви нам последнее словечушко!

Болящая раба божия молчала, глаз не открывала.

Поднесли ко рту зеркало: дышит ли?..

Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:

— Попов сколько было? Выдать по пятишнице на плешь. Пели умильно...

Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:

В печи вода поставлена
Олену Кирилловну омывать.
Ох, деточки, бабушка у нас
Тепере часова,
Не векова...

Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми рукавами, взяла псалтырь, отправилась над «покоенкой» читать... Пришла, дверь к бабушке открыта, а та как ни в чем не бывало сидит у окошка, шьет... Косо так на Петровну посмотрела:

— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?

— В баню пошла... к вам забежала...

— Давно ли в городу-то бань не стало? В Соломбалу мыться пришла?!

Но Петровны и след простыл.

Однако через три года Олена Кирилловна заумирала не шутя.

Дочери говорят:

— Мама, мы батюшку пригласили.

— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то — «ба-ба-ба», да и все. А наши-то старухи за рублевку три часа поют да поют.

Однако иерей явился:

— В чем грешна, раба божия?

— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загоришь в аду-то.

— Тебя саму за эти слова в муку!

— Я тоща, я худо загорю; головней возьмусь, да и... Ох, кабы кучей мучиться-то!.. Все бы веселее...

— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай.

— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?

Священник недоумевает, все молчат...

Старуха рассмехнулась:

— Могила, кто же больше!.. Ну, простите. Не велю вам скучать.

Тут и все.

А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала:

— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.

## ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО

Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само послéдно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет онóгды с этима деньгами, видит — мужик собаку давит:

— Мужичок, вы пошто шшенка мучите?

— А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.

— Продай мне собачку.

За копейку сторговались. Привел домой:

— Мама, я шшеночка купил.

— Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собаку покупат!

Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит.

— Мужичок, вы пошто опять животину тираните?

— А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу.

— Продай мне.

Сторговались за две копейки. Домой явился:

— Мама, я котейка купил.

Мать ругалась, до вечера гудела.

Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки.

Идет, а мужик змею давит.

— Мужичок, што это вы все с животными балуете?

— Вот змея давим. Купи?

Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом:

— Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея.

Ванька с ей поздоровался. Домой заходит:

— Мама, я змея купил.

Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясет. А змея затенулась под печку и говорит:

— Ваня, я этта буду помешшатьсе, покáмес хорóша квартира не отделана.

Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера, Ванька с мамой да змея Скарапея.

Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашиват, а выйдет змея па крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз паступит. Скарапея не хочет здеся жить:

— Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папы!

Змея по дороги — и Ванька за ей. Змея в лес — и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед има высока степа городова с воротами. Змея говорит:

— Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извошыка, поедем во дворец.

Ко крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скарапея наказыват:

— Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно — золóтно, волшебно.

Змеиной папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить.

— По-настояшшему,— говорит,— вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговоренной. А мы вас деньгами отдарим.

Наш Иванко ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с им быть.

Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?

— Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да...

Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит:

— Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать?

— Пирого-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись!
— Мама, обуй-ко глаза-те да поди в анбар!
Матка в анбар двери размахнула, да так головой в муку и ульнула.
— Ваня, откуда?
Пирогов напекли, наелись, в город муки продали, Ванька купил себе пинжак с карманами, а матери платьё модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик.
Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят.
Опять Ванька и говорит:
— Ты што, мамка, думаш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочерь.
— Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?!
— Иди сватай, не толкуй дале.
Ну, Ванькина матерь в модно платье средилась, шляпу широкоперу налóжила и побрела за реку, ко дворцу. В палату зашла, на шляпы кажной цветок трясется. Царь с царицей чай пьют, сидят. Тут и дочь-невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала середи избы под матицу:
— Здрасте, ваше велико, господин амператор. У вас товар, у нас купец. Не отдаите ли вашу дочерь за нашего сына взамуж?
— И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?
Мать на ответ:
— Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.
Царица даже чай в колени пролила:
— Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в сору каком, роемся-выбираем, дак подет ли наша девка за мужика взамуж? Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем жснихово житье смотреть.
Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:
— Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила...
— На! Неужели не согласны?
— Обрадовались... Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыль-

ца мост будет хрустальной, тогда придут жапихово житье смотреть.

— Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.

Ночью Иванко переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевскима палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.

Того разу, со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:

— Халера бы их взела с ихной непрерывкой... То субботник, то воскресник, то ночесь работа...

А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шешки. А утром прохватились... На! што случилось!.. *Лежат на золоченных кроватях,* кошечка да собачка ново помешшенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотрять. Везде зерькала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а ланпы горят... Толь богато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.

— Ну, мама,— Ванька говорит,— оболокись помодпе́ да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жаних, на машинки подкачу.

Мама сарафанишко сдернула, барыной нарядилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост, ей созади ветерок попутной дунул,— она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:

— Здрасте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загодочку задали: мос состряпать. Дак пожалуйте работу принимать.

Царь к окошку, глазам не верит:

— Мост?! Усохни моя душенька, мост!..

По комнаты забегал:

— Карону суда! Пальтё суда! Пойду пошшупаю, может, ише оптической омман здренья.

Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила ша-

тат... А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идет и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном:

— Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать...

Царь не знат, што делать:

— Хы-хы! Я-то бы ничего, да жона-то как?

Царица руками-ногами машет:

— Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?!

Тут вся свита зауговаривала:

— Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз!

Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку. Свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит.

Царя да царицу той же минутой укачало — они блевать приправились. Которы пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шшасью середи моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяится. Они, бажоны, никаких слов не примают:

— Ох, тошнехонько... Ох, укачало... Ух, растресло, растрепало... Молодой человек, мы на все согласны! Бери девку. Только вези нас обратно. Домой поворачивай.

Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. Двадцать генералов на этой свадьбы с вина сгорело. Троих сенотóров в драки убили. Все торжесво было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницы хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки:

— Супруг любезной, ну, откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!

Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и россказал. Как только он зáспал, захрапел, царевна сташшила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца:

— Што, нова хозейка, нать!..

— Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом и поставьте среди городу Парижу, где мой миленькой живет.

Одночасно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежной избушке оказались. Только Иванко и жонат бывал, только Егорович с жоной сыпал! Все четверо сидят да плачут.

А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дому нету. Конешно, обиделся, и Ваньку посадили в казаматку, в темну. Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одным окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке:

— Вот што, Белой, сам себе на радось нихто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай, побежим до города Парижа к той б...и Ванькино кольцо добывать.

Собачка бела да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима.

Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать не долго. Стоит середи города и мост хрустальной, как колечко. Собака у ворот спреталась, а кошка зацарапалась в спальну. Ведь устройство знакомо.

Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевны в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила да в окно да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радехоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед имá река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось, как попасть? Собака не долго думат:

— Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то седь ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхну.

Кошка говорит:

— Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной.

— Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали!

Пловут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается:

— Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!

Кошка ответить нéкак, рот занет...

Берег недалеко. Собака опеть:

— Вить, ежели хоть одно слово скажешь, дак все пропало. Не вырони кольца!

Кошка и бякнула:

— Да не уроню!

Колечко в воду и булькнуло...

Вот они па берег выбрались, ревут, ругаются.

Собака шумит:

— Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!

Кошка не отстават:

— Последня тварь — собака! Собака и по писанью погана... Кабы не твои разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить!

А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят:

— Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбины черева дать.

Кошка с собакой рыбьи внутренности стали псь да свое кольцо и пашли...

Дак уж, андели! От радости мало не убились. Вижжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город.

Собака домой, а кошка к тюрьмы.

По тюремной ограды на виду ходит, хвос кверху! Курняукнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать:

— Кыс-кыс-кыс!!

Машка по трубы до Ванькиной казематки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедной Ванька зарадовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся.

Так все и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной подпело и на Русь поташшило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото.

А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешшаться во своем доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.

# ЗОЛОЧЕНЫЕ ЛБЫ

а веках невкотором осударьсве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом.

Царь за рюмку, мужик за стокап. Мужичонко на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом.

Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем ходить. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято. Оногды амператора созвали к главному сенатору на панкет. Большой стол идет: питье, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету. Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адъютап в гармонь заиграл, она вылезла середка залы и заходила с платочком, запритаптывала:

Эх, я стояла у поленницы, у дров.
По угору едет Ваня Королев...
У милого коробок, коробок,
Я гуляю скоро год, скоро год.

Сенаторы, которы потрезве, смеются:

— Хы-хы! При муже хахаля припеват. Вот до чего и то ничего.

И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев распехал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, сейчас подлетел, ногами шаркнул и заходил круг ей вприсядку с прискоком. Песню припеват:

Равзе нищие не пляшут?
Равзе песен не поют?
Равзе по миру не ходят?
Равзе им не подают?

А у самого колошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, корманы вывернуты. Под левым глазом синяк. И весь Капитон пьяне вина. Царь немножко-то соображат. Как стукнет по столу, как рявкнет:

— Вон, пьяпа харя! Убрать его!

Капитонко царя услыхал, обрадовался, здороваться лезет, целоваться:

— На, хрен с тобой, ты вото где! А я с ног сбился, тебя по трактирам, по пивным искавши.

Придворны гости захихикали, заощерялись... Это царю неприлично:

— Кисла ты шерсь, ну, куда ты мостиссе?! Кака я те, пьянице, пара? Поди выспись.

Капитонку это не обидно ли?

— Не ты, тиран, напоил! Не тебя, вампира, и слушаю! Возьму батог потяжеле, всех разбросаю, кого не залюблю!

Брани, дак хоть потолком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. Одежонку прирвали, корону под комод закатили. Дале полиция их розпяла, протокол составили.

С той поры Капитона да амператора и совет не забрал. И дружба врозь. Мужичонко где царя не увидит, все стращат:

— Погоди, навернессе ты на меня. Тохда увидам, которой которого наиграт.

Судятся они с друг другом из-за кажпого пустяка. Доносят один на другого. Чуть у царя двор не убрали или помойну яму закастили, мужичонко сейчас к квартальному с ябедой.

Вот раз царь стоит у окна и видит: Капитонко крадется по своему двору (он рядом жил) и часы серебрены в дрова прятат. Уж, верно, крадены.

Царь обрадовался:

— Ладно, зазуба! Я тебе напряду на кривое-то веретено.

Сейчас в милицию записку. У мужика часы нашли, и самого в кутузку. Он с недельку отсидел, домой воротился. И даже супу не идет хлебать, все думат, на царя сердце несет. Вот и придумал.

У царя семья така глупа была: и жена, и дочка, и маменька. Цельный день по окнам пялятся, кивают, кавалерам моргают, машут. Царь их никуда без себя не спускат в гости. Запоезжат, на войну ли, на промысел, сейчас всех в верхной этаж созбират и на замок закроет.

А вокурат тот год, как промежь царем да Капитонком остуда пала, в царстве свекла не родилась и сахару не стало. Капитонко и придумал. Он в короб сору навалил, сверху сахаром посыпал да мимо царской дворец и лезет, пыхтит, тяжело несет... Царские маньки да ваньки выскочили.

— Эй, мужичок! Откуда эстолько сахару?

— На! Разве не слыхали? Загранишны пароходы за Пустым островом стоят, всем желающим отсыпают.

Ваньки-маньки к царю. Царь забегал, зараспоряжался:

— Эй, лодку обрежай! Мешки под сахар налаживай!

Аграфена с дочкой губы надувают.

— Опять дома сидеть... Выдал бы хоть по полтиннику на тино, в тиматограф сходить. Дома скука, вот так скука дома!

Царь не слушат:

— Скука? Ах вы, лошади, кобылы вы! Взяли бы да самоварчик согрели, грамофон завели да... Пол бы вымыли.

Вот царь замкнул их в верхном этажу, ключ в домовой комитет сдал, мешки под сахар в лодку погрузили и, конешно, пива ящик на свою потребу. Паруса открыли и побежали за Пустые острова. С царем свиты мужика четыре. Провожающий парод па пристани остался. Все узпали, што царь на сахар кинулся. Капитонко укараулил, што царя нету, сейчас модной сертук напрокат взял, брюки клеш, камаши с калошами, кепку, заместо бороды метлу, штобы не узнали, призязал. Потом туес полон смолы, пеку черного налил, на голову сдыпул, идет по городу да вопит:

— Нет ли лбов золотить?! А вот кому лоб золотить?!

К царскому дворцу подошел да как вякнет это слово:

— А нет ли лбов золотить?!

Царева семеюшка были модницы. Оне из окон выпехались, выпасть рады.

— Жалам, мы жалам лбов золотить! Только ты, верно, дорого спросишь?

— По причине вашей выдающей красоты отремонтируем бесплатно. К вам которойду зайти?

— Мы сидим замчёны и гостей к себе на канате, на блочку подымам.

Вот они зыбочку спустили, тот примостился:

— Подымай, готово!

У Аграфены силы не хватает: мужик толстой, да смолы полпуда.

Аграфена девку да матку кликнула. Троима за канат ухватились, дубипушку запели. Затянули Капитона. На диван пали, еле дышут:

— Первой экой тяжелой мужик. Вы откулешны будете, мастер?

— Мы европейских городов. Прошлом годе англиску королеву золотом покрывали, дак нам за услуги деплом из

своих рук и двухтрубной мимоносец для доставки па родину. Опеть французскому президену, извините, плешь золотили.

— А право есь?

Капитонко им стару облигацию показыват, они неграмотны, думают, деплом.

— А, очень приятно. Этого золота можно посмотреть?

— Никак нельзя. Сейчас в глазах ослепление и прочее. Во избежание этого случая, докамест крашу и полирую, глаз не отворять. Пока не просохнете, друг на дружку не глядеть и зеркало не шевелить.

Царицы жалко стало золота па бабку:

— Маменька-та стара порато, уж, верно, не гожа под позолоту-ту... Маменька, ты в позолоту хошь?

— Ась?

— Хошь, говорю, вызолотицце?

— Ась?

— Тьфу, изводу на тебя нету! Вот золотых дел мастер явился. Хошь обработат?

— На, как не хотеть! Худо ли для свово умиления к празднику вызолотицца!

Капитон их посадил всех в ряд.

— Глазки зашшурьте. Не моги пикотора здреть.

Он смолы повареной зачерпнул да и ну, ту да другу, да третью.

— Мастер, что это позолота па смолу пахнет?

— Ничево, это заготовка.

А сам насмоливат. Мажет, на обе щеки водит. У их, у бажоных, уж и волосья в шапочку слились.

А он хвалит:

— Ах, кака прелись! Ах, кака краса!

Те сидят довольнёхоньки, только поворачиваются:

— Дяденька, мне этта ишше положь маленько на загривок...

Капитон поскреб повареной со дна. Потяпал по макушкам:

— Всё! Ну, ваши величья! Сияние от вас, будто вы маковки соборны. Сейчас я вас по окнам на солнышко сохнуть разведу.

Аграфену в одно окно посадил, девку в друго, а бабенька на балкончик выпросилась:

— Меня,— говорит,— на ветерку скоре захватит.

Мастеру некогда:

— Теперь до свидания, о ревуар! Значит, на солнышке

сидите, друг па дружку не глядите, только на публику любуйтесь. Папа домой воротицца, вас похвалит; по затылку свой колер наведет. Ему от меня привет и поцелуй.

Тут Капитон в окно по канату, да только его, мазурика, и видели.

У царя дом глазами стоял на плошшадь, на большу, на торгову. Там народишку людно. Мимо царский двор народу идет, как весной на Двины льду песет. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царска семья, высмолены сидят, как голенища черны, как демоны. Бабушка на балконе тоже как бугирь какой сидит. Народ это увидел и сначала подумал, што статуи, негритянска скульптура с выставки куплена. Потом разглядели, што шевелятся; рассудили, што арапы выписаны ко двору. А уж как царску фамилью признали, так город-от повернулся. Учали над черными фигурами сгогатывать. Ко дворцу изо всех домов бежат, по дороги завязываются. Матери ребят для страху волокут:

— Будете реветь, дак этим черным отдаим!

Мальчишки свистят, фотографы на карточку царску семью снимают, художники патреты пишут...

О, какой срам!

Напротив царского дома учережденье было — Земной Удел. И тут заседает меницинский персонал. Начальникити и увидали царску фамилью в таком виде и народно скопление. Не знают, што делать. И тут ешше явились извошшишьи деликаты. На коленки пали и сказали:

— Господа начальники! Потому как бабенька царская, хрен с има, в черном виде на балконе сидят, дак у пас лошади бросаются, седоки обижаются, потому двоих седоков убило. Пропа-а-ли наши головушки! И-и-хы-хы-ы!

Извошшики заплакали, и все заплакали и сказали:

— Пойдемте всенародно умолять ихны величия, не пожалеют ли, пожалуйсто, простого народу!

Вот запели и пошли всема́ ко дворцу. Выстроились перед палатами в ширинку, подали на ухвате прошение. Аграфена гумагой машот да кивает. И бабка ужимается и девка мигает. Оне думают, народ их поздравлять пришел.

Што делать? Нать за царем бежать. А всем страшно: прийти с этакой весью, дак захвоснет на один взмах. Однако главной начальник сказал:

— Мне жись не дорога. На бутылку данте́, дак слетаю.

Чиновники говорят:

— Ура! Мы тебе и ераплан либо там дирижаб даим, только ты его за границу не угони.

Начальник в ераплан вставился, от извошшиков деликат в кучера. Пар розвели, колесом завертели, сосвистели. Ух, порхнули кверху, знай, держи хвосты козырем!

Пока в городе это дело творицца, царь на Пустых островах в горях, в лютой досады сидит. Ехал не пошто, получил ничего. Ехал, ругался, што мешков мало взяли, приехали — сыпать нечего. Ни пароходов, ни сахару; хоть плачь, хоть смейся. Сидит, егово величие, пиво дует. В город ни с чем показаться совесно. Вдруг глядит, дирижаб летит. Машина пшикнула, пар выпустила, из ей начальник выпал с деликатом. Начальник почал делать доклад:

— Так и так, ваше высоко... Вот какие преднамеренны поступки фамилия ваша обнаружила... Личики свои в темном виде обнародовали. Зрителей полна плошшадь, фотографы снимают, несознательны элементы всякие слова говорят...

Царь руками сплескался да на дирижаб бегом. За ним начальник да деликат. Вставились, полетели. Деликат вожжами потряхиват, начальник колесом вертит, анператор пару поддает, дров в котел подкидыват... Штобы не так от народу совесно, колокольчик отвязал. Вот и город видать, и царски палаты. На плошшади народишко табунится. Гул идет. Меницинской персонал опять стоит да кланеится. Мальчишки в свистюльки свистят. В трумпетки трубят. Царь ажно сбрусвянел:

— Андели, миру-то колько! Страм-от, страм-от какой! Деликат, правь в окно для устрашенья!

Народ и видит, дирижаб летит, дым валит. Р-аз! В окно залетели, обоконки высадили, стекла посыпались. В горницу залетели, за комод багром зачалились.

Выкатил царь из машины да к царицы.

За коршень сграбился:

— Што ты, самоедка... Што ты, кольско страшилишшо!

Царь дочку за чуб сгорстал. У ей коса не коса, а смолена веревочка.

Царь на балкон. Оттуда старуху за подол ташшит:

— Стара ты корзина! Могильна ты муха! Сидела бы да о смертном часе размышляла, а не то што с балкона рожу продавать.

Вот оне все трое сидят на полу, царица, бабка да дочка, и воют:

— Позолоту-ту сби-и-ил, ах, позолоту-ту сгубил! Ах, пропа-а-ла вся краса-а!..

— Каку таку позолоту?!

— Ведь нас позолотили, мы сидели да сох-ли-и.

— Да это на вас золото??? Зеркало сюда!..

Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смолены-ти рожи глаза разлепили, себя увидали, одночасно их в омморок бросило.

Полчасика полежали, опять в уме сделались. Друго запели:

— Держите вора-мазурика!.. Хватайте бродягу!

Царь кулаками машется:

— Сказывайте, как дело было.

Вот те в подолы высморкались, утерлись, рассказывают... Царь слушал, слушал и сам заплакал:

— Он это! Он, злодей Капитонко, мне назлил... Он, вор, меня и из города выманил. Не семья теперь, а мостова асфальтова! Ишь, пеком-то вас как сволокло... Охота людей пугать, дак сами бы сажи напахали, да розвели, да и мазали хари-ти... Дураки у меня и начальники. Кланяться пришли... Взяли бы да из пожарного насоса дунули по окнам-то. Холеры вы, вас ведь теперь надо шкрапить...

— Ничего, папенька, мы шшолоку наварим и пусть поломойки лички наши кажно утро шоркают.

Царь побегал, побегал по горницы, на крыльцо вылетел.

Народишко, который ради скандалу прибежал, с крыльца шарахнулся.

Царь кричит:

— Стой! Нет ли человека, кто мужика со смолой в рожу видел?

Выскочили вперед две торговки, одна селедошница, друга с огурцами:

— Видели, видели! Мушшина бородатой, в сертуке, туда полз с туесом, а обратно порозной.

— В котору сторону пошел?

— А будто по мосту да в Заречье справил.

— Тройку коней сюда! — царь кричит.

Тройку подали. Царь с адъютаном сел, да как дунули, дунули, только пыль свилась, да народ на карачки стал. Через мост к зарецким кабакам перепорхнули. Катают туда-сюда: спрашивают про Капитонка.

— Тут?

— Нет, не тут.
— Тут?
— Нет, не этта!
Буди в канской мох мужичонко провалился... А Капитонко ведь там и был. Учуял за собой погоню, бороду, метлу-ту, отвязал, забежал в избушку. Там старуха самовар ставит, уголье на полу месит.
— Ты, бабушка, с чем тут?
— Чай пить средилась. А ты хто?
— Чай пить?! Смертный час пришел, а она чай пить... Царь сюда катит, он тя застрелит.
— Благодетель, не оставь старуху!
— Затем и тороплюсь. Скиновай скорей сарафанишко да платок, в рогозу завернись да садись под трубу заместо самовара.
Живехонько они переменились. Капитонко уж в сарафане да платке по избы летат, самовар прячет, бабку в рогозу вертит, на карачки ей ставит, самоварну трубу ей на голову нахлобучил:
— Кипи!
Тут двери размахнулись, царь в избу. Видит, старуха окол печки обрежаится:
— Бабка, не слыхала, этта мужик в сертуке мимо не ехал?
А Капитонко бабьим голосом:
— Как не видеть! Даве мужик мимо порхнул дак пыль столбом.
— В котору сторону?
— Не знай, как тебе росказать... Наша волось — одни болота да леса. Без провожатого не суниссе.
— Ты-та знаш место?
— Родилась тут.
— Бабка, съезди с моим адъютаном, покажи дорогу, пайди этого мужика... А я тут посижу, боле весь росслаб, роспался... Справиссе с заданием, дак обзолочу!
Мазурик то и смекат:
«Золотить нас не нать, а дело состряпам».
— Сидите, грейте тут самоварчик, мы скоро воротимся, чай пить будем.
Капитонко в платок рожу пуще замотал да марш в царску коляску. Только в лесок заехали, эта поддельна старуха на ножку справилась, за адъютана сграбилась, да и выкинула его на дорогу; вожжи подобрала, да только Капитонка и видели.

А царь сидит, на столе чашки росставлят. Бедна старуха под трубой ни гу-гу.

На улице и темнеть стало. Царю скушно:

— Што эко самовар-от долго не кипит?

Его величесво трубу снял, давай старухе уголья в рот накладывать... Удивляется, што тако устройство. Потом сапог скинул, бабки рожу накрыл, стал уголье раздувать. Старуха со страху едва жива, загудела она, зашумела, по полу ручей побежал... Царь забегал:

— Ох-ти мне! Самовар-от ушел, а их чай пить нету. Скоре надо заварить.

Хотел самовар на стол поставить.

— На! Где ручки-те?

Старуху за бока прижал, а та смерть шшекотки боится; она как взвизгнет не по-хорошему... И царь со страху сревел да на шкап. А старуху уж смех одолил. Она из рогозы вылезла.

— Ваше величие, господин анператор! Не иначе што разбойник-от этот и был. Как он нас обех обмакулил, оммanул...

Ночью царь садами да огородами пробрался домой, да с той поры и запил, бажоной.

## АНИСА

У отца было три сына. Старшие во время выучились и к торговому делу присвоились. Во пору женились и гнездо развели. Только про младшего родители горевали, а люди судачили. Санька в грамоту был вострой, кончил коммерческу школу, а про торговлю слышать не хотел. Три дела держал на уме: первое — на корабельных верфях мастерам пособлял, еду и сон забывал; второе — в картишки играл; третье — соломбальскую красавицу Анису обожал. Знаком не был, издали любовался. Ее увидел Санька на масленой, во время гулянья, когда бывает шествие по Архангельскому городу оснащенного корабля. Корабль везут по главной улице одношерстные кони. На корабле стоит живой бык с позолоченными рогами; кругом нарядные девицы и кавалеры. Увидел Анису Санька и закручинился. От людей слышал, что девка насмешница, баловница, почтенных родителей дочь. Санька в городе жил, она на Соломбальском острове, и парень редкий день в Соломбалу не бегал —

взглянуть, как с крылечка спустится, в карбас сядет, рукой парус возьмет. А попадись она лицом к лицу на мосту или в лодке, Санька в воду бы пал. Так его юность проходила.

Потом прошел слух, что Аниса замуж ушла в Норвегию. Санька надолго пропал из дому. Выпросился в подмастерья к именитому кораблестроителю Конону и два года работал в Помории — забывал свою любовь. Санькина мать радовалась:

— Теперь я спокойна,— Конона корабельщика вся вселенна почитает.

Отец в ответ:

— Конон Иванович отменитой мастер. Только не страм ли нашей фамилии, если мой сын с топором в руках будет за гроши поденщичать, а сторонние люди его корабли станут товаром нагружать, за море отправлять да тыщи загребать. Не для того я парня от солдатчины откупил, чтобы он чернорабочим сделался.

Весной Санька приехал домой на побывку, и отец начал со старшими сыновьями советовать, как бы беспутного в купеческое дело впрячь. Те говорят:

— Сосед в Норвегу шкуну сряжат. Пошли-ко с Санькой мучки хоть немножко. Пущай на рыбу выменят. Рыба сей год у нас будет дорога́.

Отец вызывает Саньку:

— Ты, парень, в полных годах. И красен телом, да мал делом. Пора робячьи бобушки бросить. Сосед в Норвегу похо́дит и тебя прихватит. Доверяю тебе муки двадцать кулей. Норвега промену даст рыбой. Трешшочки, па́лтасинки привезешь, этта продадим, у барыша ты в паю будешь.

Парень затужил было по мастере Кононе. Конона кто раз узнал, век почитать будет, однако и за границу попасть охота. Сошили нашему путешественнику тройку хоро́шу шевиотову, рубах накрахмалили, подорожников напекли. Спровадили.

Когда в море выбежали, на волю, на ветер да на простор, радость Саньке припа́ла. Будто новый сделался.

Капитан дразнит:

— Пора́то весел, Саня! Обратно ужо плакать будешь.

И в Норве́ге все веселит, он тут сам себе барин. Бри́той да модной сходил с визитом к консулу, дале отправился в город. На уго́ре норвецка керке и там орган играт, было воскресенье. Санька зашел да и перекрестился.

И кряду на него некотора прекрасна дама глаза приворотила. Народ сидят, в книжки нос улепили, а эта на парня зáрится. И Санька на ей зглянýл, и сердце у него остановилось. Такá она, какý ему надо. У ей все такó, как он жалат. А дума думу побиват:

— Я эту особу где-то видал?! Ейно лицо мне знакомо...

Народ из керки завыходили. Санька сзади этой барыни ступат. Она оглянулась, говорит:

— Думаю, не рýсской ли вы?

— Рýсской. И вы по говóри-то рýсска?

...И вдруг его как ударило:

— Аниса!! Я вас знаю! Вы Аниса!

Норвéжана на них запоглядывали. Санька застыдился и отстал. Однако досмотрел, что дом, куда она дошла, с магазином. Вернулся на шкупу, пал на койку, костюма не сложил. Капитан подивился:

— Саня, здоров ли?

— Болен. Влюбился.

В виде шутки помянул про свою встречу. Капитан говорит:

— А ведь я слыхал про эту особу. Взета сюда из Архангельска за старого кýфмана. У мужúшка-то, бывало, во всю навигацию притон, карты, пьянство. А твоя-то красавица, сказывают, многим была на радость. Ты сходи, понюхай...

Назавтра Санька таким ли щеголем ходит мимо тот дом. Из лавки и лезет пузатой старичонко, кричит:

— Тýзи так! Заходи в мой крам!

Санька не отказался, думат, не покажется ли она.

Купчишко около юлит:

— Может, в картишки перекинемся? А то... есть у меня на дому товар тебе по уму. Приди, как магазины закроют. За погляденье сто рублей.

Парню жарко стало: «Видно, капитан-то не соврал!.. Не чай пить куфман приглашат».

На пристань прибежал, муку свою, не спросившись, не сказавшись, первому попавшему покупателю за сто рублей бросил и в потемéнках явился к бретому старику. Тот лавку замкнул и садом провел его к себе на квартиру. Посадил в большой залы на диван, зажег лампы, занавесил окна и позвал:

— Аниса!

Зашла в зало Санькина красавица. Разделась перед зеркалом гóла, и старик провел ей нагý кругом залы. Сань-

ка вскочил как безумный, кинул сто рублей и убежал на шкуну. Там спешка — завтра плывут обратно в Русь. У Саньки ни товару, ни денег. А всю дорогу от любви плакал, не о товаре:

— Эх, Аниса, Аниса! Как ты мне на сердце села.

Дома отец покричал, покричал, да и махнул рукой. Санька эту зиму из-за прилавка не выходит, кули таскат, счета ведет. На уме-то: уважу, дак в Норвегу спустят... Зимы конца не было, а весна пришла. Санька не пьет, не ест:

— Папа, спусти в Норвегу, сейгод не подкачаю!

Отец и доверил на полтретьяста норвецких крон.

Как пьяницу на вино, так Саньку в тот дом с магазином. Товар прилюбился, дак и ум отступился. Опять старичонко его зазвал и нагу красавицу при свете ламп и свечей показал. Она этот раз тихонько, как бы в танце по залы прошлась, против гостя приостановилась, рассмехнулась. Санька бросил старику весь бумажник и убежал на шкуну. А в бумажнике вся выручка, без мала полтысячи... И тысяча была бы, не пожалел бы для этой Анисы.

Домой приплыл, будто после запоя. Отец — ни на глаза. Всему племени бедно над злосчастным:

— Беда с Санькой! Оприкóсили, испортили его норвежана!..

В зиму мати стряхнулась было с женитьбой — на сына пе худы зáрились, да он и разговору не повел. Об Анисы пуще старого заскучал. И ото всех таит, никому не сказыват. Это тяжеле всего.

Опять весна пошла, лето и... о Норвеге заикнуться нельзя. Санька дробовку за плечо да на бор. Неделями дома нету. Обородател, похудел. Родитель только однажды ему проговорил:

— Жалко, ах как жалко, что тебя от солдатчины откупил. Люди-те при мне тебя бродягой взвеличали!

День за днем, мрачно время приходит, осень, распута. Бредет оногды Санька по набережной, а знакомой почтовой чиновник и окликáт:

— Саня, тебе загранично письмо до востребованья есть!

Санька на почту прилетел, конверт разорвал, читат:

«Вы́знала ваше дорогое имя у пароходских. Почто сейгод не гостили? Ждала цело лéто. Обажаю вас, Саничка, с первого взгляду в керки. Я тогды тебя забыду, когда закроющце глаза...»

Письма не дочитал, полетел по пароходским конторам.

— Пароходы в Норвегу еще будут?

— Завтра последний с тесом походит...

Дома матери в ноги:

— Где хошь, к утру сотенну добывай! Нать в Норвегу.

— Дитетко, не плавай! Санюшка, не теряйся!

— Маманька, напрасно... Папы скажи — уехал либо добыть, либо домой не быть...

Этот раз и Белым и Мурманским морем из-за осенних туманов долго шли.

Санька лежит в каюты, не думат ни о чем, никаких планов не строит... У норвежского берега те же дожди. Нашему путешественнику это на руку. В воскресенье он застегнулся дождевиком, кепку на нос нахлупил, шагат в керку. У норвежан в праздник работы не задевают, как в клуб, в керку свою идут. Аниса хоть не моляша, тоже была. Санька из дверей смотрит, ждет... После пенья народ повалил. Санька в темном переходе прижал свою прекрасну даму за бок... Не охнула и не ахнула,— вот сколь бабы не крепки! — только побелела, как береста, уронила сумочку, и пока Санька подымал, шепнула:

— В полночь, черным крыльцом!

О полночь он зашел во двор — ни дворника, ни собаки. Залез в сени... Кто-то его обнимат, припадат, в горницу тащит. Золото с золотом свилося, жемчужина с другою скатилась!

Санька говорит:

— Ты меня весь мой век мучила...

— Нет, ты меня мучил! Разве настояшшой мушшина так поступат? Придешь, эдаки деньги из-за меня старому черту бросишь да издале и любуиссе!

— Я к тебе и дороги не смел прокладывать. Думал, эдака королева...

— А ты чем не король? Я отсель тебя скоро не выпущу. Согласись у меня в секрете пожить?

— Да, Аниса. Я тебя с семнадцати годов жадал.

— А о старичонке не беспокойся. Я его во свои комнаты года два не пускаю. Да он что-то стал временем будто не в полном уме. Зпат, деньги считат да в карты тешится.

Жирует Санька у своей желанной тайно от всех. Спит под ейным отласным одеялом. Утром кофейку попьет, книжку почитат, а там завтраки, обеды... Подружка куда

пойдет, дружка на ключ закроет. Эдаким побытом зима на извод пошла.

Санька что-то невесел:

— Аниса, бесчестно мне у твоего куфмана в доме жить.

Честна́ жена на него с гневом:

— А я здесь не хозяйка? Я разве го́ла сюда приехала?! Мало приданого сюда привезла? Мало денег ему здесь нажила?!

— Что я спрошу тебя, Аниса, почему ты за старого пошла?

— С дику, бажо́ной. Перед подружками нать было похвастаться, что муж иностранец. Вышла шутя, думала, что за Европа, что за Норвега. Дале узнала... У старика тогда шикарной ресторан был, картеж... И я главна приманка. За одно погляденье англичана деньгами, американа брильянтами платили. Пять годов я как на горячем отюге жила. Дале заскучала, домой, в Русь тошнехопько захотела.

Мужишко заметил, что я приуныла, до копеечки меня ограбил. Судей купил, в опеку меня взял, сундучишки мои к себе перенес. Ну, я всегда была на это незавидна. Хватай, думаю, только меня в покое оставь... И вот ты, Санюшка, жизнь моя, явился. Я как из гроба встала...

Стариковы комнаты находились в верхнем этаже, и внизу было слыхать, как супруги бранятся по хозяйству. Както раз Аниса прибежала от мужа в слезах:

— О, надоело, пятаками да четвертаками у этого Кощея выманивать: на керосин и то спрашивай...

Этой ночью она вдруг спросила Саньку:

— Вот что, бажоной, ты в карты не мастер?

— Игрывал.

— Дак вот како́ дело, хватит тебе мышью в подполье сидеть. Сходи сразись со стариком в картишки. И еще я придумала — наложи его́ву шапку оленью. Он будет на шапку дивить, а ты не зевай.

— Ведь он тому подивит, что я не в показанное время явился?

— Не подивит. Есть этта от пароходов остается шляющих.

Санька намылся, набрился, нарядился, вылез задним двором, обошел сад и ступает мимо лавки. Куфман сбарабанил в окно. Санька зашел. Хозяин стул поддерьгат:

— С приездом! В картишки сыграем?

— Можно.

Играют, и вдруг купчишко обратил вниманье на гостеву шапку: «Моя шапка!.. Ни у кого такой не бывало...» А спросить неловко... Спутался несчастной и проиграл. Три раза сыграли, и все он не о картах, а о шапке... Продул Саньке триста. Заерестился:

— Подемте красавицу за сто рублей глядеть?!

— Благодарим, насмотрелись.

Хозяин лавку запират, а Санька к Анисы.

Она шапку схватила, бегом унесла наверх. Старик пришел, зашумел на лестнице:

— Аниса! Где моя шапка?

— Кака́ шапка?

— Моя шапка белой оленины со звёнышками!

— А куда ложишь? Верно, в шкапу!

Шкап открыли, она там и висит. Старик дивится:

— Что за лешой! Чик в чик сегодня таку шапку у покупателя видел... Тьпфу!!

Санька говорит подруге:

— Против совести, против характера мне этот картеж.

Аниса вспыхнула:

— Ты для меня добывашь! Это мои деньги! Судом не высудишь, силой не схватишь. Одно остается — хитрость.

Опять сколько-то времени живут. Аниса забралась к мужу наверх, добыла празничну вышиту рубаху. Нарядила любовника.

Куфману отыграться охота, увидел, выскочил из магазина:

— Пожалте, пожалте! Вы гуляете, а картишки скучают!

Санька пальто скинул, партнер на рубаху бельма вылупил.

Карты на руках, а в головы двоит: «Моя рубаха... А пес знат, мало ли рубах... Нет, моя, руска вышивка...»

Из-за этой рубахи парень опять триста рубликов унес.

Только рубаха на место попала, муж летит:

— Черт! Тьфу! Кому ты, тварйна, мою рубаху дала? Я другй триста от рубахи прогадал!

— Где быть твоим рубахам, кроме комоды?.. Вот она! Что ты орешь-то, скӧблено рыло, еретик! Ах ты, балда пӧла, сатана плешива!

Досыта наругалась невинна, обижена женщина, отвела душу.

На третий раз (на дворе-то уж весна пошла) Аниса пе-

рестень мужнев выудила. Санька перчатку напялил, идет. Куфман за ним в сугонь:

— Не дам с выигрышем уехать! Хоть раз нажгу!

За игрой наш обдувало перчатку снял. Кольцо-то и воссияло. У бедного старика опять игра сбилась: «...Мое кольцо... Мой фасон... Спрошу... Нет, неудобно...»

Всего за три раза наказали наши земляки почтенного старичка на девять сотенных. Теперь они сами себе господа!

А Санька о другом забеспокоился:

— Аниса, я в городе показался. Время вешно, народу людно. Заметят, что у тебя живу.

Она день-два со стариком ладно поразговаривала, сказыват любовнику:

— Барину моему на лето прикашшик надо рыбу закупать. Ты эким апделом зайди, дешево запроси. Он тя схватит.

Санька заходит в лавку, куфман козой глядит:

— Нет уж, в карты наигрались!..

— Не до карт, господин куфман! Я посоветоваться. У меня шкуну разбило, незастрахованный товар потонул. Я разорен. Ищу работы.

— Так и надо! Потому и потонул, что не обыгрывай в карты. А каку работу можешь?

— Доверенным, приказчиком...

— Мне русской приказчик надо. Сколько просишь?

Санька назвал смешну цифру. Старик на дешево лакомой. Сладились.

Теперь не надо прятаться, входя-выходя. Ловче жить стало.

— А мне этого стало мало,— припадат к дружку подружка.— Мы с тобой молоды да могутны, нам песню-ту во весь голос надо спеть. Мне при всех хоть однажды охота с тобой рука в руку погулять, чтобы все увидели, все позáрились. Шурочка, век наш недолгой, выпьем по полной!

— Аниса, у твоего старика в дому я связан... Каша не наша, котел не свой...

— Ужо погоди, проведаю, ладит ли он у моря дачу снимать.

Невдолги видит Санька — его любезна пляшет да поет.

— Что за радость?

— Меня посылат на дачу, тебя по рыбу, сам при лав-

ке останется. Что губы надул? Дача-то ведь в том же рыбном становище. В одном домичке будем жить у водички. Вечерком двойма в лодочки — ты грести, я править... На мох по морошку пойдем.

— Кряду и донесут.

— Пушшай доносят. Я придумала запутать муженька.

Назавтра и приказчик наш с новостями:

— Хозяин спешно выпроваживает, боится, как бы конкуренты впереди не забежали. И тебе, Аниса, велит сряжаться.

Аниса полетела наверх.

— Вот что, милостивый осударь, ты помощника имеш, и я без прислуги одна в рыбну бочку не полезу.

— Оставайся дома. На прислугу лишних капиталов нет.

— На лешой твои капиталы! Ты прикащика жени, вот мне дарова кухарка.

— А то верно! Только с улицы бабу в дом не допущу.

— Черт ли с улицы! У соседа девка — куда с добром!

— Не помню такой. Надо посмотреть.

— А завтра чуть свет она крыльцо мести будет. Ты сходи.

На заре вверху половицы заскрипели, тот девку смотреть засобирался. Аниса набивной сарафанишко надернула, ситцевым платком завязалась, задним двором в соседи забежала и пашет крыльцо. А благовейный ейной пройдет мимо да поглядит, пройдет да поглядит. Дале ушел. Она опять кругом обежала, переоделась и наверх.

— Видел девку? Какова?

— Что за черт! До чего на тебя похожа! И ростом и постатью и всем. Как же люди разбираться будут — где барыня, где кухарка?

— Знамо, что котора в хорошем платье — дак барыня, а в немудром — дак кухарка.

Аниса и на самом деле бедного соседа девчонку взяла, только никому не показала, а скорехонько и с ней и с любовником усвистала на дачу. Оттуда бросила мужу открытку, что приказчик женился.

У старика делов тоже выше головы. В гавани полно пароходов, моряков. Он винишком поторговыват, с шулерами заодно деннонощной картеж заварил. Спать некогда.

Аниски с Санькой давно хорошо. Открыто с прихехé жоночка загуляла. Хоть день, да мой! Всякой вечер в

шлюпке под паруском катаются, на угоре при публике в обнимку сидят, в ресторанчике вместе выпивают, закусывают. Аниска за́все в новых туалетах. Санька тоже вытягается. И все на их глядят, все завидуют:

— Ах, кака́ прелестна парочка. Это счастливы молодожены медовый месяц провожают.

А дни, как гуси, пролетают.

Санька увидал как-то два-три знакомых лица.

Ночью поскучал:

— Нам аккуратно бы надо, Аниса! Прихлоппет нас твой благоверный.

— Ты меня, Саня, не брани. Я как чудный сон гляжу, с тобой гуляю. А туда написано, что прикащик соседской дочерью оженился. Пусть разбират.

Экой приятной скандальчик, что супружница кавалера наружно любит, старичку, конечно, рассказывают — каждой, кому не лепь.

Он над дураком хохочет:

— Бросьте, господа! Сплошно недоразумение! С ним не моя жена, а его собственна. Это кухарка наша. Действительно, она с женой очень похожи. Я сам поражаюсь...

А счастливым молодоженам как-то вдруг стало не до смеху. Им письма обидны заподкидывали, сторони люди нахально заощерялись... Санька брови хмурит:

— Довольно, Аниса, по ножевому острею ходить. На волоске повисла наша хитрость.

И вдруг на Анисе телеграмма:

— Буду по первому пароходу. Встретить вышли приказчика с женой.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Что, Санюшка, дале хитрить да прятать, али расставанье приходит?

— Аниса, убежим со мной!

— Возьмешь, дак...

— Я бы с первых ден. Да некуда взеть-то! Везде кошелек спросят.

— Саня, я тебе все ише нать?

— Век будешь нать, Аниса!

— Велико ты слово сказал... Теперь бежи, купи вина корзину. Половина коньяку, другу рому норвецкого. Сам-от завтра будет, срядим встречу на радостях, а там увидашь...

Утром хитра баба спровадила настоящу-ту кухарку в гости на три дня, а к пароходу вышла с Санькой.

Старик не здоровается.

— Зачем сама? Где его жена?

— Прихворнула, ко своим отпросилась.

Молча пришли к Анисы в номер... Цветы, закуски, салфетки, бутылки в четыре ряда. Старик хлопнул стаканчик-другой и отмяк.

— Ну, поздравляю тебя, любезный, с законным браком. Бабу свою завтра же мне предъяви. А пока выпьем.

Рюмка за рюмкой, дорогой гость песню запел.

Три дня его поили. И когда в лежку лег да кокушкой закуковал, Аниса говорит:

— Он таков, ден пять проживет. Я за кухаркой побежу, ты чемодан увязывай. Корабли на Русь по утрам уходят.

Управились. Наказывают девчонке:

— Хозяин заболел, наблюдай его, не отходи. Мы по торговому делу дня два проездим. Вот деньги, хватит на поправку.

На катере к утру добрались до города. В тот же день сели на русское судно. Саня ни праха не дозволил Анисе с собой взять:

— Оставь куфману эти часики да браслетки, шляпки да гаржетки. В Архангельске я у корабельного строения кряду работу добуду.

И таким побытом в радости угребли на Русь.

Ни Санька, ни Аниса наперво не показались своей родне. Он с парохода побежал на Соломбальские верфи, к корабельщику Конону. Сразу получил работу и квартиру.

Потом и у своих побывали Саня да Аниса. Никто слова поперечного не посмел нанести.

Эту пору так радовался Санька, что и времени на сон тратить жалел.

В солнечную ночь плывет с Анисой под парусом, сам все рассказывает:

— К этому берегу, Аниса, я лета два ходил, тебя караулил... Под этой пристанью, Аниса, я однажды ночь просидел, тебя с гулянья дожидаючи, весь от дождя перемок...

## МАРТЫНКО

Мартынко с артелью матросов в море ходил, и ему жи́ра была *хорошая*. Хоть на работу не горазден, а песни петь да сказки врать мастер, дак все прощали. С англичанами, с норвéжанами на пристанях толь круто лекóчет, не узнать, что русский. Годы подошли, взели на военную службу. Послали караульным в стару морску крепость. Место невесёло, начальство строго, навеку бедной парень эдак не подчинялся, не покорялся.

Вот онóгды на часах у складов и видит, подъехали компания лодкой и учали в футбол играть. Мартына и раззадорило:

— Нате-ко *меня*!

Ружье бросил и давай с ребятами кубарем летать.

В это время комендантова супруга на балкон сели воздухом подышать. Ей от Мартынова пинка мяч в зубы прилетел и толь плотно сел, дак фельшер до вечера бился, добывал.

Мартынку утром суд. Пéрва вина, что благородной дамы в рот грезной футбол положил, втора вина — с поста убежал. На ночь замкнули в башню. Башня заброшена, хлам, пыль, крысы, паутина. Бедной арестант поплакал, полежал у порога, и захотелось ему исть. В углу стол. Не завалялось ли хоть сухаря в ящике? Дернул вытяжку, есть что-то в тряпице. Развернул, — как огнем осветило — карт колода золотых, на них нельзя насмотреться. А в каземат часовой лезет:

— Тебе с огнем играть!!!

Тут на карты обзадóрился, тут сели играть. И видит Мартынко — карты сами ходят, сами на хозяина играют. Часовой арестанту в минуту все гроши продул.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: «Я этими картами жить зачну». Часовому долг простил, выгонил его, в потеменки раму вынял, железно прутье вышатал да окном и выпал.

Утром арестанта хватились, а он уже в городе, в порту похаживает. В портерной иностранного кептена присмотрел, ему карты показал. Кептен ум потерял, сел с Мартыном, не то что деньги, с себя мундир проиграл. Мартынко говорит:

— За проигрыш перепехни́ меня за море на своем пароходе.

Вот Мартынко в заграничном городе разгуливат по трактирам да по пивным. Где карты явит, там люди одичают. Мартынко один с барышом. Денег стало черту на печь не закинуть. Тогда загрустил: «Мне это низко, желаю по своим капиталам в высшее общество». Заказал брюки клеш, портянки сатиновы, напял такси:

– Вези в трактир, куда первостатейны господа ездят.

Ну, завезли в самолучшей ресторан. Зеркала до потолку, посуда, самовары, публика ослепительно одета.

«А что тако,— думат Мартын,— нисколько не совестно за свои деньги...»

— Эй, молодцы, бутылку водки!

Чтобы ловкость показать — и штопору не взел, а помужицки о долонь половинкой как хватит. Пробка соседке в плеш, водка соседу во что ешь... Тотчас вся зала заверешшала, налетели господа с орденами в лентах:

— Вон отсюда, невежа! Твое место под забором с бродягами распивать!..

— На свои пью, не на ваши!

— Ты понимаешь, куда забрался? Этта генералитет, а которы есь и министры, чай пить соизволяют. Король приворачиват. Этта рюмка водки рублем пахнет.

Потащили бажоного вон за шиворот. Бажоный затужил:

— Вот как! Вот как!! Набывался в высшем свете.

За прилавок зачалился, карты из-за пазухи вывернул:

— Предлагаю сразиться в картишки.

Эких карт на веку никто не видывал. Льзя ли отказаться? И проиграла почтенна публика и коней и кореты, и одежду и штиблеты. Мартынко ихни брюки да сертуки нафталином посыпат да в ломбард отправлят. Далее удоволился, говорит:

— Содвигай столы! Угощаю пострадавших за свой счет!

Этим генералам да профессорам все одно делать нечего. Го̀лой домой не побежишь. У кого дома телефон, позвонили, чтобы костюм послали, у кого телефона нет, с запиской лакея турну̀ли, а сами сели закусить. Мартынко выпил и отмяк:

— Друзья! Наша игра не более как милая штука. На фига мне ваши клячи да кареты. Получай обратно ламбардны квитанции. Пущай всяк при своем!

Тут хмель сборол Мартынка. Он поговорил, песенку еще спел да и растянулся на полу.

Дежурной генерал с докладом к королю:
— Явился в ресторане субъект, с первого взгляду малостоющий. Выкинул на прилавок необыкновенные карты и этими картами всех до копейки обыграл. Но проигрыши не токмо простил, а и всех собравшихся самолучшим питьем и закусками удоволил.
Король говорит:
— Эта личность где сейчас?
— Где гулял, тамотки и повалился.
Король туда лично пальнул в легковом автомобиле, спрашиват лакеев:
— Где-ка гостя-то положили?
— Они сами под стол удалились.
Мартына ростряслы, душетырного спирту дали понюхать, в сознание привели. Король с им за ручку поздоровался:
— Мимо ехал — и вдруг жажда одолила, не иначе с редьки. К счастью, вспомнил про этот лесторан.
Мартынко осмелел:
— Ваше королевское величие, окажите монаршее внимание с выпитием рюмочки при падлежашшей закуске.
— Ха-ха-ха! Вы в состоянии короля угошшать?
Мартын сидельцу мигнул, лакеи полон стол напосили. Король сколько сам уписыват, боле в чемодан складыват:
— Деточкам свезу гостинчика.
— Не загружайте тары эким хламом, ваше величие. Есь у нас кока с соком в чемодан ложить.
— Это вы не про карты ли?
— Имеются и карты.
Король колоду позадевал:
— Этих картов я и на всемирной выставки не видел.
Сели за зелено сукно. И проиграл король Мартыну деньги, часы, пальто, автомобиль с шофером. Тогда расстроился:
— Тошнехонько машины жалко. Летось на именины ото всей империи поднесёна...
— Ваше величие! Папаша всенародной! Это все была детская забава. Велите посторонним оставить помещение.
Король выпнул публику, заложил двери на крюк, подъехал к Мартынку. Нас бы с вами на ум, Мартына на дело. Говорит:
— Ваше велйко! Держава у вас — место самое проходное. В силу вашего географического положения паро-

ходов заграничных через вас плывет, поездов бежит, еропланов с дипломатами летит ужасти сколько. Никакому главному бухгалтеру не сосчитать, сколько через вас иностранного купечества со своима капиталами даром пролетит и проплывет... Ваше велико! Надеюсь, вы убедились, кака сила в моих картах... Поручите мне осударственну печать, посадите меня в главно место и объявите, что без пропуска и штенпеля нету через вашу границу ни пароходу проходу, ни ероплану пролету, ни на машине проезду... Увидаете, что будет.

Король троекратно прокричал ура и объявил:

— Министром финанцевым быть хошь?

— Велите, состоим-с!

— Завтра в обед приходи должность примать.

Отвели под Мартына семиэтажной дом, наголо окна без простенков. По всем заборам наклеили, что «через нашу державу без пропуска и министерской печати нет ни пароходу проходу, ни на ероплане пролету, ни на машино проезду».

Вот Мартын сидит в кабинете за столом, печати ставит, а ко столу очередь даже во всю лестницу.

Иностранно купечество, дипломаты — все тут. Новый министр пока штемпель ставит, свои карты будто непароком и покажет. Какой капиталист эти карты увидал, тот и ум потерял. Не только что наличность у Мартына оставит, сколько дома есть денег, все телеграфом сюда выпишет.

Ну, Мартынкино королевство разбогатело. Сотрудникам пища пошла скусна. Ежедень четыре выти, у каждой перемены по стакану вина. В каком прежде сукне генералы на парад сподоблялись, то сукно теперь служащи завседенно треплют.

Однако соседним государствам ужасно не поправилось, что Мартынко у них все деньги выманил. Взяли подослали тайных агентов — какой бы хитростью его потушить.

Тут приходит вот како дело рассказать. У короля была дочерь Раиска. И она с первого взгляду влюбилась в нашего прохвоста. Где Мартынко речь говорит или доклад делат, она в первом ряду сидит, мигает ему, не может налюбоваться. Из газет, из журналов Мартынкины портреты вырезат да в альбом клеит. Уж так его абажат. А она Мартыну ни на глаза. Он ей видеть не может, бегом от ей бегат. Однажды при публике выразился:

— Эту Раиску увижу, меня так блевать и кипет!

Которые неосторожные слова прекрасно слышали тайны агенты других держав и довели до сведения Раиски... Любовь всегда слепа. Несчастна девица думала, что ейна симпатия из-за скромности на нее не глядит. А тут, как ужасну истину узнала, нахлопала агентов по харе, также отдула неповинных фрелин и упала в обморок.

Как в себя пришла, агенты говорят:

— Вот до чего довел вас этот тиран. Конешно, дело не наше, и мы этим не антиресуимся, а только напрасно ваш тятенька этого бродягу в главно место посадил. Вот дак министр с ветру наскочил! И вас своими секретами присушил. Такого бы без суда в нужнике давно надо утопить. Но мы вас научим...

Утром получат Мартынко записку:

«Дорогой министр финанцев! Пожалуте выпить и закусить к нам на квартеру антиресуимсе каки таки у вас карты известная вам рая».

Мартынко этой Раи боитсе, а не идти неможно, что он у ней с визитом не бывал.

Только гость созвонился, агенты за ширмы, а Мартын заходит и от угошшения вежливо отказывается. Заговорили про войну, про погоду. А Раиска речь пересекла:

— Я слыхала, у вас карты есь бутто бы золоты? Я смала охвоча карты мешать.

И зачала она проигрывать деньжонки, кольца, брошки, браслетки, часики с цепочкой — все продула гостю.

Тут он домой торопился:

— Однако поздно. На прошшанье дарю вам обратно ваши уборы. Мне-ка не пать, а вам от папы трепка.

А Раиска нахальнё:

— Я бы все одно в суд подала, что у тебя карты фальшивы.

— Как это фальшивы?

Она искусственно захохотала:

— А вот эк!

Выхватила колоду да к себе под карсет.

— Докуль у меня рюмку-другу не выпьете, дотуль не отдам.

Делать нечего. Дорогой гость две-три рюмочки выкупнал и пал на ковер. В графине было усыпаюшшее зелье. Шпионы выскочили из-за ширмов, раздели сонного до гола и кошелек пашли. Тело на худой кляче вывезли далеко в

лес и хвоснулп в овраг, куда из помойных ям вываливают.

На холоду под утром Мартын очнулся. Все вспомнил:

— О, будь ты проклята, королевнина гостьба! Куда теперь подамся, нагой, без копейки?

Какὸ-то лохмотье вырыл, завесился и побрел лесом. Думат:

«Плох я сокол, что ворона с места сбила».

И видит: яблоки растут белого цвету.

— Ах, как пить охота!

Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога самосильных.

Вот дак приужа́хнулся бедный парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:

— Что на меня за беды, что на меня за напасти! Та шкура разорила, пристрамила, разболокла́, яблоком объелся, рога явились, как у вепря у дикого. О, задавиться ли, утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучче с хи́чныма хехе́нами и со львами.

Во слезах пути-дороженьки не видит и наткнулся опять на яблоню. Тут яблочки кра́сненьки, красивы.

— Объи́стись разве да умереть во младых летах?..

Сгрыз яблоко, счавкал другὸ, — головы-то ловко стало. Рукой схватился и рога, как шапочку, сронил. Все тело согрелось, сердце звеселилось и напахну́ла така́ молодось, дак Мартын на голове ходить годен.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: этих красных молодильных яблоков нарвал, воротился на старо место, рогатых яблоков натряс, склал за пазуху и побежал из лесу.

Дорога в город повела, а Мартынко раздумался:

«В эдаких трепка́х мне там нельзя показаться. В полицу заберут».

А по пути деревня, с краю домик небольшой — и старуха кривобока крыльцо па́шет. Мартынко так умильно:

— Бабушка, дозвольте в ызбу затти обогреться. Не бойтесь этих ремков, меня бродяги ночесь раздели.

Старуха видит, парень хоть рваной, а на мазурика не похож, и запустила в кухню. Мартынко подает ей молодильного яблока:

— Баба, па́ко съешь!

Баба доверилась и съела.

— Парень, чем ты меня накормил, будто я вина испила?

Опа была худа, морщевата, рот ямой; стала хорóша, гладка, румяна.

— Эта я ли? Молодец, как ты меня эку сделал? Мне ведь вам печем платить-то!

— Любезна моя, денег не надо. А нет ли костюма на мой рост — мужпева ли, братнева ли? Видишь, я наг сижу.

— Есь, дитетко, есь!

Отомкнула сундук.

— Это сынишка моего одежонка. Хоть все понеси, ангел мой, благодетель!.. Оболокайся, я самоварчик согрею.

Мартыну гостить некогда. Оделся в простеньку троечку и в худеньки щиблеты, написал на губы усы, склал свои бесценны яблоки в коробок и пошел в город.

У Раискиных ворот увидал ейну стару фрелину:

— Яблочков не прикажете-с?

— Верно, кисляшши.

— Разрешите вас угостить.

Подал молодильного. Старой девки лестно с кавалером постоять. Яблоко на обе шшоки лижот. И кряду стала толста, красна, красива. Забыла спасибо сказать, полетела к королевны:

— Раичка, я-та какá!

— Машка, ты ли? Почто эка?

— Мушшина черноусой яблочком угостил. Верно, с этого... У их полна коробка.

— Бежи, ростыка, догоняй. Я куплю, скажи, королевна дорого даст!

Мартынка того и ждал. Завернул пару рогатых, подает этой Машки:

— Это для барыни. Высший сорт. Пушшай едят на здоровье. За деньжонками потом зайду.

Раиска у себя в спальны зеркалов наставила, хедричество зажгла, стала яблоки хряпать:

— Вот чичас буду моложе ставать, вот чичас сделаюсь тельна, да румяна, да красавица...

Ест яблоко и в зеркало здрит и видит — на лбу поднелись две россохи и стали матёры, и выросли у королевны рога дòлги, кривы, кабыть оленьи.

Ну, уж эту почку в дому не спали. Рога те и пилой пилили, и в стену опа бодалась — все без пользы.

Как в зеркало зглянет, так ей в омморок и бросат,

Утром отправили телеграмму папаше, переимали всех яблочных торговцев, послали по лекарей.

Нас бы с вами на ум, Мартына па дело: наклеил бороду, написал морщины, наложил очки. Срядился эким профессором и с узелочком звонится у королевпной квартеры:

— Не здесь ли больная?

— Здесь, здесь!

Раиска лежит па постели, рошшеперя лапы, и рога на лямках подвешаны. Наш дохтур пошшупал пуп — на месте ли, спросил, сколько раз до ветру ходила, и были ле дети, и были ле родители, и пе сумашеччи ле были, и папа пьюшшой ле, и кака пинтература?

Также потребовал молоток, полчаса в пятки и в темя колотил и дышать пе велел. Тогда говорит:

— Это вполпе паучпое явление с рогами. Дайте больпой съись два куска мыла и ташпыте в баню па снимок.

Она ела-ела, тогда заревела:

— О, беда, беда! Не хочу боле лечицца-а! Лучче бы меня па меленки смололи-и, на глипу сожгали, па мыло сварили-и!

Тут Мартын выгопил всех вон и приступил на́коротки:

— Я по своей практике вижу, что за пекотору подлось вам эта болесь!

— Знать пицего пе знаю, ведать не ведаю.

Тогда добрый лекарь, за рога ухватя, зачал ей драть ремнем:

— Признавайся, дура, не обидела ле кого, не обокрала ле кого?!

— О, виновата, тепере виновата!

— В чем виповата?

— У тятенькиного министра карты высадила.

— Куда запехала?

— Под комод.

Мартын нашел карты. Достал молодильные яблоки:

— Ешь эти яблоки!

— О, боюсь, боюсь!

— Ешь, тигра рогатая!

Она яблоко съела, — рога обмякли и отпали; друго съела — красавица стала.

Была черна, суха, стала больша́, кра́сна, налита̀!

Мартынко взглянул, и сердце у него задрожало. Конешно, против экой красоты кто же устоит! Глядел, глядел, дале выговорил:

— Соблаговолите шайку воды.

Подала. Он бороду и краску смыл. Раиса узнала, — где стояла, тут и села.

Мартынко ей:

— Рая, понапрасну вы на меня гору каменну несли. Это я из-за многих хлопот не поспел вас тогда высмотреть, а тепериче страстно абажаю.

Дальше нечего и сказывать. Свадьба пошла у Мартынка да у Раиски. Песни запели, в гармонь заиграли.

Вот и живут. Мартынко всех в карты обыгрыват, докуль этих карт не украдут. Ну, а украдут, опять и выпнут Мартына.

## ДАНИЛО И НЕНИЛА

В некотором месте королёшко был старой, у́тлой, только тем поддярживался, что у его в секрете вода была живая. Каждо лето на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди патака́ли знающу старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королевы нахлебаться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, у́шки поела королева и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатели. Стара королиха принесла одного Федьку-королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два белых сыра — Данилко да Митька по матери Девичи.

Время идет, Данило рос, как на опары кис, Митька не отставал, а королек все как котенок. Он с мала врали́на был, рева и ябеда. Братья много из-за него дёры схватили. И в училище Данило впереди учителя идет, а Федька по четыре года в каждом классе.

Вот пришли молодцы в совершенны лета. Данило Девич красавец и богатырь; высок — под полати не входит. И Митька в пару. А Федька-королек — чиста облизьяна. Отчишко оногды спьяна розмяк, своей шипучей воды сыну полрюмки накапал, да росточку-то уж не набавил.

А хоть сморчок — да королю сын. Куда поедет — на мягких подушках развалится, а Данило — красавец, да на облучке сидит.

Вот однажды Федькин отчишко прилетел с рынку, тычет наследника тросью:

— Ставай, дармоедина! Счастье свое просыпа́ш! Соседка наша Ненила Богатырка, из походу воротивши, замуж засобиралась. Женихи-ти идут и едут. Из ейной дер-

жавы мужики наехали, дак сказывают. А добычи-то военной, добра-то пароходами притянула! Деветь неверных губерен под свою руку привела. Небось не спала!!

— Я, папенька, воевать боюсь.

— Где тебе воевать, обсечек короткой! Тебе чужо царство за женой надо взять... Ох, не мои бы годы!.. Ненилка та — красавица и молода, а сама себя хранит как стеклянну посуду. А работница! — бают, жать подет, дак двенадцать суслонов па упряг. А сенокосу-то у ей, пашни-то! Страм будет, ежели Ненилину отчину, соседню, саму ближню, чужи люди схватят.

— Папенька, мне бы экой богатыркой ожениться. Люблю больших да толстых, только боюсь их, издали все смотрю.

— Ты-то любишь, да сам-от не порато кус лакомой. Ей по сказкам-то матерого да умного надо. Испытанья каки — те назначат, физическу силу испытыват. Однако поезжай.

— Я Данилку возьму.

— Да ведь засмеют. Ты ему до пупа!

— Адиеты! Кто же будет ровнеть мужика с королями.

Все же к Федькиным новым сапогам набавили каблуки вершка на четыре. А у Данила каблуки отрубили. Дале Федьке под сертук наложили ватны плечи и сверьху золоты аполеты, также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в Ненилином городе. Чайку на пристани попили и к девети часам пошли на прием к королевы. Дворец пондравился — большой, двоеперёдой, крашеной, с подбоями, с выходами.

Думали, впереди всех явятся, а в приемной уж не мене десятка женихов и сватовей. Королек спрашиват секретаря:

— Королева принимают?

— Сичас коров подоят и прием откроитсе.

А публика на Данила уставилась:

— Это какой державы богатырь?

Федьке завидно, командует на парня:

— Марш в сени!

А министры Федьку оприметили, докладывают Ненилы:

— Осударына, суседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и со снисхождением. Ихна держава с на-

шей — двор возле двор. Теперь вам только руку протянуть да взять.

— Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью да сарафанишко сменю.

Погодя и она вышла в приемну залу. Поклонилась:

— Простите, гости любящи, задержалась. Скота обряжала да печь затопляла.

Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка как Волга, бела, румянна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит — дак половица гнется, по шкапам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит: «Вот дак жених — табачна шишка, лепунок...» И говорит:

— Твоя рабоча сила нать спробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят много. Бежи, сруби вон лишпу елку, чтобы окна не загораживала.

Федька затосковал, — ель выше колоколен, охвата в три. Однако нашелся:

— Стоит ли костюм патра́ть из-за пустяка. Это и мой кучер осилит.

У Данилы топор поет, щепа летит. Ненила в окно зглянула, замерла:

— Откуль экой Бова-королевич?! Где экого архандела взели?

Королек сморщился:

— Я сказал, что мой кучер.

Зашумело, ель повалилась. Ненила пилу со стены сдернула:

— Побежу погреюсь. Роспилю чурку, другу.

Одночасно Данило да Ненила печатну сажень поставили, хотя не на дрова, а друг па друга глядели. Да с погляденья сыт не будешь.

Утром королек торопит:

— Сударыпа, когда же свадьба?

— Добро дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой дядя от меня у подряду дрова возил, дак топере кони ти на волю спущены. Дома один жеребеночек, в упряжи не бывал. Ты бы объездил.

Федька сунулся в конюшну, пробкой вылетел. Конь — богатырю ездить — прикован, цепи звенят.

— Таких ли, — Федька говорит, — я дома рысаков усмиряю, а этого одра мой Данилко объездит.

Данило не отказался, спросил бычью кожу, выкроил три ремня, свил плеть, в руку толщиной, пал на коня,

Видели, богатырь на коне сидит, а не видели повадки богатырские. Только видят, выше елей курева стоит, курева стоит, камни, пыль летят.

Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк заложил. Одна Ненила середи двора любуется потехой богатырскою. Двор был гладок, укатан, как паркет, конь и всадник его что плугом выбрали. Теперь на жеребца хоть ребенка сади.

Назавтра и Федька, разнарядясь, верхом проехаться насмелился. Конешно, Девич повода держал.

Советники к Ненилы накоротки заприступали:

— Как хотите, сударыня, а Федькины земельны угодья опустить нельзя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот ихна держава, вот наша. Вот этта у их еловы леса, этта деревья кедровы...

— Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком! Дня три поманите.

Ненила грубо советникам отрезала, а сердце девичье плачет.

Веселилась, да прираздумалась, радовалась, да приуныла, пела, да закручинилась. Полюбила Даниловы кудри золотые, завитые.

День кое-как, а почью — соболино одеяло в ногах да потонула подушка в слезах:

— Данилушко, я твой лик скоро не позабуду!

И во спе уста сами собою именуют:

— Данилушко!

Данилушко не дурак,— это заметил. Тоже сам не свой заходил. Ненила где дак бойка, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы осталися считанные.

Данило пошел на заре коня поить, Ненила навстречу. Мешкать некогда. Он выговорил:

— Неужели, госпожа, ты моя, да моя?!

— Уж и вправду, господине, твоя, да твоя!!

И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом.

Федька это вышпионил, сенаторам наскулил. Сенаторы опять поют:

— Ох, государыня... Конечно, Федька против Данилы — раз плюнуть, но ведь за Федькой-то земельных угодьев у-ю-ю!

Ненила заплакала:

— Ах вы, бессо̀вестные хари! Я на двенадцати войнах была, разве мало земли добыла?!

Сенаторы Ненилу зажалели, отступились уговаривать. Корольку сказали:

— Наша Ненила досюль была спяща красавица. Данило ее разбудил. Пущай она дичат, как знат.

Федька взял да купил знающу личность по медицине. Личность дала травы сбрупе́ц, от которой память отымается. Федька подсыпал сбрунца́ Нениле в чай. Она выпила две чашки и сделалась без понятия. Федька забегал по дворцу:

— Сию минуту сряжать королевну под венец!!

Фрейлины испугались, что Ненила молчит, однако живо обрядили, к венцу повезли. Тут Девич налетел, растолкал свадебников, схватил Ненилу за руку:

— Госпожа! Ты помнишь ли?

Она долго на него смотрела:

— Ваша личность мне кабыть знакома...

Он заплакал навзрыд. Ушел к морю.

На обрученьи Ненила только одно слово выговорила:

— Данилушко, ты у меня слезами полит, тоскою покрыт!

Ей ни к чему, что возле-то Федька.

Сенаторы и народ засморкались, слезы заутирали. И как венчать стали, невеста второ слово высказала:

— Венчается Данило Нениле, а маленька собачка Федька не знай зачем рядом стоит.

Тут весь народ и с попами по домам полетели:

— Это свадьба не в свадьбу и брак не в брак!

Личность, у которой королек траву купил, тоже спокаялась, отыскала Девича, шепчет ему:

— Не реви! Этот угар у королевны к утру пройдет. Мы обманули Федьку. Он на месяц дурману просил, а мы дали на сутки.

А Федька скорехонько погрузил Ненилу на пароход. Она в каюте уснула как убита. Плыть всю ночь. Данило вахту дежурит, по морю лед идет весенний, по молодецкому лицу слезы.

И королек свое дело правит. Подкрался да оглушил Девича шкво́рнем. Тело срыл в море.

Утром берег стал всплывать и город.

Федька ходит козырем:

— Ненилка месяц будет не в уме. Я ее выучу по одной половице ходить.

Повернулся на каблуке, а Ненила сзади стоит, здорова и в памяти, только брови, как медведи, лежат:

— Я как сюда попала?

У Федьки живот схватило:

— Вы, значит, со мною обвенчавши. И плывете, значит, в наши родные палестины-с!

Непила вдруг на палубу упала, руки заломила:

— Что со мной стряслось? На войне я была удала и горазда, а тут...

Она вдруг сделалась стрáшна, грóзна.

— Где Данило Девич?!

— Данило накачался на свадьбе как свинья; не свалился ли в воду с пьяных глаз...

Но тут пароход к пристани заподоходил. Музыка, встреча, отчишко с министрами, народ. В пристанском буфете сряжен банкет. Все в одну минуту напосудились без памяти. Явился Митька пытать о брате. Королек насильно налил Митьку вином, с отцом пошушукался и под шумок стянули они пьяного в лодку. Отчишко уплавил тело к морю, валил на пески, ножом вывертел сонному глаза и угреб обратно.

А Федька, как за стол-то воротился, думает, ничего никто не приметил. Глядь, Ненила подходит:

— Кого куда в лодке повезли?

— Митьку, Данилкинова брата, папаша вытрезвлять поехал.

Мать Данилы да Митрия тут привелась, заревела медведицей:

— Убивать повезли моего детища! И Данилу убили!!

На дворе тишина стала. Ненила, как туча грозова, приступила к Федьке:

— Где Данило?!

Королек завертелся собакой.

— С пароходу пьяной упал, на моих глазах захлебнулся.

Матка опять во весь двор:

— Врешь ты, щучий сын! Не пьет мой Данилушко, в рот не берет. Где они?! Где мои рожоны дети?!

Ненила королька за плечо прижала, ажно он посинел:

— Сказывай, вор, где ейны дети?!

Федька вырвался, по полу закатался, заверещал свиным голосом:

— Эй, слуги верны-ы! Хватайте мою жену Ненилку, недостойную королевского ложа! Я Данилку ейного своеручно в море спихнул, как комара, а ее, суку, на воротах

расстреляю! Вяжите ее! Каждого жалую чином и деньгами!

Середи двора телега привелась ломовая, оглобли дубовы велики. Ненила Богатырка вывернула эку семисаженну спасть да как свиснет, свиснет наокруг: по двору пыль свилась с каменьем, из окошек стекла посыпались. Брызнул народишко кто куда, полезли под дом, под опбары, на чердак, на сенник, в канаву. Сутки так и хранились, как мертвы. Старой королешко ухватил с собой десяток мужиков поудалее, да на двух телегах и удрал неведомо куда.

Воля во всем стала Ненилина.

Перво дело она послала людей к морю искать Данила и Митрия, да от себя подала во все концы телеграммы. Посыльны бродили неделю, принесли голубой Данилов поясок:

— Не иначе рыбы съели братанов. По берегу есть костья лежит.

Ненила убрала в сундук цветны сарафаны, наложила на голову черной плат. Ни с кем боле не пошутит, не рассмехнется. День на управленье да при хозяйстве, а после закатимого сядет одинохонька у окошка, голубу Данилову опояску к сердцу прижмет и запричитат:

Птичкой бы я была воронкой,
Во все бы я стороны слетала,
Под кажду бы леспнку заглянула,
Своего бы дружочка отыскала.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Месяц мой светлый,
Почто рано погиб?!
Цвет мой прекрасный,
Почто рано увял?!

Народ-от мимо идут, дак заслушаются.

А Федьки королевна объявила:

— Не знаю, что скажет осень, а нонешно лето будь ты пастух коровий в Митькино место.

Он и пасет, вечером домой гонит. Ненила с подойником у хлева ждет и считает, все ли коровы. Пересчитат и велит корольку последню под хвост поцеловать. Эта корова так уж и знат. Дойдет до конюшны, остановится и хвост подымет.

А Данило не утонул, с парохода упал. Примерз рукавом к льдине. Утром прикачало к берегу. А встать не может, ноги умерли с морозу. Федьки боится, в лес на

коленцах бежит, ноги, как кряжи, волокет. И вдруг слышно — лес трещит впереди. Не медведь ли? И закричал:

— Зверь али человек?!

И увидел слепого брата. Поплакали, посидели, рассказали друг другу.

— Помрем лучше, братец, — говорит слепой, — кто нам рад эким-то?

— По миру будем ходить, коли работать не заможем, — утешит безногой. — У тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь меня на плечи, целой человек и станет. А теперь затянемся в тайболу, переждем, не обойдецце ли Федькино сердце.

Зашагал слепой под север, на себе несет брата, тот командует:

— Право!.. Лево!.. Прямо!..

У глухого озера нашли избушку, от ветру, дождя схорониться. Связали из вичья морды-ловушки — рыбку промышляют.

Ненилины послы далеко заходили, а глухого озера половины не дошли.

Живут братья, быват, и месяц.

Оборвались, в саже умарались. Данило и сказыват:

— Вот что, Митя, зима этта построшне будет Федьки. Топора нет, ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот чего попытать. Отсюда под юг должна быть трактова дорога. Я смала езжал. По дороге, все под юг итти, Федькиного отчишка летней дом с садом. В саду гора, в горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра шипучих минеральных вод, друга дыра огнедышаща, подземну лаву выкидыват. Шипуча-та вода прежде всем хромым, слепым пользу подавала. Про это заграбучий Федькин папенька пронюхал, сад и гору каменьем обнес, никому ходу не стало. Только сам летом окатываться да пить наезжат. К этой воды станем-ко подвигаться.

У озера отмылись, вяленой рыбки увязали, сел хромой слепому на плечи, командует:

— Право!.. Лево!.. Прямо!..

Подойдут да полежат у ручейка либо где ягод побольше. Нашли трактову дорогу, по дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом горки и сада высоченна ограда. Рядом деревнюшка. В деревню бедны странники и зашли. Кресьяне забоялись эких великанов, на постой

не пускают. Что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И пришла по воду девица, тòненька, бéленька, личушко как яичушко, одета пряжей по-деревенски. Данило и заговорил:

— Голубушка, не бойся нас, убогих людей, мы случаем жили в лесу, оборвались, обносились. Приволоклись сюда по добру живу воду.

Девица покачала головой:

— Напрасно трудились, бедняжки. Единой капли не добудете. Видите, коль ограда высока. А тепере королешко приехал, дак и близко ходить не велено.

— Старик приехал? Когда?

— Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони в мыле... Не стряслось ли чего в городе?

Данило весь стрепенулся — не моя ли там желанна воюет? Да поглядел на свои ноги, приуныл — кому я, увечной, надо?.. Дале говорит...

— Голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хотя недельку. Не слыхала ли баньки, кухонки порозной? У нас цепи есть серебряны, мы бы хлебы и постой оплатили.

Девица на братьев посмотрела: хоть рваны, убоги, а люди отменйты, приятны, красивы, обходительны.

— У меня горница свободна. Я одна живу сирота. За постой ничего не надо. Я портниха, зарабатываю.

Девицу звали Агнея. Братья тут и стали на постое.

Данило на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминат, а Митя разговору не наслушался бы. Настолько Агнея приветлива, разумна, рассудительна. Данило и спрашивает:

— Скажи-ко, Агнея, старик-от в деревню показывается ли?

— Навеку не бывал. Только и видим — в усадьбу едет да оттуда.

— О, горе наше, горе! Чашечку бы, ложечку этой доброй водички — стали бы целы. Помрем лучше, Митька!

Агнея слушат, зашиват ихну одежду, свою думу думат. Назавтра принесла деревенски вести:

— Королешко-то сторожа в деревню гонял, нет ли бабы для веселья... Жалею я вас, молодцы, может, ради водички схожу туда?

— Брось, Агнея! Слушать негодно!

Вечером она срядилась по-праздничному:

— Я, братцы, к девушкам на игрище.

Вот и отемнало, люди отужинали, ей все нету.

Митрий пошел к соседям:

— Сегодня игрище где?

— В страду что за игрища?!

Братья заплакали:

— Она туда ушла! Ушла ради нас!

А она и идет:

— Не убивайтесь, каки вы эки мужики! Никто меня не задел. Уверилась только, что воды ни за каки услуги старичонко не даст. Добром никак не взять, надо насильно.

Митька перебил:

— Ты, Агнея, с краю сказывай.

— Я даве, нарядна-то, прохаживаюсь возле ворот, меня король и оприметил. Сторожа выслал. «Пожалуйте в сад». Зашла, трясусь, а королешко возле ездит, припадат, лижет. Я будто глупенька — зачем гора, и зачем вода, и кто сторожит? Он вилял, вилял, дале рассказал. Перва от ограды труба и есть минеральная, дальня огненна. Крышки у труб замкнуты и ключи затаены. Вам придется ломать. Вся дворня спит в дому. У ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у нас либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулилась. Вы к ночи-то, будто пьяны, валяйтесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу.

— Благодарствуем, Агнеюшка, целы уйдем — в долгу у тебя не останемся.

На другой день, на закате, Агнея опять приоделась, в зеркало погляделась — лицо бумаги беле. Нарумянилась и брови написала, в узелок литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклось, и хромой со слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо клюки, другой на кароушках ползет, видно, что оба пьяне вина. Дальше стены пути не осилили. Тут запнулись, тут захрапели.

И Агнея свое дело правит. Позвонилась, со сторожем пошутила, бутылку ему выпоила. Короля по саду до тех пор водила, пока дворня спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агнея на отдых сторопилась. Кавалера в спальню завела, сапоги с него сдернула, раздела, укутала, себе косы расплела, да и заохала:

— О, живот схватило!

Вылетела из дому, в сторожке храпят. Ключ схватила,

ворота размахнула, а хромой уж оседлал слепого. Она Митрия за руки и — в сад:

— Ближну трубу ломайте с одного удару. Лишний гром наделаете, тревога подымется, умыться не поспеете. Я побежу, старик хватился.

Старик в самом деле на лестнице ждет.

— Что долго?

— Сударь, пожалуйте в горницу! Ночь холодна.

Вдруг грохнуло где-то, окно пожаром осветило. Старик всполошился:

— Что это?

— Луна выкатилась больша, красна. А стукнуло — охотники в лесу стрелили.

Сама плешь ему одеялом кутат, обнимат, балует. В саду опять грекнуло, люди забегали.

Старик соврал Агнее, что с живой водой ближний колодец, соврал не без умысла. Данило подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом по чугунной крыше, оттуда лава огнедышащая. На счастье, братьям опалило только волосы и одежду, а огнем осветило в стороне другой колодец. Данило бросился туда ползунком, — лом вместо костыля, да опять как грянет в чугунные затворы... Замки, краны отлетели, чохнула вода ледяна, игриста. Данило пал под поток, зовет:

— Митя, Митя!

А слепой уж тут, глаза полощет.

От доброй воды живой срослися кости с костями, вошли суставы в суставы. Данило вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит — стал видеть. А радоваться некогда. Дворня бежит с топорами, с саблями. Ну, теперь-то Данило да Митрий богатыри, целы да здоровы — никого не испугаются. Как туча с громом, налетели на королевску челядь, у Данила лом в руках, у Митьки столб оградной, только воевать не с кем. Кто лежит, кто за версту бежит.

Агнею нашли, весело поздравились. Лакей из тех, что со старичонком приехал, выложил все новости.

Королевство под Ненилой, а под Федькой — коровы. А королевна Ненила каждый вечер Данила оплакиват — за версту слыхать.

Данило боле не терпит:

— Сегодня же в город!

Митрий добавлят:

— Агнея с нами. Она за меня замуж согласилась.

Покатили с колокольчиком. Дорогой коней три раза кормили. В городе Митя с Агнеей на постоялом стали, Данило попозже задней улицей подошел ко дворцу. Слышит, скот мычит, Федька коров гонит. До того Данило думал — встречу, изуродую. А тут жалко стало. Спрятался за навозны вороты и видит — Ненила в черном платке, с подойником вышла и прислонилась у конюшни. Стали коровы заходить, а последня остановилась и хвост призняла и Федька ей целует... Этого Данило не стерпел. Налетел как орел, схватил коровенку за хвост, ажно шкура долой. И Ненилу за косу да о землю:

— Как ты можешь над мужиком эдак изгиляться??!

Ненила как с ног слетела, так и не встала. Обняла парня за праву ножечку, плачет да смеется:

— Бей меня, трепли, убивай! Ведь я твоя, твоя, Данилушко! Изгасла по тебе!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как дорожны-ти люди в себя пришли, села Ненила с Данилом рука об руку — неделю с ним проговорила:

— Отступиться хочу здешнего оського гнезда. Этта все не мое и сердце ни к чему на радет. А дома короушки, осударственно управление, огороды, мельница — все па людей кинуто. Поедем ко мне, Данилушко, вместях будем королевствовать. У нас место обширно — пашня тут и сенокос тут. Агнею с Митей утенем за собой. Агнюшка нас с мели сдернула.

Вот и уехали, увезли свое счастье Данило и Ненила, Агнея и Митька. Матерь-та при них же.

А Федька с отчишком и остались на бубях.

## ПРОНЬКА ГРЕЗНОЙ

Были три брата, три американа, и сидели они за морем. Старшой прошел все науки и нажил больши капиталы. Однажды созвал он братьев и говорит:

— Пока сила да здоровье позволят, охота мне белой свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, покамест славы не добуду.

Братья запричитали:

На кого ты нас оставляешь,
на кого ты нас покидаешь?!
Мы ростом-то велики,
а умом-то мы малы.

Уж мы лягем да не вовремя,
уж мы встанем да не во пору!

Расстроили старшого:

— Разорвало бы вас, как жалобно сказываете... Вот вам тысячу золотых на разживу.

Молодцы деньги приняли, благодарно стукнули лбом в половицу и сказали:

— Дорогой брат и благодетель! Ежели не секрет, в каку ты державу прависсе?

— Надумано у меня в российски города.

— Дорогой брат и благодетель! И нам в Америки не антиресно. Тоже охота счастье испытать. Возьми нас с собой.

— Россия страна обширна. Хотите — поезжайте, хотите — нет.

Вслед за старшим братом приезжают эти молоды американы в Питербурх. Сидят в гостиницы, головы ломают, на како бы дело напуститься. Увидали на столе календарь. В календаре на картины царь написан с дочерями. Эти дочери поидравились.

— Давай посватаимся у царя! Вдруг да наше счастье?

Послали во дворец сватью. А царские дочки были самовольны и самондравны. Кажна по четыре кукиша показала:

— Мы в женихах-то, как в навозе, роемся. Князьев да прынцов помахивам. На фига нам твои американы, шваль такая!

Младша добавила:

— Не хотят ли на нашей рыжей кобылы посвататься? Она согласна.

Так эта любовь до времени кончилась.

Теперь пойдет речь за старшим братом. Он тоже посиживат на квартиры, рассуждат сам с собой:

— Годы мои далеко, голова седа, детей, жены нету, денег не пропить, не происть. Нать диковину выкинуть всему свету на удивленье.

В торговой день от скуки он пошел на толкучку и видит — молодой парень ходит следом и глаз не спускат.

Через переводшика спросил, что надо. Парень не смутился:

— Очень лестно на иностранной державы человека полюбоваться. Костюм на вас первый сорт-с...

Американин портфель отомкнул, в деньгах порылся и подает парню трешку:

— Выпей в честь Америки!

А тот на портфель обзарился. Навеку столько денег не видал. Американцу смешно:

— Верно, нравятся богатые люди?

— Бедны никому не нравятся.

— Имя ваше как?

— Пронькой ругают.

— Зайдите, мистер Пронька, вечером поговорить ко мне на квартиру.

В показанное время Пронька явился по адресу. Хозяин посадил его в мягки кресла:

— Увидел я, мистер Пронька, велику в тебе жадность к деньгам и надумал держать с тобой пари. Я, американской гражданин, строю на главном прешпехте магазин, набиваю его разноличными товарами и передаю тебе в пользование. Торгуй, розживайся, капиталы оборачивай, пропивай, проедай... За это ты, мистер Пронька, пятнадцать лет не должен мыться, стричься, бриться, сморкаться, чесаться, утираться, ни белья, ни одежды переменять. Мои доверенны будут твои торговы книги проверять и тебя наблюдать. Ежели за эти пятнадцать лет хоть однажды рукавом утрессе, лишаю тебя всего нажитого и выбрасываю тебя босого на улицу. Ежели же вытерпишь, через пятнадцать лет хоть во ста миллионах будь, все твое бесповоротно. Далее, как ученой человек, буду я про тебя книги писать и фотографом снимать. Вот, мистер Пронька, подумайте!

Мистер Пронька говорит:

— Живой живое и думает. Согласен.

К нотариусу сходили, бумаги сделали, подписи, печати. Дело, значит, не шутово.

Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, месяцы за месяцами... Первы-то годы Пронька спал по два, по три часа. Товары получат, товары отпускат — из кожи рвется, торгует. В пять годов он под себя дом каменной — железна крыша — поставил. К десяти годам в каждом губернском городе Пронькин магазин, в каждой деревне лавка. Наблюдение за выполнением американин доверил двум своим братьям, несчастным от любви, узнавши, что они не при деле да не при месте.

День за днем, год за годом зарос Пронька, аки зверь, аки чудо морское. Лицо, руки — чернее башмаков, грива на голове метлой, бородишша свалялась, лохмотья висят. Летом дождик попáдат на голову — то и мытье.

Год за год хлебошшится в грязи, только и порадуется, что над деньгами. А денег — всей конторой считают.

Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках. Как навозну кучу, повезут по городу. Однако этой куче ото всех почет и уважение. Все у ней в долгу. Сам осударь тысячами назаймовал. К двенадцати-то годам у Проньки на царя полна шкатулка кабальных записей. Вот каку силу мужичонко забрал!

Только своего американина наш капиталист боится. Все терпит. Американин его помесячно аппаратом снимат во всяких видах, измерят, во сколько слоев грязи наросло, вшей вычислят, каждогодно насчет Проньки сочиненье издават. В американских тиматографах стали шевелюшших пронек показывать. Ну, экой бы славы не все рады.

Год за годом, скоро и сроку конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился, ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли.

Тут соседни державы на царя войной погрозили. Надо крепостям ремонт, надо ерапланы клеить, выпускать удушливы газы. А казна порòзна.

Царь Проньки записку:

— Одолжите полдесятка миллиончиков.

Пронька сдумал думушку и не дал. Царь, подождав, посылат министра. Пронька сказался, что болен. Царь лично прикатил:

— Ты что, сопля пропáшша, куражиссе? Как хошь, давай денег!

— Никак не могу, ваше величие! Вы и так в долгу, что в море, — ни дна, ни берегов.

— Хошь, я тебя, бандита, енералом пожалую?

— Даже в графы нам и то не завлекательно. А коли до самого дела, дозвольте с вами породниться и вашу дочь супругою назвать.

— Что ты, овин толстòй! Что ты, вшива биржа! Да поглядись-ко ты в зеркало...

— В зеркало мы о святках смотряли, и вышло, что воля ваша, царская, а большина наша, купецкая.

У царя губы задрожали:

— Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропашша!.. А у меня девки-то три, котора нать?

— Какý пожалуете.

— Тогда хоть патрет сресуй увеличенной с твоей рожи. Я покажу, быват, котора и обзарится. Только имей

в виду — в теперешно время нету настояшшого художника. Наресуют, дак зубы затрясет.

За мастером дело не стало. В три упряга окончено в красках и приличной раме.

Пронька со страху прослезился:

— Сатаной меня написали... Знают, как сироту изобидеть... Уж и кажной-то меня устрашится, уж и всякото меня убоится!..

Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет:

— Вот, дорогие дочери! Есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, аригинальный старичок, зато комерсант богатеюшшой.

Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал и ухватом — все напрасно. Друга дочка сперва тоже заревела, дале сграбилась за раму да с размаху родителю на голову и надела...

Младша дочь явилась, папаша сидит в картины и головой из дыры павертыват.

— Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грезишша да волосишша, он тебя обажать будет пельзя как лучче...

Девка его пересекла:

— Плевать я хотела, что там обажать да уважать! Ты мне справку подай, в каких он капиталах, кака́ педвижимось и что в бумагах!..

Она с отчишком зашумела. В те поры старша из подпечка выбралась да к середней сестры катну́ла:

— Сестрича, голубушка, татка-то одичал, за облизьяна за шорспатого замуж притугинива-а-ат! Убежим-ко во болота во дыбучи, а мы схропимся в леса да во дремучи!

— В дыру тебя с лесом! Мы в Америку дунем. Черт ли навозного лаптя лизать, когда нас американы дожидаются.

У старшухи слезы уж тут:

Ох, чужедальняя та сторонушка,
Она слезами полпвана,
Горьким горем огорожена...

— Реви, реви, корова косая! Вот уже таткин облизьян обнимать придет.

— О, не падо, не надо!

— Не надо, дак выволакивай чемоданы, завязывай

уборы да сарафаны! А я фрелину к тем понаведаться сгоняю.

Два брата, два американа рады такому повороту! Ночью подали к воротам грузовик, чемоданы и обеих девок погрузили да и были таковы. Дале и повенчались и в Америку срядились на радостях. Мужья рады дома женами похвастаться. Жены рады, что от Проньки ушли.

Царь как узнал, что дочки к американам упороли, только для приличия поматерялся, про себя-то доволен, что на свадьбу изъяниться не пать.

Тут Пронькины пятнадцать годов на извод пришли. У него мыло простò и душѝсто пудами закуплено, мочалок, веников, дресвы возами наготовлено. Везде по комнатам рукомойники медны, мраморны умывальники, а также до потолку сундуков с костюмами зимними, летними, осенними, весенними и прочих сезонов.

В последний непешний денечек является Пронька к своему американину. Опять к нотариусу сходили, все договоры разорвали, по закону ни во что положили и любезно распростились. Пронька, что птичка, на волю выпорхнул.

Радость за радосью — царь объявляет о дочкином согласии. Поторговались, срядились. На остатки нареченной жених говорит:

— Итак, через полмесяца свадьба. В венчальной день публика увидит неожиданной суприз.

На друго утро он снял под себя городски бани на две недели и пригласил двенадцать человек банщиков и двенадцать паликмахтеров. И вот бани топятся, вода кипит, аки гром гремит, банщики в банны шайки, в медны тазы позванивают. Паликмахтеры в ножницы побрякивают.

Неделю Проньку стригли садовыми ножницами, скоблили скобелем, шоркали дресвой и песком терли. Неделю травили шшолоком, прокатывали мылами семи сортов, полоскали, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили.

В венчальной день двенадцать портных наложили царскому жениху трахмальны манишки, подали костюм последной париской моды, лаковы шшиблеты и прочее.

И как показался экой жентельмен на публику, дак никто буквально не узнал. А узнали, дак не поверили. Он явился, как написаной, бра́вой, тòлстой, красной, очень завлекательной. Царевна одночасно экого кавалера залюбила. До того все козой глядела, а тут приветлива сдела-

лась, говорунья. Свадьба была — семь ден табуном плясали, лапишшами хлопали, пока в нижной этаж не провалились, дак ишшо там заканчивали.

А Пронькин американин, приехавши на родину, не избежал некоторой неприятности. Американска власть на его заобиделась, что пятнадцать лет в России потратил, эдаки деньги на вшивого мужичонка сбросал.

— Неужели, — власть говорит, — ты за эстолько лет не мог его соблазнить хоть раз сопли утереть?

Тогда достойной субъект показал им пятнадцать научных изданных томов насчет Проньки. Также открыто спросил:

— Разве вы не в курсе, что две особы императорской фамилии вышли замуж за американов и принели американску веру?

Власти говорят:

— Это мы в курсе. Вот этот случай — велика честь. Америка гордицца теми двумя молодцами.

— Дак эти два молодца мои родны братья. Кабы не я да не мой Пронька, им царских-то дочек не понюхать бы!

Публика закричала «ура», тем и кончилось.

## ВАРВАРА ИВАНОВНА

У Якуньки была супруга Варвара Ивановна.

И кажной день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот кака па́губа. Ежели Якунька скажет:

— Варвара Ивановна, спи!

Она всю ночь жить буде, глаза пучить. А ежели сказать:

— Варвара Ивановна, сегодня ночью затменье предвешшают. Посидите и нас разбудите.

Дак она трои сутки спать будет, хоть в три трубы труби.

Опять муж скажет:

— Варя, испекла бы пирожка.

— Не стоишь, вор, пирогов.

А скажет:

— Варя, напрасно стряпню затеваешь, муку переводишь...

Она три ведра напекет:

— Ешь, тиран! Чтобы к завтрию съедено было!

Муж скажет:

— Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости?

— Нет, к эдакой моське не пойдем.

Он другомя:

— Сегодня сва́тья на именины звала. Я сказал — не придем.

— Нет, хам, придем. Собирайся!

У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет:

— Якунька, это чья там толстомяса-та девка в углу?

— Это хозяйская дочь. Правда, красавица?

— А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на свой нос испудрила.

Муж не знат, куда деться:

— Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник.

— Почтеннейший?.. А по виду дак жулик, казнокрад.

Тут хозяйка зачнет положенье спасать, пирогом строптиву гостью отвлекает:

— Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят.

— Все хвалят, а я плюю в твой пирог.

И к Варваре кто придет, тоже хорошего мало.

Который человек обрадуется угощению, тот ни фига не получит, а кто ломаться будет, того до смерти запотчует.

Мода пришла, стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара нарòсьне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой приташшит. Вот кака Варвара Ивановна была; хуже керосина. Она и рожалась, дак поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался:

— Ах ты... прòваль тебя возьми. Запехать разве мне ей на службу? Может, шелкова бы стала?

Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник и все закрыто, дак Варвара в те дни черным ходом в учрежденье залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет да считат.

А ежели объявят:

— Варвара Ивановна, эта вся будет спешна неделя. Пожалуйста, без опозданиев...

Дак Варвара всю эту неделю назло дома лежит.

Настанет праздник какой, Варвара одна в учрежденье работу ломит.

Муж дак за тысячу верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы ей рад застрелить.

Оногды идет он со службы, а домой не охота. И видит: дядьки на бочке за город едут. Ах, думает, хорошо б и мне перед смертью на лоно природы.

— Дяденька, подвези!

За папиросу вывезли и Якуньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшна, глубока. Якуня думат:

— В эту бы яму мою бы Варвару Ивановну!

Яма смородинным кустьем обросла. Это Якуня тоже на ус намотал. Домой явился:

— Хотя нопе и лето, ты, Варвара, за город ни шагу!

— Завтра же с утра отправимся! И ты, мучитель, со мной.

Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужневу было, задью пятится.

К ямы подошли, к смородиннику. Якунька заявил:

— Мои ягоды!

— Нет, холуй, мои! Лучче и не подступайся!

Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следо три пачки папирос:

— Прости, дорогая!

Затем домой воротился. Никто его не ругат, никто его не срамит. Самоварчик наставил, сидит, радуется:

— Вот кака жисть пошла приятная!

Однако соседи вскоре заудивлялись, почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли, боле не орет. Начальник вызвал Якуньку:

— Где супруга?

— Дачу искать уехала.

— Смотри у меня!

Якунька до полусмерти напугался:

— Лучче побежу я добывать свою Варварку.

С веревкой полетел к ямы. Припал, слушат... Писк, визг слыхать...

...А вот и Варин голосок...

Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное. Якунька конец размотал. Начал удить:

— Эй, Варвара! Имай веревку! Вылезай!

Удит и чует, что дернуло. Конец выбирал, а в петле кто-то боязкой сидит, не боле фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно тряхнуть, а она и проплакала:

— Дяденька, не рой меня к Варвары! Благодетель, пожалей!

— Вы из каких будете?

— Я Митроба, по-деревенски икота. Мы этта в грезной ямы хранились, митробы, иппузории. Свадьбы рядили, сами собой плодились. И вдруг эта Варвара на нас сверху пала, всех притоптала, передавила. Папиросу жорет, я с табаку угорела. О, ка́ка беда! Хуже сулемы эта Варвара Ивановна, хуже карболовой кислоты!

Якунька слушат да руками хлопат:

— Ах да Варвара! Ну и Варвара! А все-таки по причине начальства приходится доставать.

— Якуня, плюпь па их па всех! Порхнем лучче от этого страху в Москву.

— Что делать-то будем?

— Там делов, дак не утянешь на баржи. За спасение моей жисти от Варвары я тебя поделю капиталом. Я Митроба и пойду вселяться по утро́бам. За меня дохтура примуцца, а я их буду поругивать да тебя ждать. Ты в дом, я из дому.

Якунька шапку о землю:

— Идет! Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!

Митроба завезалась в шелково кашне, на последни деньги билет купила да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить. Икота в блюдце побулькалась, заразговаривала:

— По городу ле в киятры ходить, у меня платье не обиходно, да и на Варвару боюсь нарвацца. Лучче без прогулов присмотрю себе завтра барыну понарядне да в ей и зайду.

— Как зайдешь-то?

— Ротом. С пылью ле с едой.

— А мне что велишь?

— Ты в газету объяви, что горазен выживать икоты, ломоты, грыжу, дрип.

Утром Якунька в редакцию полетел, а Митроба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мимо дама идет, красива, полна, в мехах. Идет и виноград немытый чавкат. Митроба на виноград села, барына ей и съела. И зачало у барыни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейной муж схватил газету, каки есь дохтора? И читат: «Проездом из Америки. Утробны, внутренни, икоты, щипоты, черевны болезни выживаю».

Полетели по адресу. Якунька говорит:

— Условия такая. Вылечу — сто рублей. Не вылечу — больной платы прост.

Наложил на себя для проформы шлею с медью.

Приехали. Икотка барыниным голосом заговорила:

— Здравствуй, Якунюшка! Вот как я! Все тебя ждала. Да вот как я! Лише звонок, думаю, не Якуня ли! Вот как я!

Якуньке совестно за эту знакому:

— Ладно, ладно! Уваливай отсель!

Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского дохтура благодарят, сто рублей выносят.

Теперь пошла пажива у Якуньки. Чуть где задичают, икотой заговорят, сейчас по него летят. У Якуни пальтов накуплено боле двадцати, сапогов хромовых, катанцей, самоваров, хомутов, отюгов быват пятнадцать.

Бедну Митробу на дому в дом, из души в душу гонит, деньги ха́пат. Дачу стеклянну строить зачал, думал — и век так будет. Однако на сем свете всему конец живет. Окончилась и эта легка нажива.

Уж, верно, к осени было. Разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а Икота зау́росила:

— Находилась более, нагулялась!.. Пристала вся!

Якуня тоже расстроился:

— Ты меня в Москву сбила! А кто тебя от Варвары спас?

— Ну, черт с тобой! Этта ешше хватай, наживайся! А далеша! Я присмотрела себе подходяшшу особу, в благотворительном комитете председательшу. В ей зайду, подоле посижу. Ты меня не ходи гонять. А то я тебя, знахаря-шарлатана, по суд подведу.

Якунька удобе́л:

— Ну, дак извод с тобой, боле не приду. Не дотропу тебя, чертовку!

Получил последню сотенку, тем пока и закончил свою врачебную прахтику.

А Икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была така бойка, така выдумка, на собраньях всех становит. Речь говорит — часа по два, по три рот не запират. Вот эдак она слово взела, рот пошире открыла, Митроба ей туда и сиганула.

Даму зарозбирало, бумагами, чернильницами зачала на людей свистать. Увезли домой, спешно узнают, кто по эким болезням. В справочном бюро натака́ли на Якуньку.

Якунька всеми ногами упирается:

— Хоть к ераплапу меня привяжите — нейду!

Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на консилиум главную профессуру. Старший слово взял:

— Науке известны такие факты. Есь подлы люди. Наведут, дак в час свернет. В данном случае напушшено от девки или от бабы от беззубой. Назначаю больной десеть баен окатывать с оружейного замка.

Другой профессор говорит:

— И я все знаю скрозь. По-моему, у их в утробы лиситёр возрос. Пушшай бы больна селедку-другую съела да сутки бы не попила, он бы сам вышел. Лиситёр полдела выжить.

Третий профессор воздержался:

— Мы спину понимам, спину ежели тереть. А черев, утробы тоись, в тонкось не знам. Вот бабка Палага, дак хоть с торокана младень — и то на девицу доказать может.

Ну, они, значит, судят да редят, в пятки колотят, в перси жмут, в бани парят, а больна прихворнула пушше.

Знакомы советуют:

— Нет уж, вам без американского дохтура не снящца.

К Якуньки цела делегация отправилась:

— Нас к вам натакали. Хоть двести, хоть триста дадите, а без вас не воротимсе.

Якунька весь расслаб:

— От вот каких денег я отказываюсь!.. Сам без прахтики живу, в изъян упал.

Он говорит:

— Ваш случай серьезной, нать всесторонне обдумать.

Удалился во свой кабнет, стал на голову и думал два часа тридцать семь минут. Тогда объявил:

— Через печать обратитесь к слободному населению завтре о полден собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтобы все зревели не по-хорошему:

— Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла.

Эту публикацию грамотной прочитал неграмотному, и в указанной улицы столько народу набежало, дак транваи стали. Не только гуляющие, а и занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детями, бабы-молочницы, учашшиеся, инвалиды, дворники. Все стоят и взирают на окна.

Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлея с медью. Его проводят к больной. Вынимат трубку, слушат... Митроба на его зарычала:

— Зачем пришел, собачья твоя совесть?! Мало я для тебя, для хамлета, старалась? Убери струмент, лучче не вяжись со мной!

Якунька па ей замахался:

— Тише ты! Я прибежал, тебя, холеру, жалеючи. Варвара приехала. Тебя пишет!

У Митробы зубы затрясло:

— Я боюсь, боюсь!.. Где она, Варвара-та?

Якунька раму толкнул, рукой махнул:

— Она вон где!

Как только на улице этот знак увидали, сейчас натобили загудели, транваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся массыя открыли рот и грянули:

— Варвара Иванна пришла! Варвара Иванна пришла!

Икота из барыни как пробка вылетела:

— Я-то куды?

— Ты, — говорит Якунька, — лупи обратно в яму. Варвара туда боле не придет!

Народ думают — пулей около стрелили, а это Митроба на родину срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала.

А Якунька, деляга, умница, снова, значит, заработал на табачишко...

## ВОЛОДЬКА ДОБРЫНИН

У Архангельского города, у корабельного прибéгиша жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господский, да обиход в нем после мужа повелся сиротский. Добрыниха держала у Рыбной пристани ларек. Торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми штями. Тем свою голову кормила и сына Володьку сряжала.

Володька еще при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигацкую школу. Знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, он связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины.

Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, остальные пособляли.

И случилось, что один товарищ поспоровал с ними и донес властям. А полиция давно на Добрынина зубы скалила, ногти грызла.

Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной — тревога. Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька выверпул áншпугом половицу:

— Спасайтесь, ребята!.. Лезь в тайник! А я останусь. Все одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит...

Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиция в двери:

— Один ты у станка?

— А что, вам сотню надо?

Повели Володеньку под конвоем.

Дитятка за ручку, матку за сердечко.

Плачет, как река течет. А сын говорит:

— Не плачь, маменька! За правое дело стою смело.

Конвойный рассмехнулся:

— Какое же твое правое дело, мышь подпольная?

Володька ему:

— Ничего, дождемся поры, дак и мы из норы.

Его отдали в арестантские роты, где сидели матросы.

Близ рот на острове жил комендант. Дочь его Марина часто ходила в роты, носила милостыну. И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила, послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором.

Бывало, за ужином отцу все вызвонит, что за день видела да слышала, а про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до семнадцати годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше и запечалилась. От няньки секретов не держала — старуха не велела больше в роты ходить, молодцов смотреть.

Отец Маринин, как на грех, в это время дочери учителя подыскивал. Люди ему и насоветовали Володьку:

— Не опущайте такого случая. Против Добрынина мало в Архангельском городе ученых. Молодец учтивой и деликатной. Суд когда-то соберется. До тех пор ваша дочь пользу возьмет.

Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к комендан-

ту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал ее дитятею.

Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеяны и печальны. Люто и ненавистно Володьке возвращенье в роты. Уж очень быстролетны часы свободы. О полной воле затосковал. Бывало, придет, рассмехнется, а теперь — как мать умерла у маленького мальчика.

Нянька спросит по Марининому наученью:

— Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что-то от нас прячешь, Володенька.

— Ох, нянюшка, думу в кандалы не забьешь!

Лету конец заприходил. Скоро суд и конец Маринииному ученью.

Смотрит бедный учитель в окно. Не слышит, что читает девочка. За окном острова беспредельная ширь устья Двинского, а там море и воля.

Нянька говорит:

— С вашей читки голову разломит. Вышли бы вы, молодежь, на угор.

Володька говорит:

— Меня вдаль караульны не пустят.

— С лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода.

Пришли на взгла́вье острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит.

Нянька толкует:

— Сядем этта. Солнце уж на обеднике, а вокурат в полдень от города фрегат немецкой в море пойдет. Матросы сказывали. Подождем, насмотримся. Вишь ветер какую волну разводит... Володя, почто побледнел?

А у Володьки мысли вихрем: «Либо теперь, либо никогда. Спросить Марину?.. Нет, бросится за мной. Моя дорога неведома. И жив останусь, дак всяко наскитаюсь. Жалко ее. Поскучает да и забудет».

А вслух говорит:

— Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу — сходите на болото по ягодки на полчасика. А я выкупаюсь.

Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку.

Володька еще крикнул:

— Потону, матерь мою не оставьте!

Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то ему вслед, но пловец уже не слышал. Вопль старухи заглушали голоса вод.

Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слез, вернулись домой. Видя, что Добрынина долго нет, встревоженная и обеспокоенная девушка заставила добыть лодку, и сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что ее любезный учитель, такой сильный и отважный, утонул. Нянька натакáла до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести куда следует, и тогда спасенный пожалел бы, что его спасли.

Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купанья. Свидетелем ставил сам. На том дело и покончили.

Только мать как узнала, столько пролила слез, дак ручей столько не тек. Тут уж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила, сколько было в сердце нежности к сыну, всю на матерь его перенесла.

Володька не погиб.

Есть счастливцы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах. И берут людей без разбора. Почто не испытать судьбу?

Чтоб избежать горького расставанья с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил, так выйти на любой попутный остров, дождаться и объявить о себе криком.

И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волнами, Владимирко выбрался на песчаную отмель. И пока он дрожал тут нагой, зубов не может сцепить, мимо начал проходить величественный четырехмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки и побежал по берегу.

Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почуяв себя на воле, убедившись, что его отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать русским властям, Володька ожил, развеселился. Свободно владея немецким языком, полюбился всем — от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот какой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким, и пригожеством лица, и речами, и очами.

Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасенным и однажды сказал:

— Завтра будем дома. Я убедился, господин Вольдемар, что вы человек талантливый и одаренный. Если угодно, представлю вас своему другу бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чем лишнем.

Добрынину остается только кланяться.

В Гамбурге капитан отвел свою находку к верховному бургомистру, старому старику.

В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом. Оттого назывался вольный город. Председателем был бургомистр. Стар был бургомистр, много видели на своем веку почтенные советники гамбургские, а и они не могли достаточно надивиться разуму и познаньям молодого пришельца.

Кроме родного, Володька знал язык немецкий, английский, норвежский, шведский, и его положили доверенным к приему иноземных послов.

Так четыре года прошло. Четыре холодных зимы, четыре летичка теплых прокатилось. Володька доверие Гамбургского совета полной мерой оправдал. Он кому и делом не прпробится, дак лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег, как сон, вспоминается. Здесь все иное и дума другая.

Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку.

Скоро сказывается, а дело долго делается.

Тут приходят на вольный город две напасти. Умер старый многоопытный бургомистр, а прусский король задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядам срок вышел и больше в Гамбурге воле не быть, а быть порядкам прусским. Сроку дается месяц.

День и ночь заседает Гамбургский совет. Силой противустать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Сделали перебор трем главным советникам.

Один сказал:

— Берусь вырядить вольности на полгода.

Другой сказал:

— Моего ума хватит добыть воли на год.

Третий, годами старший, сказал:

— А и моей хитростью-мудростью больше как на три года вольности не вырвать...

Володька был тоже созван в ту ночь к городской думе.

И тут его сердце петухом запело.

Встал и сказал:

— А я доспею воли городу до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит...

Выбирать не приходится.

Его и послали рядиться с пруссаками.

С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоды сулил. Говорит — как рублем дарит. Красное солнце на запад идет, у Володьки договорное дело, как гусли, гудет. Складно да ладно. Пруссаки против его доводов и слова не доискались:

— Вы, гамбурцы, люди речисты, вам все дороги чисты.

Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слова пошевелить. Писано, что Добрынину надо:

«Быть Гамбургу вольным городом донележе солнце сияет и мир стоит. А королю не вступаться и прусским порядкам не быть».

Только и вырядили послы ежегодно два корабля соленой рыбы королевскому двору.

Ну, рыбы не жалко. Рыбы море — кормилец несчетно родит.

В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза была вделана памятная плита. И на ней золотыми литерами выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина[1]. А сам он возведен в степень верховного бургомистра. По заслугам молодца и жалуют.

И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведет. Но на седьмой год Володя, как от мертвого сна пробудясь, вдруг затосковал по родине, по матери, по Марине.

Мамушка, жива ли ты?
Может, где скитаешься!
Марина, помнишь ли меня?
Простили ли вы меня?

И слезы его как жемчужные зерна. Стал молодой бургомистр в простецком платье по корабельным прибеги-

[1] Архангельские поморы уверяют, что доска эта на том же месте и сейчас.

щам похаживать, с архангельскими поморами поговаривать. Оказалось, они уже слыхали, что здесь в больших русский человек. Вдаль простираться с расспросами Володька не стал, а пришел на совет и заявил:

— Прошу отрядить под меня приправный корабль. Прошу месяц отпуска. Поеду в Русь добывать свою матерь.

Советники понурили головы:

— Любезнейший наш бургомистр. Время осеннее, годы трудные... В море туманы, в русской земле обманы. Боимся за вас, не покидайте нас!

Он на ответ:

— Никто нигде не посмеет задеть верховного бургомистра славного Гамбурга... А не отпустите — умру!

В три дня готова шкуна трехмачтовая, команда отборная и охранная грамота.

Парус открыли, ветер паруса надунул. В три дня добежали до Двинской губы. Теперь наш Володенька и с палубы не сходит, не спит и не ест. Так и смотрит, так и ждет.

У Архангельского города якоря к ночи выметали. В корабельной конторе отметились, и захотелось нашему бургомистру той же ночи к родному дому подобраться, тайно высмотреть своих. Переоделся в штатское платье и направился окраинными улицами в обход, чтоб на кого не навернуться.

И тут его схватили грабители, отняли верхнюю одежду и хотели убить. Темна́ ночь, черны дела людские...

Володька закричал:

— Что вы, одичали, на своих бросаетесь! Я сам мазурик, на дело бежал...

Тут один рычит:

— Убить без разговоров!

— Кряду ножом порешить.

— Убежит, на нас докажет.

Другие возражают:

— Утром зарежем. А то с кровью прокапителимся, ночная работа пропадет. Петухи уж вторые поют.

Володька надежды не теряет:

— Возьмите вы меня на ночную-то работу. На это против меня не найдете мастера!

— Ну, идем... Только уж смотри, закричишь или побежишь — тут тебе и нож в глотку.

Долго шли по продольной улице, свернули на попереч-

ную, остановились у высокого дома. И сквозь мглу ночную узнает пленник — улица их Добрынинская и дом их.

. Главный шепчет:

— Здесь старуха живет, Добрыниха. Налево пристройка, окно с худой ставней. Тут у них кладовая клеть. Медна посуда есть, одежонка... Пусть один в окошницу пропехается, будет добро подавать, мы принимать.

У Володьки сердце то остановится, то забьется:

— Я горазд в окна попадать. Меня подсадите.

— Тебя одного не пустим, лезьте двое.

К чужим бы не суметь, а свои косяки пропустили. И ставня под хозяйской рукой не стукнула. Следом за Володькой протискался еще один.

В опасности голова работает круто. Закричать?.. Стены глухие, кто услышит ли?

Стучать? Нет ли чего тяжелого...

Наткнулся на весы. Нащупал гирю. А страшный компаньон к нему:

— Мы что, гадюка, играть сюда пришли?! Ломай замок у сундука!

Вместо ответа Добрынин левой рукой схватил его за горло и подмял под себя, а гирей в правой руке и ногой приправил, что было сил, грохотать в стену, в двери, во что попало, неистово крича:

— Карау-ул! Спаси-и-те!

В доме поднялась тревога. Забегали люди, замигали огни. Мазурик вырвался из рук Добрынина, ударил его ножом да мимо, только сукно рассек, затем кинулся в окно и выбросился наружу.

Скоро далекий топот ног известил, что мазурики скрылись. С чем нагрянули, с тем и отпрянули.

Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросились вязать мнимого вора. Он закричал:

— Не троньте меня, не смейте. Ведите сюда хозяйку Добрыниху.

А хозяйка Добрыниха бежала по сеням с фонарем.

И тут у нее ноги подрезало, и она закричала с рыданьем:

— Не смейте!.. Это сын, сын Володя, воротился!

Пала мать сыну на грудь:

Беленькой ты да голубочик!
Миленький мой да соколик!
Желанненько мое чадышко!
Из глаз-то ты уехал,

Из памяти ты да не вышел!
Как я тебя жалела,
Да как я тебя дожидала!

Тут не бола береза подломилась, не кудряве зелёна поклонилась, повалился сын матери в ноги.

— Дитятко, не мне кланяйся. Благодари Марину Ивановну — только по ее милости я эту прискорбную пору пережила. Она меня заместо матери почитала.

— Маменька, где она?!

— Тут она! За калачами пришла да и ночевать осталась... Точно знала...

И Марина, станом высокая, а нежным лицом все та же, держит Добрынина за руки, не дает ему падать в ноги. И говорит, говорит, торопится:

— Володенька, как тогда жить-то зачинать без вас горько было. Отец женился, няня померла, я у маменьки у вашей больше гощу. А вас первое время и в живых не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблем подобрали. На остатках узнали — в Гамбурге морского найденыша главным начальником положили. На вас думать боялись, а надежды не теряли.

И Володька на ответ:

— Тошнехонько! Бил вас денечек, сам плакал годочек! Марина Ивановна, мама! Перемените печаль на радость, слезы на смех. Я и есть главный бургомистр города Гамбурга. И я за вами на корабле пришел.

Погостил тут Володя сколько привелось, а потом сел с матерью да с невестой на корабль и с вечерней водой, под красой под великой отправились в путь, чтобы жить вместе и умереть вместе.

## ИНГВАР

В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом свеянин, швед. По старым памятям рассказывают так.

Свейский карбас — шесть рядовых, седьмой шкипер Ингвар шли в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не ведаем. Может, что купить или продать. Будучи нетверды в соловецком знании, потеряли путь и пристали в Тонскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на

другой конец деревни. Свеян было мало, но и в деревне мужского полку не было. Только бабки с мелкими ребятами. Во все лето с дальних наволоков не оказывало дыму, и люди неопасно разошлись на промыслы.

Свеи начали ломать запоры у амбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою.

Увидя, что его товарищи шибают о землю ребят, стегают воющих старух и кидают из амбара кожи, обувь, сбрую и холсты, Ингвар стал благословлять грабежников железным ломом. Бил по головам и по зубам. И гонил их из деревни, посылая ломом. Один из грабежников увернулся и ударил шкипера в лоб камнем. Ингвар повалился заубито. Товарищи его вскочили в карбас и угребли из виду.

Старухи привели Ингвара в действие и, забывши страх, стали жалеть его, как внука.

Весть о свейском нагоне полетела далеко. Пришли из Сумского посада в Тонскую деревню приставы и взяли Ингвара. Также было велено имать свидетелей. Вся деревня лезла во свидетели. Отобрали десять старых бабок, самых мудрых и речистых.

Тонская деревня была соловецкой вотчиной и подлежала монастырскому суду. Ингвара судил случившийся в Суме игумен Филипп Колычев.

Дьяк объявил, что шестерых бежавших в море свеян бог нашел своим судом. Только-де шесть свейских рукавиц, с одной руки, море выплеснуло на берег. Затем тонкие свидетели заявили, что хотя судимый и явился с лиходеями, но оказался добрым человеком. И его-де надо не судить, а миловать. Судья Филипп сказал:

— Правда то, что Ингвар заступался за обидимых, не щадя и своей жизни. Но есть и кривда: почему ты, Ингвар, добрый, сердобольный человек, пошел в товарищах с людьми лихими?

— Господине, — отвечал Ингвар, — все у нас затеяно бахвальством, все чинилось без ума. Но молю вас всех: не кляните их, моих товарищей, а меня не величайте добры человеком.

Судья Филипп говорит:

— Сердце твое детское, и речи у тебя как у младенца. Ты говоришь: «Не вредите мое сердце, не поминайте мне товарищей». Лучше бы тебе о том поплакать, что из-за таких товарищей про всю вашу породу свейскую слава

в мире носится самая задорная!.. Думаю, Ингвар, что на родину тебе нельзя являться?

Ингвар говорит:

— Господине, я хочу прижаться к русским людям. Возьми меня к себе, в какой чин хочешь.

Ингвар принял в Соловецке имя Игоря.

Тут и помер в старости. И память по себе оставил — «сердобольный Игорь».

## ФЕОДОРИТ КОЛЬСКИЙ

Лопин век скитался с родом своим меж Русью и Датской. Летами он призажился и годами призабрался. По душу лопина пришла Смерть. Лопин говорит:

— Я жил непокрытую жизнь, но хочу, чтобы кости мои покрыла родная земля, отеческая.

Смерть спрашивает:

— Где твоя родная земля? Где твое отечество?

Лопин говорит:

— Я век свой скитался меж Русью и Датской. О Смерть, дай мне сроку семь дней. Я обдумаю место, где мне спать вековечным сном.

Смерть дала ему срок. Он спрашивает своих детей и внуков-правнуков:

— К какой земле мне приложиться?

Род-племя говорит:

— Не спросить ли Феодорита Кольского. Он широко ходит.

Лопина и привезли к кережке в Русский берег, где тогда ходил Феодорит. Лопин рассказал свое недоуменье. Феодорит сказал:

— Добро тебе и роду твоему сообщиться с Русью, добро тебе и роду своему и приложиться к языкам всея Руси.

Смерть пришла и спрашивает:

— Ну, старик, в какой земле рассудил помереть?

Лопин говорит:

— На что спрашиваешь? Здесь хочу родной землей покрыться.

Смерть говорит:

— Знал ты, Лопин, с кем подумать! Кабы ты сдумал на Датскую сторону, то бы и род твой без имени остался и твоя память в забвение пришла.

# ПРЕНИЕ ЖИВОТА И СМЕРТИ

Живот рече:

— Кто ты, о страшное диво? Кости наги, видение твое и голос твой — говор водный. Что гадает звон косы твоея, поведай мне?

Смерть рече:

— Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — должникам льгота, я — трудящимся покой.

Живот рече:

— Почто стало на пути моем и говоришь немо? Пойди от нас, Смерть, в темны леса, за сини моря. А се я тебя не боюся!

Смерть рече:

— Пусты темны леса, усохли сини моря. Стану с тобой смертною игрою играти.

Живот рече:

— Тише вешней воды, ниже шелковой травы, откуда приходишь ты? О Смерть, не хочу тебе! Кому будет волосы кудрити, и лице наводити, и лазореву одежу носити?

Смерть рече:

— Молодым-молодехонек, зеленым-зеленехонек, о Живот, красота твоя сердце мое услади. И любовь моя быстрее быстрой реки, острее острого ножа.

Живот рече:

— Ты — косец, коси ты нивы твои, к жатве спеющие. Я — плод недозрелый, я возрастом юн. Здесь нет тебе дела!

Смерть рече:

— Коль сладка словеса твоя, слаще меду устам моим. О Живот, слышишь ли звон тетивы на луке моем? И се из острых остра смертная стрела, тебе уготованная.

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О, Смерть, неужели я умру и не будет меня, точно меня и не было?!

Смерть рече:

— Сребролукого Феба пленивый и всепетую Афродиту низложивый Исус Христос, над богами бог, и той вкусия мене, горькую смерть, и в мрачный сошел Аид.

Живот рече:

— О Смерть, власть твоя над людьми и богами! На что тебе трепетная моя юность и бледная моя красота?!

Смерть рече:

— День гонит ночь. Скоро кочета звопят. О Живот! Время тебе снятися с души — и умереть...

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О Смерть, отпусти меня до утра! Я пойду, я возьму от любящих меня последнее целование...

Смерть рече:

— Не имей другу веры, не надейся на брата. Днесь целует тебя, а завтра забудет. Днесь слава угасает и любовь.

Живот рече:

— О други мои милые, о братия моя! Вот я отхожу от вас, как дым расходится, как вода разливается, как огонь угасает...

## ПО УСТАВУ

Лодья шла вдоль Новой Земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли на отстой в пустую губицу. Любопытный детинка пошел в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь — у порога нагое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог. Значит, припала поветерь, детине надо спешить. Он сдернул с себя все, до последней рубахи, обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, доброчестно простился и сам нагой до последней нитки, в одних бахилах побежал к лодье.

Кормщик говорит:

— Ты по уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь.

Лодью задержали непогоды у Вайгацких берегов. Здесь она озимовала.

Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощанье родным. Тяжко было ночами: все спят, все молчат, только сальница горит-потрескивает, озаряя черный потолок.

Больной спустил ноги на пол, встать не может. И ви-

дит сквозь слезы: отворилась дверь, входит незнаемый человек, спрашивает больного:

— Что плачешь?

— Ноги не служат.

Незнакомый взял больного за руку:

— Встань!

Больной встал, дивяся.

— Обопрись на меня. Походи по избе.

Обнявшись, они и к двери сходили и в большой угол прошлись.

Неведомый человек встал к огню и говорит:

— Теперь иди ко мне один.

Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом:

— Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?

Незнаемый человек говорит:

— Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри: чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?

Детина всмотрелся и ужаснулся:

— Мой плат, мой кафтанец...

Человек говорит:

— Я и есть тот самый пропащий промысловщик из Пустой Губы, костьё которого ты прибрал, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи — он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды.

## СОФИЯ НОВГОРОДСКАЯ

*Сказанье о Софии «вытвердил по книгам» М. О. Лоушкин. Со слов Лоушкина вытвердил этот рассказ и я.*

*Видно, что новгородцы были не худого о себе понятия, если даже хозяйственную свою статистику поручили вести божеству.*

*Известно, что о московской вере, о московских святых новгородцы отзывались с кислецой. Впрочем, оговаривались:*

*— Никого не боимся, только Рыжебородого боимся.— Под Рыжебородым они разумели Сергия Радонежского, одного из организаторов русского национального сознания.*

*Но собирательница Руси, Москва, в конце концов похвалилась:*

*— Московские чудотворцы перекóкали новгородских!*

По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Гостев оследил нехоженый берег. Тут поставил крест, и избу, и амбары. Учредился промысел, уставился ход лодейный, урочный. Лодьи с промыслом Гостев сам вздымал до Русского берега. В урочные годы допровадит товар и до Новгорода. Отделав дела, пойдет в соборную божницу клапяться божьей мудрости Софии Новгородской. Да и опять к морю, опять ветры-туманы, паруса да снасти.

Вечно ходит солнце со Встока в Запад. Гуси и гагары с теплом летят в север, с холодными — в юг.

Тем же обычаем сорок лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот путь и труд человеческий!

Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой его ум исказила поперечная дума: «Берег я прибрал себе самый удаленный, путь туда грубый и долгий. Не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче...»

В таком смятении ума стоит Гостев у кормила лодейного: «Кому надобны неисчетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд?»

...Перед глазами бескрайное море, волны рядами-грядами. И видит Гостев: у середовой мачты стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и венец, на ней багряница, истыканная молниями. Она что-то считает вслух и счет списывает в золотую книгу.

— Кто ты, о госпожа? — ужаснулся Гостев. — Что ты считаешь и что пишешь?

Девица повернула к Гостеву свое огненное лицо. Ответ ее был как бы говор многих вод:

— Я премудрость божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского хода. О кормщик! Всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих людей исчислены и списаны в книгу жизни Великого Новгорода.

— Ежели так, о госпожа, — воскликнул Гостев, — то и дальше дальних берегов пойду и пути лодей моих удвою!

## ЗОЛОТАЯ СЮРПРИЗА

Уточка моховая,
Где ты ночь ночевала?
— Там, на Ивановом болоте.
Немцы Ивана убили;
В белый мох огрузили.
Шли-прошли скоморошки
По белому мху, по болотцу,
Выломали по пруточку,
Сделали по гудочку.
Тихонько в гудки заиграли,
Иванушкину жизнь рассказали,
Храброе сердце хвалили.

— Сидите, заезжие гости. Не глядите на часы. Вечера не хватит — ночи прихватим. Не думайте, что я стара и устала. Умру, дак высплюсь. Вы пришли слушать про Ивана Широкого? Добро сдумали. Небо украшено звездами, наша земля — таковых Иванов именами. И не Иваны свою славу затеяли — время так открывается.

Иван Широкий был русского житья человек. Шелковая борода, серебряная голова, сахарные уста. Он был выбран с трех пристаней наделять проезжающих рыбой, хлебом и вином. За прилавком стоит, будто всхожее солнышко. Поздравляет и здравствует, кого с обновкой, кого с наступающим...

Иван был вдовец, и моя сестра Марья, честна вдова-баловница, против праздника набелится добела, нарумянится до ала, ждет Ивана. Он прикатит с закусками, с гитарой. Учинится плясанье, гулянье, топот ножный. Я ругаться, они смеяться: «Не тогда плясать, когда гроб станут тесать! Царь Давид плясал перед ковчегом!»

У Ивана от первой жены был сын Вася; в городах учился, до большой науки доходил. Своим детищем Иван всенародно восхищался: «Сегодня Васенька письмо послал с довольным наставленьем, скоро сам прибудет. Я ему все расскажу и обо всем спрошу».

Сын приедет в самую навигацию. Отец пароходы встречает, пароходы провожает...

Вася строгий был:

— Отец, вы не того стоите, чтобы в столешницу стаканчиком колотить.

— Сын, напрасно вы будете обременять мои понятия. Я сам скажу експромту.

...В эту пору с Запада из-за корельских болот при-

пахнули к нам ненастливые ветры, приносили ратные вести: Германия гитлеровым пивом опивалась, во хмелю похвалялась: «Я сера липучая. У меня пушки скакучие и на ногах бегучие. Вы до смерти на меня будете работать, до гроба мое дело делать. Я ваш ум растлю».

И Красная Армия ответила просто и не спесиво: «Ты к нам за своей смертью приехала».

Вася Широкий ушел на войну добровольно с товарищами. Иван разум сына любит и хвалит:

— Пущай любодейцу тряхнут, выгонят хмель-от из сучки.

Когда Вася пал храброй смертью, Иван горе свое на люди вынес. Сядет в народе, руками всплеснет и слезами зальется. Люди ему слезы отирают:

— Твой сын в невеликие свои годы исполнил лета многа. Не тот живет больше, кто живет дольше.

Иван скажет:

— Верно! Сын обо мне промышлял. Слово тайное, крайное мне припасал. Теперь я слышу его слово... Горе мне! Я призаживши, годами призабравши, что я живу?.. Кисла шаньга деревенска!

И пришла пора-времечко, докатилась час-минуточка, — сделали деревни выбор на Ивана, везти подарки на войну. Эта дорога Ивану под ноги попала, и он повеселел:

— Не то горе, когда дела вдвое. Теперь у меня много детей. Поплыву глядеть... Марья, не реви, не держи меня. Дай от полной души вздохнуть.

На отъезде неведомо как Иван вередил свои серебряные часы. Марья говорит:

— Обрадуй меня, прими от меня золотую сюрпризу, мои красного золота часики.

С войны Иван писал, бойцов похвалял: «Многих доброхотов наших, а все одного моего сердца. Светло и статно промышляют воинским делом. Их ни дождь, ни снег не держит. Болотами идут, по неделе бахилы с ног не скидывают, Отечеству нашему радеют. На воинов глядя, и я молодею. Всего меня переновило, переполоскало».

Теперь до главного дела доходит.

Пришвартовался наш Иванушко к госпитали у Корельских пристаней. Тут лежал сбинтован молодой начальник Марко Дудин. Днем товарищей на совет созовет и так-то их щекотурит. А в ночи не спит. Ивана за руку держит, Иван ему сказку говорит. Будто сын и отец друг друга жалеют.

Германия тогда разъехалась, широко щеки разинула. Наши перешли до времени за озеро. Молодой Марко уж на ноги попал. На него вся госпиталь опрокинулась.

Беспомощных людей сряди и соблюди и за озеро их на пароме переведи.

Марко на всякое дело сам кидается, сон и еду позабывает. Иван Широкий с Марком рядом бегает, его на ходу, как собачку, кормит.

Марко по должности своей приказывает и Широкому сплыть за озеро. Широкий не послушался. Утаился на отводном дворе и вести о Марковых скорых шагах приначивал еврей-гостиник. Прежде госпиталя тут гостиница стояла, и старобытному гостинику поставили кроватку для его древней немощи. Никакими манами не мог его Дудин сманить за озеро. Старичонко бородой тряхнет да костылем махнет:

— Я еще перину буду зашивать. Кто рад без перин-то?

А у Дудина не то что часы — минуты сосчитаны. Некогда стало гостиника нянчить, о Широком обыскивать. Дудин Ивана давно за озером числил.

Марко, скажем, вечером остатную койку на паром погрузил, к рассвету сам изладился, а в полночь враг налетел.

Мятежно было в ту ночь. Иван прибежал в госпиталь, гостиника добыл. Тот шепчет по тайности:

— Пятерых попавших людей замкнули в палате. Марко в том числе. На заре им будут языки тянуть — спрашивать.

Иван спросил:

— Тебе-то не потянут языка?

— Мне, Иване, за восемьдесят. Умру — и все тут.

— Дедко, ты разумеешь немецкую речь. Как бы мне докупиться до Марка?

— Караулит нашего Марка немецкий Тырк Обезьянин. Чем ты его купишь, Иване?

— Есть у меня золотая сюрприза — червонные часы и с цепочкой.

Гостиник привел Ивана к дежурному Тырку и, хотя через порог едва ноги переволок, вежливо справил челобитье и сказал:

— Господин начальник, этот купец желает преподнести вам золотую сюрпризу. Взамен просит отпустить одного незначительного человека.

И в те поры Иван показывает из своих рук золотые часы.

За перегородкой храпели другие немцы, и Тырк говорит осторожно:

— Можно. Имена и возраст арестантов еще не переписаны. Но я принял пять человек и должен сдать пять человек.

И тут дело преславно бывает. Иван говорит:

— Ежели надобно только пятичисленный комплект соблюсти, то возьмите меня в это число, а молодого человека, Марка Дудина, отпустите.

Тырк говорит:

— Давай часы.

А Иван часы в пазуху прячет:

— Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать, я зареву, придется тебе с комрадами делиться. И еще ведай, немец: ни словом не заикнись Дудину, что его некто выменил. Немедля запри меня в сенях, в чулане: я услышу, как Дудин побежит. Ежели по его следу стрелишь, или феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря!

Тырку Обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. Он Ивана Широкого спрятал, Марка Дудина тихомолком спустил со двора.

Отдал Иванушко немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку свободу, а себе, старику, горькую смерть.

Осенняя ночь скороталась. Стали Ивана вязать и ковать. Повели под допрос.

Рыжий фашист вопросил:

— Любопытствую знать: будешь ли к нам прихаживать и слова принашивать, что в Советах деется?

Иван говорит:

— Любопытствую узнать про фашизму, где вы эту грязь покупаете?

— Я тебя муками утомлю! Выручки тебе из Москвы не будет.

— Будто вам из Москвы и писали, что выручки не будет. Столько волосов нет на ваших немецких головах, сколько силы Красной Армии идет на нашу выручку. Будет Корела немецкими головами рыб кормить.

Тогда немецкая аспида исполнилась гнева и, рыкнув, как лев, осуждает Ивана под расстрел. Небось каково было страшно и трепетно, но Иван взял силу больше страха.

День ненастливый дождевой тучей покрывается. Ива-

нушко в последний путь снаряжается... Хлопнули ружья немецкие. Пал Иван честным лицом в белый мох. Того часу и снегу туча велика накрыла болото, и лежал снег три дня.

Безвестно уснул Иван, а слава его полетела на золотых крыльях. Вся река Иванов разум похвалила. Он верховную добродетель исполнил: положил свою душу за друга.

О смертном и славном труде Ивана Широкого узнали в деревне от Марка. Из-под немецкого замка Дудин выбежал в лес. Шел горою и водою, набрел на своих. Искал Ивана — и не нашел...

По зиме, по белому снегу Красная Армия выдула немецкую душину из Корелы. Марко Дудин стал обыскивать в народе про Ивана. Гостиник оказался жив, только после немецкого бываnья трясся всем составом и временем говорил суматоху. Однако Иванову судьбину объяснил внятно.

Дудин от Ивановых рассказов знал нашу пристань и деревню. Приехал к нам весной по первому пароходу. Стребовал Иванов портрет, припал устами и заплакал:

— Отцом ли тебя назову? Но ты больше отца, добрый печальник жизни моей!! Ужасается разум, и сердце трепещет, и слово молчит, похваляя твое великодушие!

Огненными слезами плакал Марко. Не в обычай ему были слезы. Но эти мужественные слезы усладили нашу горькую печаль...

...Утопила Марья свои причитанья и говорит:

— Коли Ивану так было годно, то и мне любо. Сердцу-то жалко, а умом-то я рада. Марко, вези меня в свою гошпиталь полы мыть.

Он отвечает:

— Будешь ты моей маменькой.

## В ОТНОСЕ МОРСКОМ[1]

Про нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивишься, удивишься и устрашишься. Расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали.

[1] В основу рассказа положен действительный случай спасения унесенных на льдине зверопромышленников героем «Челюскина» капитаном В. И. Ворониным.

Бе́ды терпеть да погибать помору не диво. Море — измена лютая. Спроси того-другого робенка в Поморье: «Где тата?» — скажет: «Вода взяла».

...Море нас поит, кормит, море и погребает... А мы вот от морской напасти спаслись и таким ли дивом спаслись, дак всю жизнь на другу сторону повернуло.

Мы — Белого моря, Зимнего берега народ. Коренные зверобои-промышленники, тюленью породу бьем. В тридцатом году от государства предложили промышлять коллективами. Предоставят-де и ледокольной пароход. Условия народу были подходящи. Зашли кто в артель, кто на ледокол.

А я да брат старший Егор Иванович не то что на ледокол, а из своей артели убежали.

Сынишко мой Олександр в колхоз бы любил, да отчишку с дядей перечить не посмел.

Стретьева дня[1] дождались: стали флюгера полуношник ветер сказывать — норд-ост. Зачали наши деревни на промысел снаряжаться. Тюленьи женки в эту пору детей народят, стада зверины на отдых повалятся, и это богатство полуношник к нашему берегу льдинами притянет.

Мы, значит, тройма срядились. Лодочку доспели на креньях[2], погрузили дровец, хлеба, котелок, пики, обулись, оделись по-промысловому, с племенем простились и поволоклись.

Сутки горой шли, други сутки — припаем береговым. На льду и огонек разведем, поедим и выспимся, лодочкой накрывшись. Путь вороны казали: на зверя же летели. На третий день береговой лед кончился, пошла раздельна льдина. Беда беду родит — встречу полуношнику из-за горы побережник-ветер выскочил. Зачали друг другу в лицо мокрым снегом плевать.

Опасен в эту пору побережник: он лед от берега отдирает, нашего брата в море уносит...

Остановились, глядим на своего юровщика.

— Егор Иванович, что велишь?

Он шапку снял, ветра пытает, то ту, то другу щеку подставит. А ветер явно с горы, в спину. И Егор командует:

— Заворачивай обратно! Сей день напромышлялись!

А Олексишко забежал на торос на высокой и вопит:

---

[1] Сретеньев день — 2 февраля старого стиля, начало промыслов.

[2] На полозьях.

— Дядя! Татка! Юрово!! О, коль велико!

Мы охотники природны. Петухом сердца-ти запели. Выстали на льдину, а в полуверсте зверя-то как дров! И любо на них глядеть: посередине матки лежат с робятами. Как бабы в бане, гладят их, моют, плавать учат. Ежели робенок капризит, мамка его и круто в море роет. Кругом как степа нерушима, ограда крепка — самцы-лысуны...

— Егор Иванович, что велишь?!

— Играть давайте!

Значит, надо нам зверины ухватки принять, зверем притвориться. Он нас видит, пущай на своих думает.

Лезем на юрово, по душу его морскую, рукавицами гребем, задом подхватываем, головами покачиваем — как есть тюлени! Спину ломит, колени отпали, а любо это и весело!

Вот мы приехали. Души́на от них! Глядят, говорят меж собой, что-де ихнего полку прибыло... Тут мы прянули на зверя, как волки. Пика свистнула да кровь пробрызнула. Песню поморским обычаем завели:

Сила земна,
Сила водяна,
Земна толщина,
Морска глубина!
Зверь идет,
Зверя ведет!
Четыре ветра,
Четыре вихря.
Ходит сила
Из жилы в жилу.
Зверь идет,
Зверя ведет!
День с ночью,
Медь с кровью.
Стрела калёна,
Тетива́ шелкова.
Зверь идет,
Зверя ведет!

Тюлень упал, и другой — твой, и третий опрокинулся. Любо это и весело. Зверь ревет, мы поем, охота нами обовладела. Знай, железо блестит, кровь свистит да туши ложатся...

И тут, как пологом, побоище завесило, снег стеной повалил. Опомнились:

— Егор Иванович, что велишь?

А ветер-от с горы да с горы. Не знаем, когда он полу-

пошника одолел. И льдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти. Егор кричит:

— Кидай все, попадай к горе на пиках!

Не бежим — летим. И чуем: не стоит лед-от, гонит его разбойный ветер. Полынью перемахнули, другу перескочили и — аминь... Поперек разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам...

И мой Олександр затрясся и меня с дядей — черной бранью... Последнее слово кинул:

— Пошто с народом не пошли! От людей бы нас унесло, телеграмм бы наподавали на ледокол, по маякам!

Егору нельзя духом падать, он юровщик:

— Еще не ревите, еще не конец! Буде, во своем море останемся, всяко нас к тому ли, к другому берегу прикачает.

До вечера ни единым словом меж себя не перещелконули.

Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленины пожевали: душная она, рвало нас. Заместо воды — снег. А тюленьи тушки — и постель и окутка.

На другой день показало Летние горы. Лодкой достали бы берега...

На третий день мы наревелись — жалапненьки Зимние горы в глазах были. Чалились мы за лед, всяко к берегу прибарахтывались. Да где тут!..

Потом трое суток — лед, да небо, да вода. Лед, да небо, да вода... Всего семь дней, семь ночей в Белом море кружало.

Дале туманами шли сутки, не знали, где. А ночь привелась звездна, по звездам прочитали, что шествие льда — на полночь, в океан. Опять Олексишко воет, опять на меня тоска, опять Егор утешает:

— Еще не тужите, еще не конец, еще не смерть! На свету Горлом беломорским пойдем, должны нас с маяков оприметить.

Утро серое взялось со снегом. Влево Лопский берег чернел. Мы до сумерек кричали. На пику рубаху повесили, махали. Никто не услышал, никто не увидел. Только нерпы в воду булькают. Брат лысуна заколол, в распоротом брюхе ноги грели.

Мы с братом каждый про себя знали, что чем скорей

замерзнуть, тем бы краше, но ради парнишки показывали вид надежды.

В Горловине заторами неволило нас пять ден. А лед мелок, не несет человека. Беда беду родит: ноги натекли, у рук персты опухли, с тюленины душу воротит, знобит, все бы спал. Докучаю брату:

— Это конец. Цинга пришла, черна смерть...

Он как стукнет меня по шее:

— Это простуда! Еще не смерть, еще не конец!

На двенадцаты сутки бедствия вынесло нас в Ледовитый океан. А нам все одно — только бы крепче заснуть. И уснули бы вечным сном, да двинуло торосом становым. Наша льдина лопнула. Тут разбудились, прянули на ноги:

— Егор Иванович, что велишь?!

Он огляделся: во все стороны развеличился окиянбатюшко...

Снял наш юровщик шапку и выговорил:

— Брат, племянник!.. Смерточка пришла!

Подает из сумки сверток мне, парню, себе:

— Хранил для торжественного дня. Сей день приходит.

Развертываем. У каждого рубаха смертная долгая, саван с кукулем, венец на голову, лестовка полотняная.

Я заплакал, кланяюсь:

— Благодарствую, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.

А Олександр недоумевает:

— Дядя, разве ты знал, что мы помрем?!

Брат говорит:

— Дитя, вековечной это поморской обычай — смертную одежду в море брать.

Умылись мы, волосы, бороды расчесали, обрядились в рубахи, в саваны, в венцы. Поклонились под южной ветер в родиму сторонушку, с желанными простились.

Великим надежом пал Олексишко да запричитал:

— Мила моя мамушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанна невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра не доиграна! Дорогой подруг Герман Олегович, песенка наша не допета!

Обычай родительской — детищу своему живота, здоровья хотеть, а я тогда сыну одинакому смерточки скорей молил.

Отошел отпев, стали мы друг другу в очи глядеть на последнее прощание. Нагляделись, тогда — обычаем мерт-

вых — глухо заокутали себе лица саванным наголовьем. Легли. И учало нас затягивать в смертные сны...

Часы прошли или минуты, услышал я звон явно, близко. Говорю:

— Брат, слышишь звон?

Он как со сна:

— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале.

Дале я забылся... Да вдруг в самые уши гремит, гудит!.. Дрогнул я, сдернул кукуль, а над головами-то... аэроплан!!! Не блазнит ли? Не привиденье ли? Нет, кружит, трещит... Схватил я пику, машусь да реву:

— Пособите, пособите!!

И парнишко мой:

— Батюшки миленькие, пособите!

А оно скружило над нами два накона и потерялось...

О, горе взяло!.. Лучше бы не казался, надеждой не манил.

Эту ночь наборолся я с Олександрушком моим.

Кричит:

— Дядя или тата! Заколите меня пикой!

Топиться лез. И бил я его, и обымал, и опять бил, и плакал над ним.

А о полдень, как рог серебряный, запел над нами аэроплан.

Мы скакать, мы реветь:

— Помогите!!! Пособите!!!

Что же далее?.. Кружит машина ниже да ниже да надлетела над нами и выронила посылку.

Мы опять:

— Товарищи! Возьмите нас!

Они не слышат. Улетели птичкой.

Посылка в воду пала, пикой добыли. Там консервов две коробки, в каждой фунта по три, сухарей кил пять, мазь кака-та, морошки банка. Вот сколь люди внимательны,— морошечки послали! И письмо. Письмо сто раз на дню читали:

«Товарищи! Мы вчера оприметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. На аэроплан принять вас не можем для того, что льдина мала для разгону. Но мы вас не оставим».

Ну, ожили мы, воскресли. Шабаш помирать-то! Хлебу рады, письму рады. Холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем пиками сидя да лежа. Ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять —

нет того хуже: разводьем плывем — боимся, что от парохода утеряемся; в затор попадем — тужим, что пароходу не пробиться.

Однажды как бы стрельбу услышали, еще машину почули. С той поры без отдыха блазнило: то дымом пахнет, то мотор стучит. Без дня неделю этак... Извелись!

В последнюю ночь сменной ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому... Тут и свисток донесло, и дымом запахло. И метелица нас заносит. Остатнюю силушку собираем, чтобы не угаснуть.

Но как обутрело, тишина стала в мире, и мы головы подняли из-под снегу. Пароход стоит саженях во ста...

Обезумели от радости. Кричим, как на лошадь:

— Тпру! Тпру!

Да ползунком по льдинам-то. И с парохода нас увидали, свисток дали, трап спустили.

Пароходские нас под руки принять хотят, а мы «ура» кричим да им в ноги падаем.

По трапу сами взняться не могли, нас носком занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому поднесли норвецкого. Сам капитан Владимир Иванович Воронин обихаживал за доктора. Он воспитывал нас и беспокоился нами, как отец родной[1].

Дён через десяток я с сынишком помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в мурманской больнице немог. На другой год мы втроем на этот ледокол в коллектив зашли.

Всего погибали мы в относе морском восемнадцать дён. Семь дён в Белом море, пять дён в Горловине, шесть дён в окияне.

## МАТВЕЕВА РАДОСТЬ

На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес.

Матвей Иванов Корельской сказывал:

— Родился я в Корельском посаде на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до

[1] Капитан В. И. Воронин командовал тогда ледоколом «Седов».

смерти робить не замогла, пó миру пошла и меня с собой повела.

Шести лет начал я скитаться по чужим дворам одинодинешенек. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться...

В такой маяте, в такой позорé и вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.

Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье — дождь да ненастье.

Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.

Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.

И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.

У меня такой ум-от обрзначился — нать свое нажить.

Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорной стал; давно ли с сумой бегал, а теперь задумал карбас, свою промыслову посудину строить.

Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем, и рыбы — выше бортов.

Год за годом двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Кореляпин, сколько нужно, на карбас.

До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лопью договорился, мастера в Коле нашел.

Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как имениницу сряжали. Я на работу, как в гости, ходил.

Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце за-

рывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал...

Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы[1] пала несосветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь...

Сутки океан-батюшко нашим карбасом играл как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот озпобил, идти незамог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двои сутки на этой горе волосы драл да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода...

Добры люди доставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, водились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.

Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.

Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли де, мужик, бока править будешь?

Меня ровно кто на ноги поставил.

Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку... А свету! А солнца! А ветру!

И Матюшка Кореляпин от болезни, как от сна, пробудился... Топнул ногой о камень да кричу:

— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!

Так я выздоровел. Опять, значит, работу как бешеный хватаю.

---

[1] Тана — фиорд.

Часов шестнадцать подряд отчубучу, супусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву и паруса, что снег, и я вольный промышленник,— дак и окутки в сторону и постели прочь... И ночь не сплю, работу ворочаю.

Люди надо мной посмеиваются: «Пока, — говорят, — Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».

Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно — да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности...

Поморская земля нехлебородима: зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр — он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.

Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:

Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!

И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситцу купить негде.

Теперь понимаете, как трудно копейку ту откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-та волюшка.

У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят да лежат да перевертываются, а я не могу тихо работать.

Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.

...Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин

осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.

Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.

Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряживался, не гуливал... Купил в Норвеге брюки клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок шейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.

И... тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.

Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».

А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.

Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матреша моя и мужскую работу могла. Тес тесала, езы[1] била, кирпичи работала...

Ребятишки родились — труднее стало. А Матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет...

В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.

В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шкупы, одна — что твой фрегат.

В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу па чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».

Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.

Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.

---

[1] Езы — колья, которые вбивают в дно реки и переплетают прутьями для ловли семги.

Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.

Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.

По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.

Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.

Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встает, запосматривал на меня не мило.

Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:

— Эй, любезный! Люди смеются, да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!

— Про людей не слыхал, — говорю, — может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.

Он зубы оскалил:

— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по-моему, спустить бы тебе на воду пищу коробку, с которой по̀ миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!..

Это он меня да матерь мою нищетою ткнул...

Сердце у меня остановилось:

— Ты! Ты, который нас по̀ миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди... Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кругом народ, стоят, молчат.

Уж не помню, чего я еще палягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь.

Иду — шатаюсь как пьяный. Сердце себе разворедил.

Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник все слышал, он Зубову слуга... И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!.. А мимо пристани гальот

знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.

Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.

Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.

Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул...

Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:

— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкупарку свою ладишь стряпать?

— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два...

Он воровски огляделся:

— Ну-ко, зайди в сени.

В сенях и шепчет:

— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?

Я и глаза вылупил, а он:

— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.

Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю, — как мед пью. А Васька поет:

— Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч на восемь... Понимаешь, Матюша,— Васька-то говорит,— мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь... тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то по три тысчонки на брата...

Я глазами хлопаю:

— Это кого же вы в братья-то принимаете?

— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты положишь.

Я заплакал:

— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего

у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.

— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.

Я воплю:

— Дай до утра подумать!

Ночью с Матреной я ликую:

— Три тысячи барыша... Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, — говорит, — Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу...» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!

Жена говорит:

— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.

Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:

— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!

Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили.

Потом меня вызывают. Чиновник бумагу сует:

— Подпишись.

А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге писано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.

Накаракулил подпись, может, задом наперед, — и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:

— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.

Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.

Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывают, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.

Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошел.

Весь распался что-то, весь поблек.

Жена уговаривает:

— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах,

в конторах да в банках задержки. Может, Зубов и денег еще не получал.

А у меня сердце болит, в трубочку свивается.

Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.

В паужну сам полетел.

Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. «Может, — думаю, — семейные мешают». Шепчу:

— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету...

А он на всю избу:

— Что? Какие у нас с тобой секреты?

— А дельце наше, Василий Онаньевич?

— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!

— А пароход-то!

— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.

— Да ведь деньги-то у меня брали...

— Что? Я у тебя, у голяка, деньги? Ха-ха-ха!..

Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.

— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?

— Какую бумагу?

— Зимой делали.

— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.

Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся.

Зубов рявкнул:

— Читай Корельскому его бумагу!

Писарь читает:

— «Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.

*М. Корельской».*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!

Всё отнял Зубов, оставил с корзиной...

Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатние

деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную.

После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся.

— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?

Мужики ответили:

— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку.

Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.

Да я бы так не убивался, кабы одинокий был. Горевал из-за ребят, из-за жены.

С воплем ей говорю:

— Ой, Матрешка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!

Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:

— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни, деревня-та как за нас восстала... Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!

Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:

— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова...

— Все хозяева с зубами.

Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздольицу поплаваю... Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.

Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть, — откладываю робятам на первой подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненной путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.

После Зубова разоренья еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено... Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору.

В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.

Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:

— Робята, походите у меня по спипе-то...

Младший Ванюшка у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:

— Мама, мы тебя сломаем...

Тяжелую работу работаем, дак позвонки-ти с места сходят. Надо их пригнетать.

Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:

— Матрешишко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!..

Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..

Что же дальше? Дальше германска война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дерьгаюсь; только и свету, что книжку посмотрю.

А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительно собрание срядился.

Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасно утро бреду с завода, а в Сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг... Что стряслось?

— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла...

Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины[1], как тигра, выскочит...»

С женкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.

Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:

---

[1] Лесина — дерево.

— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!

Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел...

Шепчу соседу:

— Зубов где?

А председатель на меня смотрит:

— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?

Я встал во весь рост:

— Василий Онаньев Зубов где-ка?

Народ и грянул:

— О-хо-хо-хо!! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О-хо-хо-хо!!.

Председатель в колокольчик созвонил:

— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротищи[1].

— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!

— Странный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении...

— Я?.. В моем?..

— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.

Я заплакал, заплакал с причетью:

— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, по погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: «Полетим, — говорит, — по широкому морскому раздольицу!» Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо...

И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:

---

[1] Воротища — возврат, возвращение.

— Просим, Матвей Иванович! Просим!

Ну, и я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:

— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!

...Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с робятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным баном, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыми карнизами.

Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыма литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Карела».

За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спущать. Народушку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.

Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской погибели... Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:

— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»

Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».

Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят...

Двенадцати годов я начал за большого работать.

В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждый болт — наш батрацкий год. Каждая спастиночка нашим потом трудовым просмолена, каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена... Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.

Уж очень это любо!..

Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не велики еще годы... Десять лет на «Радости» капитаном хожу.

Как посмотрю на «Радость», будто я новой сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.

Оногды земляна старуха[1], пустыньска начетчица, говорит мне:

— Дико̀й ты старик, — все не твое, а радуиссе?!

А я ей:

— Ди́ка ты старуха,— оттого и радуюсь, что все мое!

## ОФОНИНА БАБУШКА

Наша Корела от всея Руси болотами отгородилась. А достаток от всея Руси берем. Мужики на все лето в Русь, к морским пристаням, убежат.

В гражданскую войну мы на рубеже привелись, одна нога на полдень, в красной половине, друга — на полночь, в белой. Мы со всей волостью в красну тянули. В красну рекрута ушли, в красну промысел сдали. Бела обиделась, пала на грабежи. Разговор стал такой: «Там-то бела хлеб отняла, там-то мужиков увела, деревню сожгла».

---

[1] Земляная старуха — старая, вот-вот умрет.

Ждем напасти, а житье править надо. С Покрова белка побелела, мужики в леса побежали. Внук мой Офонасей промышленник не из последних. Бывало, шуточкой срядится, а тут оружье за плечами, собака у ноги, три раза круг дому обошел, постоял, головой покачал:

— Не идти не можно и идти тошно. Баба, карауль пуще, этта вся сила складена...

...Я молода овдовела, дочь Офоньку родила — умерла, зять у сплава утонул. Внучек Офоня смала, как мужик, заработал; добытчик вырос, зверя бил, птицу, рыбу добывал. С германской войны воротился, листов, книг навез, стал про Ленина внушать. Народ впялись, рассудили красной власти держаться...

...Неделя прошла ли, летят наши промышленники обратно; а Офони нету.

— Бела идет! Побегайте в волость!

— Мужики, где мой Офоня?

— Они тройма в волость погонили за помощью. Там красна часть.

Мужики коней запрягают, женки причитают. Надо бежать. А с собой, кроме одежды да хлеба подорожного, ничего не возьмешь. До морозов на Русь дорог нет, только тропы звериные. Я говорю:

— Бабы, есть у нас на бору девять берез, десята сосна вилована. То наши кладовые.

По беличьим дуплам всю одежду мужску и женску, хлеб, у кого сколько запасу, посуду медну, оловянну упрятали, кожано да железно по сенным зародам распехали. А снег падат, следы замолаживат. Мышам не найти.

— Теперь, бабка, бежать!..

— Как хотите, мужики, мне от деревни не оторваться. Этта сорока кашу варила. Это гнездо мой дедушко свил. Я в каждом доме всяк сучок знаю, я всем прабаба, — мои это дома.

— Офонасей наказывал тебе от народу не оставаться.

— Велика ему радость будет: «Офоня, я все бросила, к тебе гола прибежала». Бежите, а мне без хозяйского догляду нельзя деревню оставить. Офоня с Красной Армией воротится, кто их стретит?

— Убьет тебя бела.

— Паду, да под своим потолком!.. У меня в Заозерье Егору шесть шаек банных заказано, ужели все бросить!

Ушли. Одна я осталась барыня на всю деревню. Двои сутки ждала белу-ту кость, перепрятывала кое-что.

С Митревой субботы в ночь на воскресенье налетело их как ворон. По-русски говорят и не по-нашему лекочут. Иностранцы-ти высоки, под полати не входят, морды бреты.

Выпалили раз десяток для опыта, с обыском пошли.

Ко мне какой-то полковник Каськов на постой стал. Тако начальниченко бедово, с нерусскими — малина, со своими — собака ядовита. Я принялась полы мыть: увидит, что хозяйка, не сожгет дом-от. А он меня под допрос.

— Где народ?

— Разошлись по своим делам, кому куда ближе...

— Народ ушел к красным. По которой речке, в котором чертовом болоте красный штаб?

— Ты почто эко-то спрашиваешь стару старуху?

— Ах, ты по старости осталась! Мы, дураки, думали, шпионить...

— Осталась — радею своему месту.

— Пушной товар красным сдан или спрятан?

...Скажу, что красным сдан, — деревню спалит; скажу, что спрятан, — скажет: веди, показывай...

— Сдано купцам проезжающим. Откуда приехали, куда увезли — адресу нам не оставили.

— Одежда где?

— Ваша — не знаю где, моя на мне: пестрядинник да рубаха. Еще маменькино полукапотье в коробейке — зад стоячий, перед шумячий...

— Хлеб в лесу или в поле заборонен?

— У нас этой моды нет — прятать.

— Ну, а я тебя спрячу под замок на мороз...

Свели меня в подполье. Холодно, темно, окошечко — кошкам ползать. На крыльце часовой русской, на повети — иноземец. Вот как я! У меня стража изо всех держав! А перекусить нечего, забыли бросить кусочек.

На утренней лазори в понедельник повели печи топить. Начальниченко мимо прошел, я не поздоровалась: пропал бы ты кверху ногами! Под мой потолок зашел: да как воровку под полом и морозишь... А меня и к допросу. Их людно сидит, стратилатов. Каськов говорит:

— Мужик из лесу нам все рассказал, где штаб, где хлеб и прочее. И тебе нет пользы запираться. У нас записано...

Я говорю:

— Записано, дак вы читайте. Я неграмотна.

Сгрубила им эту грубость, нерусской в медалях и подходит:

— Ваш муж сбежаль. Его гардероб где?

— Наш муж уж двадцать годов, эво куда, на мертву горку, сбежал. И гардеробу на нем — деревянный тулуп о шести досках.

Командиришко полтуши ко мне и поворотил, у его глазки сделались кровавы:

— Копайте себе могилу рядом.

Покосился мне вслед:

— Храбрый, не плачит.

Я вышла, не сморщилась:

— Поплачу, да не при вас...

Возле мужа, под приметным вересовым кустышком, снег разгребла, — три аршина вдоль, полтора поперек, и моху вершка па два сняла. Мое вечно место обозначилось. Тут заплакала:

Стойте, резвы ноги,
Подо мной не подгибайтесь.
Машитесь, могутные руки,
Заступа не выпущайте.
Всем могила надо,
Никто сам себе не роет.
Я сама себе яму копаю,
Себе похоронну припеваю.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глаза страшатся, руки делают. По колено выкопала. Суморок пал, домой свели под пол. Смилостивился нерусской солдатик, хлебца подал и половик окутаться. А то бы до смерти ознобило.

Во вторник Каськов опять про хлеб, про куньи меха нажимал. Сам с похмелья, исподлобья выглядывает:

— Ты понимаешь, Немирова, что против царя идешь?

— Царска власть из России, как вода из утлой посудины, вытекла.

— Это тебе не Ленин ли сказал?

— Хоть бы и Ленин. Ленина слово по всем рекам розвезли.

— Кто же именно разносит?

— Что леспу тетерю спрашивать. Суди, как знашь.

— Таким, как ты, суда нет. Сострелим — да в яму. Копай иди!

Я досель не вникала в Ленина-то, а тут под горячий час за Ленина стала. Раскуражилась, дверью хлопнула, пошла.

Этот день еще по вот чему помню. С иностранным человеком прилежно поговорила. Я ширюсь в могиле-то, ругаю их, обменов[1] заморских, а заморский солдатик и сует мне четыре галеты. Говорит:

— Болшевик добра.

— Есть добра, — отвечаю, — Ленин!

Он опять карточку показывает, кто-то спят молоденькой:

— Ми братер, спать земля Архангель.

У меня сердце отдало, как из-под снегу трава выскочила:

— О, верно, верно! Бесчисленно па войны пало молодых да именитых, а мне, старой гагары, что не помереть! Удалы да пригожи безвестно кучами валяются по дорогам, а я, грязна ворона, буду шириться на славном буеве, под приметным вересовым кустышком...

Он еще меня утешат: сухой листик в яму бросил, на меня указал. Опять поняла:

— Верно, верно! Лист не тужит, что завял да с ветки упал. Так и старой человек. Я, дитя, не хочу на могилу обидеться, а о том тужу, что начальники ваши — звери-съедники. У нас Ленин каплю пота славит и мозолистым рукам честь воздает, а вы истребляете честной труд. Сожгете Заозерье либо до окладного бревна раскопаете. Сколько мастерства пропадет, сколько богатства! Полы, потолки, рамы, двери, лавки, столы, бороны, сани, ушаты. Работано все гладко да чисто, тесано да строгано. Сколько у моего Офони ловушек на зверя, на рыбу, сети, верши. Два стула венских... Сколько он работал, как трудно заводил...

Кто знат, много ли понял нерусской-то. Я его поблагодарила за хлеб:

— Мне совестно у вас брать. Вас, верно, самих хлебна нужда из-за моря выгонила?..

Он это не понял.

Во вторник по пояс выкопала. Я все эти дни в памяти собрала. В какой день что было, все помню.

---

[1] Обмен *(ругательн.)* — обманный, подделанный, фальшивый (человек).

Со вторника на среду западной ветер переменился на север. Ночью вызвездило да пал мороз. Знай, бревна лопаются. Сижу под половиком, как кукла, зуб до зуба не доходит. Хорошо бы эк до смерти затрясло... Не поспела помереть, живу отомкнули.

В избы солдатишшов толсто.

Накурили — окон не видно. Болота подмерзли, дак разведка за озеро походит. Каськов тоже сряжен по-дорожному. На столе планы, начальники карандашком пишут, волость именуют. Меня горе берет: «Не наших ли убивать походят?»

Солдаты вышли, Каськов говорит:

— Не взялась за ум, Немирова? Застрелю середи полу!

— Стреляй! Помереть нашему брату краса.

Нерусской в медалях на меня поглядел:

— Что есть краса?

— Как не краса. В лесах замерзать не надо, у сплава тонуть не надо, с землей биться не надо, начальников бояться не надо, водку пить не надо, драться не надо, реветь не надо.

Нерусской в очках ко мне подошел, стал возле носу рукой водить, мне велел за его пальцем глазами ходить. Вверх, вниз, вправо, влево... Верно, доктор. Засмеялся, сел. Им нечего делать, они вымышляют надо мной. Каськов говорит:

— Немирова, я буду в отлучке да воскресенья. Захочешь жива остаться — укажешь тайники, а нет — к понедельнику тебя кончим.

— Мне-то что, кончай. У меня не дети малы.

С этого часу стала сила худо забирать. Яма глубока, глызы тяжолы, выздынешь лопату, глина обратно.

В среду я до подпазухи в землю ушла. При звездах домой увели.

А в каськовску квартиру нерусской с медалями перешел. Песня да пляска учинилась для новоселья. За полночь топтались да гайкали. «Что же, — думаю, — неужели не вспомнят, что под полом старушонка мерзнет, как торокан?»

В четверг к допросу уже не водили, нерусской начальник приказал могилу кончать. Четвержной у меня был прощальной день... В последний раз деревней иду, некому слушать, а не могу в себе жать.

Мое житье скороталось,
Мне три дня веку осталось.
Прощай, прекрасно место Заозерьско,
Простите, порядовны домы.
Сколько по дворам обиходу,
По анбарам промыслового доспеху!
Простите, топорища гладкие,
Ездовые шесты мягкие,
Прости, колье огородное и жердье сосновое,
О, сколько богатства, сколько хозяйства!
Не на кого оставить, некому доглядеть.
Дорога-то встала,
Кабы Красна Армия сюда прибежала.
Ужель прекрасно место Заозерьско
Белым под ногу бросят!..

До Мертвой горы шла, пела. Что вижу по пути, с тем и прощаюсь. Часовой незнакомой, а не унимат: командиров нету близко.

На морозе не будешь тихо шевелиться. Засветло пошабашила. Глубока, суха, хороша могилушка... Сама вынуться не могу, часовой за руку вытянул... Перед глазами вся красота поднебесная. Зимня заря догорат, и озеро видать, и тундру, и лес. А за плечами — земля, мати всех ширит на меня многоядными устами...

Пора с белым светом проститься. Всему стала кланяться:

Прости, матушка тундра, ягодна,
Прости, батюшка ветхово рыбно озеро,
Прости, мати, сплавна Курья-река.
Прости, прямотелой бор,— корабельщина.
Прости, кормилица нива житная,
Прости, сударь белой снег,
На сенных угодьицах поляживашь.
Прости, Ленин господин,
Я твоего лица не увижу,
Твоей грамоты не узнаю.
День пришел в гости к вечеру;
Легла секира при корени.

Внученько Офонасьюшко! Ты маленькой был, бабки дома нет, все на окошке сидишь да ждешь.

Теперь я тебя не могу дождаться,
Приходит на меня жатва.
Ты домой воротишься,
Далеко не расхаживай,
Широко не обыскивай.
Меня укрыла сыра земля
От частого дожжичка
И от красного солнышка.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мне бы жалобиться негоже, да домашности жалко, деревенских жалко... А воротятся, дак они где будут меня искать? Надо признак оставить... На мне сарафанишко красный, пестрядинной. Дай флак по себе оставлю; я того достойна. Хочу кромку оторвать, не могу. Пряла сама, ткала сама, шила сама, на сто годов загадывала. Зубами за заступом отсадила оборки аршин да вересовой куст, которой у меня в головах будет, и повязала.

Часовой солдатенко давно за подол тянет, бегом в деревню погонил. Замерз, бедной.

Я тоже в худых душах сделалась, уползла в казематку-ту, пала как сноп... В головых дресвяной камень, а вижу: вот я маленька, с таткой плыву на струге речкой. Сунула шест-то, дна не достала, сама в воду ушла.

...Очнулась — пятнична ночь за окошечком... Опять вижу, будто избу топлю, охапками дрова ношу, а согреться не могу. Огляделась — середи снегов печь-та. Ни стен, ни кровли.

Не знаю, как до всхожего дожила; спина одеревенела, руки не подымаются. Наработалась больше, хоть ременкой стегай, не пошевелюсь. Стала пятница светать.

Над головой обмен заморской шагат, а по мою душу не посылат, ни топить, ни мыть не ведут и милостинку не несут. Понимают, что день коротенькой, много ли уешь?.. Пятница постояла, тьма голову накрыла. Ходьба перестала, ночь пошла глуха. И рука спит, и нога спит, ум во вселенной плават, вижу грады и корабли...

И вот чую, в ворота кольцом боткают. И Каськова голос, кричит кабыть с перепугу. И по всей деревне громко стало, снег заскрипел, люди заходили... К оконцу подобралась, стеколышко проскоблила: по звездам — немного за полночь. Что же они середи ночи засбивались? Каськов почему рано воротился?.. Оли до зорь эту хлопотню расслушивала. Изнемогла, хлоппула на пол.

...Прохватилась — в окно суббота синет.

Каськов-от приехал!.. Сон прошел, страх пришел: меня ведь стрелять потащат.

...Умерше-то платье вверху, в сундуке; рубаха там, и костыч, и плат. Срам — в грязном пестрядиннике лечь; подол — как собаки выгрызли. Дай караульного достучусь, стребую хоть рубаху да пояс. Обязаны последню волю исполнить.

Приправила в дверь стучать. Постучу да послушаю...

Колотилась, колотилась, ревела, ревела — гробовая тишина. Куда извелись?.. Видно, это сонна грёза была, ночной-то переполох. И Каськова голос сном показало... Для чего же вся деревня спит? Иноземец наверху не ходит почто? Ведь полдень по свету-то... Я не оглохла ли? Перстами возле уха пошабаршила — слышу.

Зимний день показался, да и нет его. В потеменках увидела домову хозяйку. Прошла с ведром и с вехтем, подол подоткнут — мыть срядилась... Я поклонилась:

— Мой-ко, хозяюшка, благословясь!

Сама думаю: «После кого же она мыть срядилась?»

...Часы не считаны, сижу середи полу... Почто же тихо-то припало? Я не умерла ли? Может, это я на будущем в мрачно место посаждена без суда навеки?! Ужаснулась, щупаю круг себя. Кабыть наше подполье, и окошечко тут, и на двор захотела. Значит, еще на сем свете.

На ночных часах сбагрянело оконце-то. Кто горит? Стеколко оттаяло, — по земле снег, по хоромам снег, а небо кроваво. От востока до запада сполох играет, ходят столпы огненны, как в море волна... Что же тихо-то в мире? Может, я одна во всем свете? Хотя бы собачка лайконула, хоть бы петух звопил...

Зубы затрясло, заокуталась постилахой, залезла в угол. С этой ночи потеряла время. Ум стал мешаться, не знаю — часы идут, не знаю — дни.

На дневных ли, на ночных ли часах увидела себя на бору, бежу боса и нага. А на каждом сучке белка: в этих бы белках шубенко сошить! А впереди мужик с собакой. Ружье признял, двенадцать раз стрелил: «пык-пык, пык-пык...» Белки нападало, как снег. Он ко мне поворотился: «Обирай!..» И узнала Ленина — красив, толст, велик... Хотела вякнуть с радости и... опамятовалась, и чую: «пык-пык-пык» — явно палят от деревни на полдень.

— Стрелять начали! Сейчас за мной придут! Неготову, ненаряжену, без домовища в землю складут...

Ползаю по полу-то, реву:

— Красавица моя смерточка! Ты за мной сторопилась!

...Еще по разу бабахнуло близко возле домов. По улицы побежало... Скорее бы конец!.. По лестницы зашло, по дому застукало, зовет кого-то... Голос знакомый, а не помню... Опять круг дома и на поветь... Называт кабыть ме-

ня. Меня ищут... Сами под пол посадили да сами и забыли... Нет, спомнили — дверь подергало да и позвало:

— Баба!

— Офоня!!! — Хочу зреветь, дышанье захватило...

Он замок отвернул:

— Бабенька!

— Дитятко!..

...Я дня три глупа была. Потом стала радоваться. Дальше да больше.

Вот как дело сотворилось: Офоня в волость с вестью прибежал, они с ним враз на Заозерье отряд для выгонки белых послали. До морозу худа была попажа. Наших с обозом встретили. Офоня ругал их, плакал, что безумну старуху одну бросили. Мороз пал, отряд напрямик побежал. Каськова разведка это унюхала, как пробка из суземов вылетела. Не до того было, чтобы наше Заозерье зорить, успеть бы людей да багаж собрать.

Этот переполох я и слышала ночью, да ко сну применяла.

Бела к субботе в ночь ушла, красна в понедельник пришла. Два дня деревня порозна была; то и тихо стояло.

Поругал меня внук-от, что осталась от народа:

— Много ты мне, бабка, печали придала!..

— Тебе, Офоня, от безделья печалиться. Мне дак недосуг было печалиться: деревню караулить надо, за белыми доглядывать надо, иностранных людей наблюдать надо, могилу копать надо... Да, Офонюшка, вы Заозерьем проходили?

— Проходили.

— Ты Егора видал?

— Мне и ни к чему.

— Вот ты делов-то наделал! У меня Егору Заозерскому шесть шаек банных заказано. Растащат теперь белы.

С Офонькой на лавке красноармейцы сидят. Он смеется.

— Моя бабушка век такая! Ей кол на голове теши, она своих два ставит...

Красноармейцы говорят:

— Достойно бы твою бабушку при почестях перед войсками на блюде носить или на кореты возить!..

Я их всех захватила распростертыми руками:

— Деточки, я заживо смертну нужду перешла. Теперь как вновь на свет родилась. Учите меня в справедливу ленинску грамоту, а то я Ленина называю, а ничего не понимаю.

## ПУГОВКА[1]

...К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричат: «Наторова, ты примешь пальто...» В клубе жарко. Ленин стал говорить, скинул пальто на стул. Я схватила — да в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала да на ленинское пальто и пришила толстым номером, чтобы надолго. Он уехал, не заметил. А пуговка немножко не такая... И так мне это лестно, а никому не открываю свой секрет.

Тут порядочно времени прошло. Иду по Литейному, а в фотографии «Феникс» в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем самое... Я попристальней вглядываюсь — и пуговка та самая, моя пуговка.

Он в эту же зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейной заветной тот портрет...

Он у меня около зеркала в раме теперь.

Каждый день подойду, посмотрю да поплачу:

— А пуговка-та моя пришита...

## КАК ФЕДОСЬЯ НИКИТИШНА У ЛЕНИНА БЫЛА[2]

У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией и скончался. Так что и жалованье недополучено. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом, как с пирогом. Только и спросили: «А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?»

---

[1] Слышал в Ленинграде, на Волковом кладбище, от приезжей из Архангельска Наторовой.

[2] Слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году, рассказывала женщина, ехавшая из Архангельска в Ленинград к мужу.

Зима нас прижала, мамаша говорит:

— Все Ленина хвалят теперь: не сбродить ли мне в Смольной-то?..

Какое-то утро встаем — нету старухи. Думаем, у обедни, а она это в Смольный угребла... И подумайте-ка, ползала-ползала там по кабинетам да на Владимира Ильича и нарвалась... Пишет он, запивает конфетку холодным чаем...

Она нисколько не подумала, что это он сам, тогда портретов-то мало было, и спрашиват:

— Вы, сударь, на какой главы: на письме или на разборе?

Он рассмехнулся:

— Как приведется, сударыня. Вам на что?

— Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу. Говорят: «Твое дело, Федосья Никитишна, изо всех начальников один Ленин может распутать...» А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю: экой господин многограмотной, уж, верно, не из последних начальников... Где мне Ленина искать, не войдете ли в мое положение?..

Преспокойно уселась да вкратце и доложила.

У Ленина глаза сделались веселы, расхохатыват...

— Верно, Федосья Никитишна... Без Ленина обойдемся.

Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал:

— Товарищ, срочно оборудуйте Федосье Никитишне ее дело.

...Мамаша домой приходит и деньги выкладывает:

— Все начальники в Смольном хороши! И без Ленина дело сделали.

А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку:

— Вот купила начальника, с которым в кабинете-то сидела...

Мы взглянули, да и ахнули:

— Мамаша, ведь это Ленин и был!..

## РАССКАЗ СОЛОМОНИДЫ ИВАНОВНЫ

У нас родитель беда грозный был.

Еще ребята никто не родились, мамку пришли подружки на игрище звать:

— Марфа, пойдем на качели.

— Ивана дома нету.

— А что там Иван, приведем таку же.

В вечерню домой явилась, муж не глядит.

— Где была?!

— На качели.

— Неси вожжи.

Она сходила за вожжами да в ноги:

— Прости, Иван, боле никуда не пойду.

До старости нигде не бывала.

Братишко пяти годов баловал да окно разбил. Татка его схватил, засек до кровей. А мамка ткет, слезы ручьем бежат, не смеет молвить. Братишко из-под ремня ей кричит:

— Мамушка, мамушка! Не плачь, мне совсем не больно!

Я семи лет овец пасла, с ягнятами заигралась, овцы в огород зашли... Татушка был ростом велик, я маленька... Меня за рубашонку повесил — да ремнем. Я как птица... Сек, сек — под порог свистнул.

Братья уж не молоды были. Андрей вдовел, у Мартемьяна ребят двое. Жили — не делились. Родитель коня купил с изъяном. Мы не смеем язык высунуть, что конь худой. Уж через месяц в праздник братья выпили да просказались:

— Кто рад — эку клячу!..

Родитель с полатей и заспущался, страшной, грозной.

— Андрей, подай сюда узду!

Брат узду в руки подал. Родитель схватил узду лошадину да удилами его по лицу.

Шибанул узду под порог.

— Мартемьян, подай узду!

Тот увернулся от отцовской руки — да в двери.

Неделю прятался. Татка его в соседях нашел, в ноги сыну падал, прощался.

Никто никого эдак не боится, как мы татки боялись.

Так его боялись, без брани, а как он заходит в избу — в глаза глядим, какой взгляд.

Мы рады, как он на промысел уплывет. Мы его не по-

рато жалели. Он и маленьких нас на колени не бирал.

Девкой я семь годов кряду с таткой семгу промышлять ездила по рекам. Семь годов молчала... Я как вода. Он куда скажет, я туда. Он меня не бранил. Он жалел меня...

Не очень так, чтобы припадал... Однажды на полатях лежу, шубу с краю подложил:

— Моя-та дева упадет!

Я выросла в такой грозе, дак человека не найти, чтобы я не уладила. Худо без добра не живет.

Было купил мне татка о празднике шелковой плат. Надо в ноги поблагодарить, потом нарядиться, я не поспела, в часовню обновкой хвастать побежала. Татка и обиделся:

— В нонешних детях благодарности нету. Им бы схватить, а за труд не покорились.

Мамка выскочила мне навстречу:

— Поди скорее, поклонись отцу!

Я — в избу, он на печи. Я думаю: пасть бы в ноги, дак спит. Что печке кланяться? Лучше подожду — с печи полезет, упаду ему в праву ножечку... До ночи караулила в обновке...

У нас река была бедна; серо-серо наряжались. Заведем обновку, дак уж навек. Завод у нас очень трудной.

...А мы не тужим. Работа грязна, в тряпках весь век ходим. Починенное лучше нового радеем: хранить не надо.

Татушка восьмидесяти годов помер. Болен не бывал, голова не баливала. В избушке сине от угара, ему ладно. Сколько он зверя — медведей, лисиц, куниц, росомах, белки,— сколько птиц, сколько рыбы добывал!

...В умерший день с утра заскучал:

— Подайте ружье, я хоть к сердцу прижму... Нет... Напромышлялся... Возьмите мое ружье!

Лег на лавку. Больше и все. Я плакала ему:

Кого мы будем бояться?
Кто теперь будет грозить?
Все будем сами себе больши,
Все будем порозь глядеть.
Некому будет связать...

Я замуж ушла. В нашей стороне замужем жить, надо лошадину силу иметь. Мужики — с лесом, а женки — с пашней. Земля не оправдывает, а от нее не отвяжешься. Кабы не лес да не белка, мы бы померли. Мужа на все лето в леса провожу, сеять надо.

Шесть пудов ржи посею. Поле одна выпашу сохой.

Дома ложки не могу донести до рта, трясутся руки. Лица умыть не могу. На гору с ведрами ползунком ползу. Страда у нас, как гора, прикатывается. Свое рано выжну, к чужим наймусь. Смолода я триста снопов в день жала. Уж не глядела на небо, без расклонки жала, стоять нехорошо, и сидеть нехорошо, жнея коль совестна.

Однажды я пять рублей выжала у богачки.

Вот эдак пашем, копаем, сеем, смотришь — утренник[1] пал, и все пропало... Урожая нет, дак леса начнем проведывать: леса уж сколько опять поддержат. А иные пойдут за белкой, за зверем — снег-то нападет.

Когда хлеб приходит, тогда и ягоды — морошка, черника, брусница. Вот делов-то у баб! Я за десять верст по ягоды ходила, по две ночи в лесу ночевала. По два пуда зараз вынашивала. Устану как!.. Опять без грибов не прожить. По борам хожу, все посматриваю: медведь бы не попал. Медведицы — они бедовы! Съесть не съест, а уж выпугат!..

Осень придет, прясть надо, и ткать, и молотить.

С тканьем да с пряжей все, все убились!

Тканье еще легче, а пряжа — ой!.. Кудели-то чистишь... Легче стало, машины пошли да ситцы.

Горе и с ребятами было. Одни растут, другие родятся. «Ау» да «ау» — уши сквозь. Бедны байкают:

Спи-усни.
Хоть сейчас умри.
Татка с работки
Гробок принесет,
Мамка у печки
Блинков напекет.

Мужа на германскую войну спроводила, лес рубить в артель скупилась с маленьким Ванюшкой.

Снег под пазуху, лес охватом не охватишь... Дерев шесть-семь ссеку и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело порато кору обделывать морожену — она ледяна: топор соскакиват, топор со всех сил надо держать.

Иванушко мне помогал, девяти годов, топорком и лопатой.

В потемни в лесную избушку бредем. Там повалком мужики лежат: угар, табак, матерщина. Под порог упаду, сплю, как убита, на себе все мокро.

Мужики меня в артель брали, думали: «Бабенка — как

---

[1] Утренник — весенний или осенний мороз по утрам до восхода солнца.

кошка, пустяки на ейну долю приведутся». А увидели — не меньше их выколотила. Стали посматривать косо.

Канун рождества стали от артели отбрасывать. Слез у меня сколько было! А Марута, мужик рассудительный, уговаривает: «Не реви! Плюнь на всех! Проси на рознь...» Выпросила участок особо. Мороз градусов сорок, сорок пять. Идешь в лес-то, зубы ломит. А там как слупишь дерево, да снегу аршина на два, да кору как железну обделаешь, дак все сбросишь. В одной холщовой рубахе — и то мокрехонька, как мышь...

# ГОСУДАРИ-КОРМЩИКИ

# РАССКАЗЫ О КОРМЩИКЕ МАРКЕЛЕ УШАКОВЕ

Русский Север долго хранил устную и письменную намять о морской старине, замечательных людях Поморья. Сказания о морской старине бытовали в морском сословии Архангельска и передавались из поколения в поколение. Включенные в данный раздел рассказы являются художественным осмыслением слышанного и записанного мною в молодых годах, запечатленного в памяти от тех ушедших времен.

Примечательными представителями «поморских отцов» были Маркел Ушаков, Иван Порядник (Рядник), Федор Вешняков.

Маркел Иванович Ушаков (годы его жизни: 1621—1701) видится нам типичным представителем старого Поморья. Он имел чин кормщика и, кроме того, был судостроителем. С дружиной своей он жил «одноду мно, односветно», поэтому и товарищи его были ему «послушны и подручны». Сведения об Ушакове и Ряднике взяты мною из сборника поморского письма XVIII века «Малый Виноградец». В начале двадцатых годов сборник этот принадлежал В. Ф. Кулакову, маляру и собирателю старины, проживавшему в ту пору в Архангельске. В рассказах я старался сохранить эпизодическую форму повествования и стиль речи поморского автора, избегая излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи того времени.

## МАСТЕР МОЛЧАН

На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана.

Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как его понять. Старик все делает сам. По всякую спасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убери.

Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают. Но у старика брови как медведи, бородища из-под глаз растет — поди улови взгляд. Маркел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.

— Морж, сущий морж! — обижался Маркел.

Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера. Тот пробурчал:

— Что, у меня своих рук нету?

Маркела горе взяло:

— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не пырскать в бороду, как козел! Тебе неугодно, что я тут, и ты скажи, когда неугодно...

— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.

Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела, старик говорил:

— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она как перо лебединое. Погладишь — рука как по бархату катится.

Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори.

## РЯДНИКОВЫ РУКАВИЦЫ

Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные торосá. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.

Братия спросили:

— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?

Маркел ответил:

— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.

Все удивились:

— Что за рукавицы?

Кожаный старец объяснил:

— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник-мореходец. Сказывал игумену морское знанье. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит...» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.

— Сегодня пришел и стребовал! — раздался голос старого Молчана.— Хвалю тебя, Маркел,— продолжал Молчан.— Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.

Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.

Из-за Рядниковых рукавиц попали в плен свеи-находальники.

Но расскажем дело по порядку.

Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.

Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу, к сельдяному караулу.

В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:

— Каяне[1] идут. За туманом сюда приворотят. Беги в деревню! Нет ли мужиков...

...К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду.

Маркел стоит; его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.

Маркел говорит:

— Это нельзя! Повесь на место!

Тот и ухом не ведет.

---

[1] Каяне — от названия города Каяна, на территории нынешней Северной Финляндии, с которого шведы (свеи) не раз делали набеги (походы) на Поморье. *(Примеч. автора.)*

Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом.

Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?

И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.

А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат и дальний рог слышат. Один выскочил из лодки и бежит к свеям на помощь. С ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.

За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.

## КОШЕЛЕК

На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:

— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда...

Завтра поет другое:

— Здесь ад кромешный, и люди — беси. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники...

Молчан наказывал Маркелу:

— Ты поберегай этого Анфимку. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.

Маркел удивился:

— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?

— Да. Как отец за сына.

Как-то, за безветрием, стояло у Соловков заморское судно. Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу:

— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.

Маркел говорит:

— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?

Анфим твердит свое:

— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем.

При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:

— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу кéптена, заплачу за проезд и позову тебя.

Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске... Тут оступился, тут бухнул в воду... Это бы не беда — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.

— Обездолил я тебя, Анфимушко! — тужил Маркел, выжимая рубаху.

— Я одного не понимаю,— горячился Анфим,— ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с траппика упал...

Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду пал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения.

## ВОРОН

Ходил Маркел по Лопской тундре, брал ягоду-морошку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А заместо тишины к нему бежит мальчик-лопин:

— Господине, не видал оленя голубого?

— Не видал,— говорит Маркел.

— О, беда! — заплакал мальчик.— Я пас оленье стáдышко и уснул. Прохватился — оленя голубого нет.

— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас,— говорит Маркел.

Вот они идут по белой тундре, край морского берега. А под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят.

— Они варят оленье мясо,— говорит Маркел.

— Нет, господине,— спорит лопин.— Я видел, у них в котле кипит рыбешка.

— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.

И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерлась, сколько глаз хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.

— Там закопана твоя оленина,— сказал Маркел.

К белому бугру пришли, вóрона сгонили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.

А свеи из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спихивают. А Маркел в ту пору приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свеи рог услышали, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалились, что котел-медник на русском берегу покинули.

Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.

## ХУДОЖЕСТВО

Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель.

В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книги. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».

Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:

— Когда же мы сядем на месте, дома заниматься художеством?

Маркел отвечал:

— Кто же теперь отнимет у нас наше художество? Художество места не ищет.

Маркел говаривал:

— Пчела куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет добрóту (создает красоту).

У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало:

— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.

## НИЧТОЖНЫЙ СРОК

Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь — любимое детище всех пяти берегов.

Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопились сполна. К началу собрания подоспел Панкрат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.

Выборные люди стали докладываться, всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:

— Я удоволил лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.

Собрание спрашивает:

— За какое время ты управил это дело?

Григорий отвечает:

— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.

Собрание говорит:

— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.

Петр Сухой Лоб докладывал:

— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким струментом. Итого двести наборов. Вот что я доспел!

Собрание спрашивает:

— Сколько времени ты хлопотал?

— Сколько Гневашев, столько и я. Всю зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.

Собрание говорит:

— Что же... Ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет... «Девять дён, девять верст, как сокол летел».

Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:

— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?

Собрание отвечает:

— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.

— Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок...

— Сколь долгий? — спрашивает собрание.

— Девять лет...

Собрание, триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:

— Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.

## ВИДЕНИЕ

Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим — в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой — торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.

Но вот, рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит будто, что заместо спиц в колесе вертится Анфимко Иняхин.

Опомятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:

— Друг, с тобой все ли ладно?

— А что же, Маркел Иванович? — удивился Анфим.

— Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил.

— Ужели? — простонал Анфим и заплакал: — Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.

## УШАКОВ И ФОМА КЫРКАЛОВ

Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям.

Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена, мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было проч-

но; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами. Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытано, чая пользы своему любезному художеству.

Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.

Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов[1], поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:

— Все ходишь, Маркел Иванович? Все любуешься на суда свои? Наглядеться, налюбоваться не можешь...

— Нет, нет, Фома Онаньевич,— горестно и гневно отвечал Маркел.— Досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.

Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:

— Когда так, Маркел Иванович,— ты настоящий, истинный художник!

## ДОСТОЯНИЕ ВДОВ

Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.

Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы[2] оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.

Приехавший с Петром Первым[3] знатный барин заказал

---

[1] «Виноградец» примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова.

[2] Сальница — сковорода с налитым в нее салом. В носок вставлялась льняная светильня.

[3] Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске.

Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:

— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.

Маркел отвечает:

— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.

— Ах ты пьяница! — вспыхнула барыня.— Я слабая здоровьем и то беспокою себя ради голодранцев...

— Нет, ты не слабая,— перебил Маркел.— Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.

Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.

## ДОЛГ

Молодой промысловец занял у Маркела денег на перехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так и побежало время: то Маркела на берегу нет, то у должника денег нет.

Оба встретились на Новой Земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит:

— Что уж, парень, ни разу меня не окликнул?

Парень снял шапку:

— Не смею и глядеть на тебя, осударь. Должен тебе.

Маркел говорит:

— Провались концом! Какие меж нас долги?

— Хотя бы работой какой отработать дозволили, Маркел Иванович...

Маркел говорит:

— Ладно. Всякий вечер приходи в нашу избу. Дела найдутся.

На зимовьях народ поужинают да повалятся. Должник пришел к Маркелу. Маркел не спит, живет у книги при огне. Книга — азбука, писана и рисована художной ушаковской рукой. Маркел стал показывать гостю буквы. Часа два учились. Во столько-то недель детина понял все «азы» и «буки». Когда полная тьма накрыла Новую Землю, ученик вытвердил титла.

Время катится, дни торопятся,— сколько парень радуется науке, столько тревожится: «Когда же я начну долг отрабатывать?»

Когда свет завременился над Новой Землей, паря читал по складам. При конце зимы читал по тóлкам. Наконец, стал с пением говорить по книгам четкого Маркелова письма.

Маркел говорит:

— Ну, друг, дошла промышленная пора. Но ты всякий день урви хоть малый час для книжного чтения.

Ученик возопил:

— Благодарствую, Маркел Иванович! Ты мне бесценное добро доспел — книгам выучил. Но когда я долг-то буду отрабатывать?

Маркел говорит:

— Сколько ты должен?

— Без двух гривен пять рублей.

Маркел говорит:

— Пускай так. Теперь считай: буквы ты учил — трудился. Значит, из твоего долга сорок алтын долой. Титла изучил — другие сорок алтын долой. Склады-слоги складывал — еще сорок алтын из долга вон. По толкам ты читал усердно — остальных сорок алтын отработал. Ты за эту зиму, дитя, сполна твой долг отработал. И больше ты мне ни о каких долгах не смей поминать.

## ПОНЯТИЕ ОБ УЧТИВОСТИ

Деревня Лодьма[1] славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков.

...Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.

— Эй, борода! — кричит чиновник.

— Все с бородами,— усмехнулись крестьяне.

— Кто у вас тут мастер? — сердится чиновник.

— Все мастера, кто у чего,— отвечают крестьяне.

— Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!

— За худое понятие об учтивости ничего не купишь,— слышится спокойный ответ.

Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.

[1] Лодьма — деревня в устье Северной Двины.

# МАРКЕЛ УШАКОВ И ВАСИЛИЙ КЕКИН

юбомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде[1].

В это время молодой судостроитель в городе[2], Василий Кекин, добивался на учительный разряд.

Городовые мастера сказали:

— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его. Мы ему писали о тебе.

Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой:

— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то розна[3]. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку.

Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился:

— Изукрашенье ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще.

Кекин сделал просто. Старый мастер говорит:

— Поживи да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежа твоя... Тебе любо ли, Василий Кекин?

Кекин говорит:

— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей!

Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку, к городовым мастерам на верфи. А следом пустил и Кекина.

В городе на верфях Кекина встречают честно; разрядные мастера сказали:

— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать.

---

[1] Койда — деревня и сейчас существующая в Архангельской области, в Мезенском районе.

[2] Подразумевается в Архангельске.

[3] Розна — рваная.

## ТРЕУХ

Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге.

Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору.

— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слóва. А теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа!

На заседании «приказных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помавая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.

Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:

— Иноземец всех нас кверху дном поставил. Всех на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.

«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.

## ВЕРА В ЛОЖКЕ

Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу.

Маркелов подкормщик говорит:

— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет.

Маркел говорит:

— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.

## ПИВО

Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.

Маркел это заметил, позвал ребят к себе в казенку и говорит:

— Ребята, что-то вы поблекли. Чем вас развеселить? Или пивком угостить?

Ребята покраснели, как брусника, и старший выговорил:

— Прости, дядюшка Маркел Иванович. Вперед таковы не будем.

## УШАКОВ И ЯКОВ КОЙДЕНСКИЙ

Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.

Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.

Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.

Старый мастер веселился сердцем и умом: есть кому оставить наше знанье и уменье.

Но хмель молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:

— Уйду в российские города. Здесь тесно.

— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда.

Яков говорит:

— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.

И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом неведомо куда.

Но скитались они недолго.

Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:

— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то

вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу.

Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером... Люди подивились:

— Столь молодого ты называешь мастером...

Маркел отвечал:

— Дела его говорят, что он мастер.

## КОНДРАТИЙ ТАРАРА

Слышано от неложного человека, от старого Константина.

У нас на городовой верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.

Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился наконец сдержать на одном месте двадцать лет.

Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.

А хитрость Маркела Ивановича была детская.

Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ:

— Прощай, Маркел Иванович. Ухожу.

— Куда, Кондраша?

— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.

Маркел заговорит убедительно:

— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.

— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.

Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно. Только снег напал — Кондратий в полном путешественном наряде опять предстает пред Маркелом:

— Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.

— Куда же, Кондратушко?

— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.

Маркел руки к нему протянет:

— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, по-

ставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.

— Это верно,— скажет Тарара.— Зиму проведу при вас.

Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:

— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!

Приходит Тарара:

— Ухожу. Не уговаривайте.

— Где тебя уговорить... Легче железо уварить. Прощай, Кондрат... Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани... Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.

— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал...

Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.

В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:

— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду.

Но Маркел Иванович из Койды отошел к новоземельским берегам и там, поболев, остался на вечный спокой.

А Кондрат Тарара остался в Архангельске:

— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться.

# О КОРМЩИКЕ УСТЬЯНЕ БОРОДАТОМ

## ЧУДСКИЕ БОГИ

Шел Устьян Бородатый на кочмаре с Двины к Печоре и за встречным ветром остоялся у Канской речки. Рядовые спросились сходить по морошку и вовремя вернулись. Весельщик Ладошка не пришел и к паужне. Устьян повелел струбить в рог. По рогу Ладошка вышел к судну. С палой водой кочмара уноровила взойти в море.

Еще берег не закрылся, от переднего корга проплакало по-гагачьи:

— Кык-куим! Я к бабушке хочу!

И от заднего корга отвылось — как бы гагара:

— Баба, нингад няна! Отыми у Ладошки!..

К ряду несхожий ветер погонил кочмару в береговую сторону.

Устьян выговорил:

— Чудской кудес! Весельщик, за что тебя назвали?

Ладошка пал дружине в ноги:

— Государи! Я занес на судно двух болванцев идольских. Бравши ягоды, я заблудился, набрел па халмеры, на погребенье. Тут кол одет в бабью малицу. Старуха сделана. В пазухе у ней болванцы, дети или внуки. Я их взял, принес на судно и запрятал в коргах. По той вере, что морскому ходу будет спех.

Ладошка плачется, а черная сила кочмару в берег тянет.

Якорь кинули, и Устьян кричит:

— Давай сюда болванов!

Ладошка спо́лзал в судно и вынес две деревянные образины.

Устьян их излучинил топором и зажег на медном листе.

Из черного дыму вылетели с воем две гагары и пропали в тундре.

Тогда снялись с якорей, открыли паруса. Паруса надунул добрый ветер, и кочмара пошла своим путем.

## СЛОВО КОРМЩИКА

ормщик Устьян Бородатый стал па якорь в Нежилой губе. Дружина говорит:

— Не худо бы сбродить на мох, добыть оленя. Приелась соленая-то рыба.

Устьян говорит:

— Ступайте. Только не стреляйте важенку — матку с детенышем не убейте.

Вот дружинники стоят на мшистой горбовине с луками. Видят непуганых оленей стадо. Маточка оленья со своим теленком ходит ближе всех. Самолучший стрелец тянет лук крепко и стреляет метко, прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился.

Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал:

— Не сломался бы ты, мой гибкий, тугой лук, ежели бы не переступил я слово кормщика!

## РУССКОЕ СЛОВО

Шел Устьян Бородатый па промысел в летних судах. Встречная вода наносила лед. Тогда Устьяновы кочи притулились у берега. Довелось ждать попутную воду у Оленницы. Здесь олений пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матерый медведь пугает оленей.

Устьян говорит:

— Дитятко, некогда нам твоего медведя добывать: вода не ждет. Но иди к медведю сам и скажи ему русской речью: «Русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел. До олепьих участков тебе дела нет».

В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь.

А олений пастух пошел в прибрежные ро́паки, где полеживал белый ошкуй. Ошкуй видит человека, встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово:

— Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела́ нет.

Медведь это слово отслушал с молчанием, повернулся и пошел к морю. Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.

## УСТЬЯН И КУПЕЦ

Устьян стоял при море, у Двины, ждал попутных ветров сверху. К тому же острову пристало поврежденное погодами купеческое судно. Купец повыгрузил товар и с работными людьми отправил вверх, а Устьянова дружина стала поновлять бока купеческой лодье. Трудились за спасибо и за хлеб за соль. О деньгах разговору не было. Устьяп готов был на отлет во всякий час, только бы сменился ветер. Де́ла у починки-поправки оставалось уж немного. Дружина конопатит да смолит... И ударил дождь. Устьян кричит:

— Ребята, повремените с делом! Не делайте по мокрому!

Работные скидали пеньковое прядево под лодью, а сами стали от дождя в укрытие.

Купец это увидел и прискочил к дружине с бранью:

— Вижу, только у питья да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!

Устьян говорит с гневом:

— Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем зовем и ни во что кладем: горланишь, а дела не смыслишь. Видишь, дождь валит! Судовой припас нельзя мочить: проку не будет.

Купец свое:

— Твоя дружина у меня вторые сутки по две вы́ти в день пьет-ест! Велю работать, будь хоть потоп!

Устьян говорит:

— Хоть потоп? Ладно, будь потоп.

Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум сшумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опамятовался от ужаса и забегал на коленках вкруг Устьяновой лодьи:

— Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденко!

Устьян говорит:

— Это не от нас. А судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно.

Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой. А сами с поветерью ушли в море.

## УСТЬЯН И ОЛЕНИ

Устьян шел берегом в становище, тянул промышленную снасть и чунку с хлебом. Увидел оленей-дикарей и скричал:

— Подойдите которые-нибудь!

Три оленя подошли. Устьян впряг их в чунку, и спасть положил, и сам сел. Куда повелел, туда побежали. Этот Устьян смолоду был знатлив.

Промысел оставит несоблю́дно. Медведь-ошкуй подойдет, песец — понюхают и уйдут. Устьян хоть через месяц взять придет — все цело, невgrежоно.

# РАССКАЗЫ ПРО СТАРОГО КОРМЩИКА ИВАНА РЯДНИКА

## ДИКОВИННЫЙ КОРМЩИК

Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый и искусный мореходец Рядник не стерпел:

— Ладно ли, господине, что судно ваше так раболепствует стихии и шатается как пьяное?

Кормщик ответил:

— Это не от нас. Человек не может спорить с божией стихией.

— Сроду не слыхал такого слова от кормщика,— говорит Рядник.— А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?

— Годов десять-двенадцать,— отвечает тот.

— Что же ты делал эти десять-двенадцать лет?! — гневно вскричал Рядник.— Бездельно изнурил ты твои десять-двенадцать лет!

## ВОПРОС И ОТВЕТ

Дружина спросила Рядника:

— Почему на зимовье у Мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал? А здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном.

Иван Рядник рассмеялся:

— Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье: здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки.

## ПАВЛИК РЯБ

При Ивановой дружине Порядника был молодой робенок Павлик Ряб.

Он без слова кормщика воды не испивал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день.

Однажды зимним делом посылает Рядник Павлика с Ширши в Кегостров. В тороки к седлу положил хлебы житные.

Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит: житники не тронуты. Он говорит:

— У кого из кегостровских-то обедал?

— Приглашали все, а я коня пошел поить.

— Почему же отказался, если приглашали?

— Потому, что у тебя, осударь, забыл о том спроситься.

— Ну, а свой-то хлеб почто не ел?

— А ты, осударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что, Павлик, ешь!

Рядник, помолчав, проговорил:

— Ох, дитя! Велик на мне за тебя ответ будет.

## РЯДНИК И ТИУН

Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома в Ширше[1].

Его навещали многие люди, и я пошел, по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет тиун[2] из Холмогор. Он хотел знать мненье Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами.

При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону.

Когда тиун ушел, я выговорил Ряднику:

— Как ты, государь, тиуна принимаешь: будто из драки выскочил. Ведь тиун-то подивит!

Рядник мне отвечает:

---

[1] Ширша — деревня близ Архангельска.
[2] Тиун — судья низшей степени *(стар.)*.

— Пускай дивит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю.

## ИВАН РЯДНИК ГОВАРИВАЛ

Дела и уменья, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то другое казалось тебе более выгодным.

В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче и люди там лучше.

Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведенье с каждым.

А с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?

# МОРСКОЙ УСТАВ ЖИВУЩИЙ

# КОРАБЕЛЬНЫЕ ВОЖИ

В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами[1].

Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.

Но вот пришло время, дошло дело — два старинные приятеля поссорились как раз на пиру.

Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику шестого сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки.

После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.

[1] Вож — вождь.

— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола.— Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.

— Моя степень повыше,— отрезал Звягин.

— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.

Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись.

Звягин осерчал:

— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?

— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новогородские!

— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин. — Твой дедушко был карбасник, посник. От Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил. По опеке с плеши брал!

— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали».

Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.

Звягин был мужик пожиточный, Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый прираздумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».

Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придет мореходец иноземец или русский:

— Сведи судно к морю.

У Звягина теперь ответ один:

— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными вожами.

Еще и так скажет:

— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.

Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить, порасспросить».

В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:

— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.

У Щеколдина точно пелена с глаз спала:

— Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!

Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:

— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!

Звягин обнял друга и торжественно сказал:

— Велика Москва державная!

## СТИХОСЛОЖНЫЙ ГРУМАНТ

В молодых меня годах жизнь преогорчила:
Обрученная невеста перстень воротила.
Я на людях от печали не мог отманиться.
Я у пьяного у хмелю не мог звеселиться.
Старой кормщик Поникар мне судьбу обдумал,
На три года указал отойти на Грумант.
Грумалански берега — русской путь изведан.
И повадились ходить по отцам, по дедам.
Мне по жеребью надел выпал в диком месте.
...Два анбара по сту лет, и избе за двести.
День по дню, как дождь, прошли три урочных года.
Притуманилась моя сердечна невзгода.
К трем зимовкам я еще девять лет прибавил,
Грозной Грумант за труды меня не оставил.
За двенадцать лет труда наградил спокойством,
Не сравнять того спокою ни с каким довольством.

Колотился я на Груманте
Довольны годочки.
Не морозы там страшат,
Страшит темна ночка.
Там с Михайлы, с ноября,
Долга ночь настанет,
И до Сретения дня
Зоря не проглянет.
Там о полдень и о полночь
Светит сила звездна.
Спит в молчанье гробовом
Океанска бездна.

Там сполохи пречудно
Пуще звезд играют,
Разпоогненным пожаром
Небо зажигают.
И еще в пустыне той
Была мне отрада,
Что с собой припасены
Чернило и бумага.
Молчит Грумант, молчит берег,
Молчит вся вселенна.
И в пустыне той изба
Льдиной покровенна.
Я в пустой избе один,
А скуки не знаю,
Я, хотя простолюдин,
Книгу составляю.
Не кажу я в книге сей
Печального виду.
Я не списываю тут
Людскую обиду.
Тем-то я и похвалю
Пустынную хижу,
Что изменной образины
Никогда не вижу.
Краше будет сплановать
Здешних мест фигуру,
Достоверно описать
Груманта натуру.
Грумалански господа,
Белые медведи,—
Порядовные мои
Ближние соседи.
Я соседей дорогих
Пулей угощаю.
Кладовой запас сверять
Их не допущаю.
Раз с таковским гостеньком
Бился в рукопашну.
В сенях гостьюшку убил,
Медведицу страшну.

Из оленьих шкур одежду
Шью на мелку строчку.
Убавляю за работой

Кромешную ночку.
Месяцам учет веду
По лунному свету,
И от полдня розню ночь
По звездному бегу.

Из моржового тинка
Делаю игрушки:
Веретенца, гребешки,
Детски побрякушки.

От товарищей один,
А не ведал скуки,
Потому что не спущал
Праздно свои руки.

Снасть резную отложу,
Обувь ушиваю.
Про быванье про свое
Песню пропеваю.
Соразмерить речь на стих
Прилагаю тщанье:
Без распеву не почтут
Грубое сказанье.

## ГРУМАЛАНСКИЙ ПЕСЕННИК

В старые века живал-зимовал на Груманте посказатель, песенник Кузьма. Он сказывал, и пел, и голос у него, как река, бежал, как поток, гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неутомленная сила к пенью и сказанью?

Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей — два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил:

— Не стою я таких почестей.

Дружина говорит:

— Цену тебе знаем по Груманту.

Кузьма вздохнул:

— Здесь мне цена будет дешевле.

Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:

— Память у тебя по-прежнему, только сила не по-прежнему. На зимовье ты как гром гремел.

Кузьма отвечал:

— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а Седой Океан песню пел.

## КРУГОВАЯ ПОМОЩЬ

На веках в Мурманское становище, близ Танькиной Губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитье сделали прочно и за светлостью ночей скоро. Датский шкипер спрашивает старосту: какова цена работе? Староста удивился:

— Какая цена? Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?

Шкипер говорит:

— Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.

Староста говорит:

— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.

Шкипер говорит:

— Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно.

Староста улыбнулся:

— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.

Шкипер, где кого увидит из работавших, всем сует подарки.

Люди только смеются да руками отмахиваются.

Шкипер говорит старосте и кормщикам:

— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.

Кормщики и староста засмеялись:

— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы па дороге, у крестов. И объяви, что может брать кто хочет и когда хочет.

Шкиперу эта мысль понравилась:

— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.

Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер, по своему благодарному обычаю, желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у крестов. Бери, кто желает.

До самой отправки датского судна короба с подарками стояли середи дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто пе дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.

Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:

— Если вы обязаны помогать, то и я обязан...

Ему не дали договорить. Стали объяснять:

— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде, и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это все одно. Все мы, мореходцы, связаны и все живем такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».

## ГРУМАНТ-МЕДВЕДЬ

Зверобойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу:

— Поживем по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки.

Старосте они говорили:

— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.

...Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-от часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.

Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужи-

нают и спать. В три утра встают и печь затопляют. И еду готовят. Всё, как дома, на матерой земле.

День-два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом:

— Давай, брат, всхрапнем часиков восемь?

К нарам подошли и вместо шкур оленьих видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился...

Не упомнят молодцы, как двери отыскали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели. Староста говорит:

— Им за ослушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте двери. Их надо поучить.

Братаны в дверь стучат и в степу колотятся; их только к паужпе пустили в избу. Они рассказывают:

— Мы обувь шьем, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубами скалит, глаза, как свечки, светят...

Староста говорит:

— Это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант-батюшка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили, Грумант вас за это постращал.

## ОБЩАЯ КАЗНА

Был дружинник — весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».

Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным.

Бывало, когда он все отдавал, дак и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют.

Однажды не пошел на ловы: с меня запасу хватит. Захворал. И, бывало, как он неможет, двое при нем останутся,— знают его простертую руку. А теперь никто не остался.

Он в эти дни одумался, опомнился.

— Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят.

Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем.

— Мы твое добро помним.

И опять он стал весел и спокоен: поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.

## БОЛЕЗНЬ

Опять было на Груманте.

Одного дружинника, как раз в деловые часы, начала хватать болезнь: скука, немогота, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе:

— Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив.

Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудно́е дело — лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился.

Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслею побеждал печаль и победил цингу: болезнь оставила его.

## ИЗ РУКОПИСИ «СИЯ КНИГА — ЗНАНИЕ» ИВАНА ДМИТРИЕВА

Весною и летом наибольшую непогоду в Белом море разводит ветер-полуночник. Из окияна ударит в Горловину, что в трубу, вырвяся, катит взводень серединою Белого моря в запад.

Сей ветер можно предусмотреть по внезапной иногда смене теплого воздуха на холодной.

Но ежели в море потеплеет, жди ветра с лета.

Когда в ведрие явитца в морских далях бус или туск, жди сиверных ветров.

Ежели при тумане возьмется полуночник, то он этот туман скоро пронесет.

В те же месяцы, кроме полуночника, вздымает волнение северо-запад.

А правит с Кандалацкой губы на Летний берег через все море. И в просторном месте силой не уважит полуночнику.

Полуночник и север забирают державно середу морскую, в губы хватают только в широких местах. В Онеж-

ской губе, по-за Кий-остров, эти ветры великих непогод не разведут. А в Кандалацкой губе, за множеством островов, взводню негде разгуляться. Разве северо-запад подымет зыбь, и то необидну.

Ветры, дуючи с лета и с полдня, порухи мореплавателю не чинят. Но шелоник, бойко задевая середу морскую, разводит толкунцы. Под Терским берегом не допущает карбасо́в в речные устья.

В полном море, что сивернее, то велики непогоды живут подолгу, но бывают редко. А что южнее, непогодушка гостит не долго, но жалует часто.

В губах морских Двинской, Онежской, Кандалацкой и у Летнего берега, в межоное время, полное отишие стоит подолгу — по четыре, по пять ден и по неделе. В северных губках полное безветрие кратковременно.

В ведрие любой крутой ветер к паужне отишит, а к ночи пропадет. В ненастье ветер что к ночи, то сердитее.

Невеликая зыбь, которая во время тишины покатится с какой-либо стороны моря, нередко предвещает великую непогоду с той же стороны.

Зверь морской зачнет играть-плескать к ветру ж.

Закипела в море пена — будет ветру перемена.

В широком раздольи полого моря волна ходит порядливо, грядами-рядами, слушая ветра. По губам волна не столь сурядна. Тому пример Мезенская губа: здесь море не может нарядить правильного волнения за множеством отмелых мест и по причине разительной смены большой и малой воды.

Идучи морем, непогоды не брани и тиха не хвали.

В ненастливой, облачной день, с каковы стороны небо зачнет чистить, с той стороны жди ветра.

С каковы стороны из-за моря полетят, как перья, завивные облака, с той стороны ударит непогода.

Потому ж с каковы стороны пойдет облак как бы сенными кучами, оттуда будет ветер.

Ежели ветер, переходя от места к месту, идет посолонь, то к ведрию и отишию. А когда, дуючи, идет против солнца, то к ненастью и к непогоде.

Краснооблачный закат предвещает ветер.

Того важнее укараулить утренний рассвет, красный туск которого справедливо беспокоит мореплавателя.

Тусклый, белесо-желтый закат объявляет дождь назавтрие...

О туманах. При начале зимы вода в Белом море долгое

время живет теплее воздуха. К весне морская вода долго содержит мороз. От сей разницы приражается туман. От сей же причины осенью льдина набирает толщину сверху, а к весне снизу.

Утренний бойкий ветер заподымает туман кверху — будет идти благоприятно.

А с вечера добра примета, когда туман ходит низом.

Ежели перед обеденным временем туман поредеет, то по обедах его совсем пронесет. Ежели туман до обедов не пошевелится, в тот день жди дождя.

Веспою и летом бедовой туман заносит в Белое море ветер-полуночник. Сей ветер, взявшись с окияна, гонит бусую мглу в запад, на губу-Онегу и на Кандалакшу...

О зиме и о льдине. Смотря по зиме, Двинская губа оденется льдиною не ранее Михайлова дни... В морском россоле льдина долго живет тоща; и чтобы мороз хватил широко, надобно долгое безветрие. Поначалу округ всего моря, с берега установятся припаи, каковая кромка в ширину дойдет пять-шесть верст. Зимние морские непогоды накидывают на края припая торос свыше тороса.

Но возьмется ветер западный с дождем, эти ледяные города обломит и погонит в море. Двинской губой сегодня на полозьях да в санях, а мокрый запад приударил, и ты опять на карбас да за весла.

Но не только оттепель, даже лютый всток, кующий берега, не дает замерзнуть морю, разводя неистову погодушку.

А широта морская во всю зиму пе становится ни на единый день. В морозное безветрие прихватит местом, а найдет больша вода на малую, всё приломает. И у ветров здесь зимой такое поведение, что чистить середу морскую. Гулящий взводень носит льдину к берегам. Побережник-ветер тоже чистоту блюдет, что метлою берег-от опахивает, несурядну торосину посылает прочь. Не спят ветры, не спит море.

При конце зимы тем гулящим торосом наше море не бедно.

Многа она, стадна льдина-матушка. Во своем море не столь груба, а в окияне страшно с торосом со становым за ручку поздороваться. У станового тороса плывущего видно только верховище, а вся нога в водах. По образу верхушки должно разгадать, широка ли нога. Садкое судно близко не води.

Молодая льдинка осенью твоего судна боится, что топ-

ка и хила. А веспою ты ее боишься: отечную матерую старуху толкнешь, она тебе ребро и бортовину выломит.

Пловущее ледяное согласие можно предугадать, еще не видя оного: в морской дальнозрачности объявится туманец, как белая городовая стена.

В облачное время белйжпа движущих полей, еще никем незримых, уже дает всем зримый отблеск на небесный туск. Еще льдина за морем, а отсвет в небе знатен.

Ветер крепкий, а взводня нет — знак того, что с ветреной стороны подвигается лед и мешает взводню разгуляться.

Когда вдали от матерого берега и острова объявятся тюленьи юрова, моржи и птица, то несомненна близость льдов...

Ни на день, ни на малый час и ни в какой мороз не уставится сплошная льдина в Горле беломорском. От сотворения мира здесь спокою нет, в неустанных ветрах, в быстрине течения.

О Веденьев день полуночник сюда надвинет тороса от Канина. Но ненадолго. Налетит встречный от Двины и ветер с запада, погонит тороса обратно. А север да восток опять свое, да пуще. Так зиму и воюют...

Который берег и которая губа зимою промышляют зверя у наледных промыслов, те на льдину не обидятся. Но всем губянам и поморам очень грубо, что вешний корабельный ход на океане и к Мурманскому морю задерживает Горловина.

Как Двина располонится, и на своих суднах торопимся во след за льдиной. Губой и мимо Зимний берег весело бежим, что поветерь нособная и быстрина несет. У Орловских Кошек хоть торосовато, а салма сыщется, проскочим. Но у Горловины каждогодно жди досады. И речная и морская льдина лезут в океан. Ты на промысл торопишься, и льдины дружка дружку давят, на простор спешат. Негораздые попутчики! Ах, да руками мах, а на том не перескочишь.

В Двинской губе вода с весны желта и до полулета мутновата. У Зимних гор вода зелена́ и прозрачна.

А что к Святому Носу — океанская вода острозрачна-зелена, а волна по цвету двоелична — зелена и лазоревата. В Белом море голубец у волны отымется, а глубь прозрачна...

У высокой льдины верхний слой годен на питье. Обливная льдина вся солона.

## «УСТЬЯНСКИЙ ПРА́ВИЛЬНИК»

В северо-русском промышленном мореходстве издревле существовало «обычное право», своеобразная юриспруденция, определяющая профессионально деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу. Иногда эти жизненно-деловые отношения закреплялись письменно. Таков «Морской устав» новоземельских промышленников. Как бы дополнением к нему может служить «Устьянский пра́вильник».

«Устьянский пра́вильник» представлял собой главу рукописной книжицы (или тетради), писанной почерком XVIII века. К пунктам правил, касающихся мореходно-промышленной среды, приписаны правила общечеловеческого поведения: о том, как молодой человек должен вести себя в присутствии стариков, о вреде пьянства. Подчеркивается, что если старший велит тебе идти с ним о правую руку или посадит тебя с правой стороны, то этим он оказывает тебе честь. Если женщина сидит, положив «нога на ногу», этим она навеки уронит себя в глазах общества.

Чрезвычайно интересна психология тех «устьянских» правил, где расцениваются поступки бедняков по отношению к богатым.

Если ты, не стерпев вдовьих и сиротских слез, будешь красть для этих сирот у богатого, то в этом нет греха. Поступок похвальный, но половину хвалы пусть получит и невольно пострадавший богач.

Другое постановление: если горькие, нищие люди обокрадут богатого и он не только не подаст в суд, но даже не потужит об утере, то такое разумное поведение Христос зачтет богачу за добровольную милостыню.

Имеется любопытное объяснение, почему Никола (покровитель мореходства) имеет титул или прозвище — «скорый помощник». Оказывается, когда молишься богоматери и разным святым, они твою молитву понесут к богу, и уже от бога ты получишь милость. По Николе «вперед милость дана», то есть Николе отпущен от бога как бы лимит. Этим лимитом Никола распоряжается непосредственно, без докладов и волокиты.

В статье «О Хмелю» упоминается Никодим Сийский, автор трактата о «разноличных художествах». Никодим был родом с Онеги, в XVII веке именит был по всей Северной Двине, как искуснейший живописец.

Что касается заглавия «Устьянский пра́вильник», то, не имея сейчас под рукою оригинала, трудно судить, все ли заглавие рукописи было мною списано. С другой стороны, и составитель (компилятор-копиист) XVIII века выписки свои озаглавливал очень кратко: «Никодимово» (правило), «Геннадиево», «Соловецких»...

«Сия книга устав,
Помните добрый нрав,
Како у моря жити:
Чтобы бога не гневити
И люди не смешите».

Мореходством нашим промышляем прибыль всем гражаном... Не доведется таковую степень тратить...

Держитеся гораздого сего обычая. Не разорите мореходства доброго уставы.

...Сказали Звенило Ластольцу:

— Три чина мореходца — когда придет морская напасть и бороться с нею веселяся.— Второе — когда ходит в послушании доброму кормщику...

Собери умы свои и направи в путь. Горе, когда для домашних печалей ум мореходцу вспять зрит.

Ежели покоренье навклиру (кормщику) напоказ содержится, а внутрь молва и мятеж, то ждет нас беспромыслица.

Когда дружина слушает слово твое всем сердцем, знай, что ты отвечаешь за них перед богом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ежели переступил устав и учинил прошибку, не лги, но повинись перед товарищи и скажи: «Простите меня!» — и огрех мимо идет.

Ежели кто сделал ошибку, и бедственную, но понял ее, и повинился, и исправился, не могите напомянуть ему о ней.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За которым человеком сыщется какое воровство или татьба или какое скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И хотя принятые бедственные люди промышляют из-за хлеба и доли не просят, но, по превосходному разуму, долю им дать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...От веков повелено начатки промыслу нищим давать, мореходных и промышленных людей вдовам и сиротам. Зверя давать мерного, а не детыша. И кожа чтоб не резана, не колота.

Которые от многие службы морские пришли в глубокую старость, давать по тому же.

В бочках пропащую рыбу сиротам не давать, а добрую себе не оставлять. (Люта неистовая жадность. Сытости не имеет деньголюбивая душа и на последнее зло идет.)

Кто свою братью, морскую сиротину, в пир созвать постыдится, того устыдится Христос на суде своем.

Дочку или племянницу хромую или кривую подчиненным и меньшим людям не навязывать. Гораздых девок в господу[1] не пихать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В который берег жилой придешь, где никого не знаешь, то и меньшим себя честь оказывай, как старшим.

В чужих городах не летай глазами туда и сюда.

В чужих берегах будь от баб воздержателен.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В пустых берегах, в становых избушках, где оследиться привелось, оставлять хлебов, муки и, по силе, всякого припасу на произволящих людей. По изможенью печь поправить, дров собрать и наколоть. И огнивцев, и кудельки оставить. Что здесь о терящем человеке попечаловал, то о тебе в ином месте люди вдвое порадеют.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Когда идешь со старшим, не опережай его.

Беседуя со старшим, не сядь, пока не повелит сесть. И, рассмеявшись, не кажи зубы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О, человече! Лучше тебе дома по̀ миру ходити, куски собирати, нежели в море позориться, переступая вечную заповедь морскую.

---

[1] В сословие господ.

Аще кто, радея о нищих, а самому подать нечем, и он украдет у богатого и даст убогому, то несть грех. Но с полдобра вменит бог и богатому.

Которого богатого человека обокрадут. И утеря явится велика. Но он не потужит и не поклевещет, то утерю вменит ему Христос в милостыню.

## О ХМЕЛЮ

Всем ведомо и всему свету давно проявлено, какая беда пьянство. Философы мысль растрясли и собрать не могут. Чины со степеней в грязь слетели. Крепкие стали дряблы, надменные опали. Храбрые оплошали, богатые обнищали.

...Вняться надобно всякому мастеру, какова напасть пьянство. Ум художному человеку сгубит, орудие портит, добытки теряет. Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью по́ миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А что скажешь — пьянство ум веселит, то коли бы так кнут веселил худую кобылу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ДРЕВНИЕ ПАМЯТИ

# ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Студеного моря, в богатой Двинской земле жили два друга юных, два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая.

Столь крепко братья крестовые[1] друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать Сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали один совет советали,— очи в очи, уста в уста.

Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.

Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.

В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:

— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!

Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли. Праматерь морская попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах.

---

[1] Крестовые — названые.

Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.

Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:

— Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода торосá от берега понесет...

Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил.

И слышит Кирик вопль Олешин:

— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-ту милую и любовь заединую!..

Дрогнул Кирик, прибежал в стан:

— Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!

Выбежали мужики... Просторно море... Только взводень рыдает... Унесла Олешу вечерняя вода.

Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах, как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.

Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а всё места не может прибрать.

В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонал:

— Ах, Олеша, Олешенька!..

И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:

— Кирик! Вспомни дружбу-ту милую и любовь заединую!

В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз на острые камни, сам горько взопил:

— Мать-земля, меня упокой!

И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:

— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, Сыру землю, зарудили!

По исходе зимы вместе с птицами облетела Поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а

тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.

И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи:

— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!

Старики рассудили:

— Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.

Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:

— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.

Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:

— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!..

Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили паруса, и пособная поветерь — праматерь морская скорополучно направила путь...

Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.

Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:

Гандвиг-отец,
Морская пучина.
Возьми мою
Тоску и кручину...

В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги кричат из тумана:

— Куры фра? Куры фра? (Кто идет?)

Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко, и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:

— Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!..

Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы...

Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу...

Красное солнце идет к закату, варяжское трупьё плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, друга столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:

— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.

И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь.

В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:

— Здрав буди, Кирик, брате и господине!

Ликует Кирик о смертном видении:

— Олешенька, ты ли нарушил смертны оковы? Как восстал ты от вечного сна?..

Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:

— Я по тебе пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.

Две тяжкие слезы выронил Кирик:

— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!..

В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:

— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую Землю[1], где вкушают покой души добрых и храб-

---

[1] Гусиная Земля — легендарное представление о Северном полюсе.

рых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев...

Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский кораблик, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую...

О, былина, о, песня, веселье поморское! Проходят века, а двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.

Смерть не все возьмет — только свое возьмет.

## ГНЕВ

В Двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Горeслава.

На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где «двор Лихославль», до сих пор называется Гнéвашево.

Лихослав был старший брат, Горeслав младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к Новой Земле. Также неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна матерь спородила, да не одной участью-талантом наградила.

Гореслав скажет:

— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!

Лихослав зубы ощерит:

— Нет! В торгу любо, а в море люто.

Отец нахмурится и скажет Лихославу:

— Хотя ты голова делу, но блюдись морского гневу.

По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашиваться:

— Я-де на ваше горланство добыл приказ.

И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.

Люди ближние и дальние говорили Гореславу:

— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание свое мор-

ское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.

Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:

— Ах, братец! Костью ты мне в горле встал.

Таким пóбытом братья опять пришли на Новую Землю.

Добыли и ошкуя и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться в Русь. А Гореслав с товарищем еще побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.

Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя: знают, что в лодье их ждут и клянут.

А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошел».

И Лихослав начал взывать к дружине:

— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает.

Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:

— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.

Кормщик затрубил в рог.

Лихослав освирепел:

— Ребята! У них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!

Доброчестные дружинники говорят:

— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.

Лихослав кричит:

— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!

В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землей, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье... Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.

Гореслав и закричал:

— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!

Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.

В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.

Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенело море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престрашен. Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:

— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!

Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, похватил Лихослава и унес его в бездну.

Утолился гнев Студеного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.

Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники от мала до велика сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:

— Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь суди нас.

Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:

— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.

С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.

## ГОСТЬ С ДВИНЫ

В стародавние времена низовские двиняне сообща морского зверя промышляли и лодьи с торгом складчиной в чужие страны отпускали.

Четверо промышленников-складчиков отпустили своего товарища к датским берегам сдать договорный товар и получить условленную цену.

Лодья в датский город пришла скорополучно. Русский мореходец торговые дела управил, цену получил сполна.

Вечером, канун обратного пути, идет по городу. Видит: в темном месте стоит женщина, пригожая собой. Он был строгой жизни, красота для него неприкосновенна. Но переборол себя, подошел, спросил учтиво:

— Госпожа, ты ждешь кого-то?

Она потупилась, молчит. Он взял ее за руку, привел в гостиницу, велел учредить стол в особой горнице. Женщина вошла, прижалась в угол. Перед ней питье, еда; она и не глядит. Мореходец угощает, она будто не слышит. Мореходец посадил ее на ложе, одной рукой подносит чашу вина, другой рукой обнял.

Тогда женщина ударила себя ладонями по лицу и заплакала навзрыд:

— О горе мне, горе!.. Нету помощи ни от людей, ни от бога!

Мужественный мореходец содрогнулся сердцем:

— Какое твое горе, госпожа? Какая над тобой невзгода?

Доброту и милость почувствовала женщина и заговорила:

— О, господине! Беда стряслась над моим мужем и надо мною. Муж мой корабельщик. Набрал в долг товару, отправился в дальний берег. Непогодой разбило корабль. Товар утонул. Люди еле спаслись. Муж вернулся домой бос и наг. Купцы бросили его за долг в темницу. Это было осенью прошлого года. Я стала добывать кусок хлеба поденщиной. Кормила мужа и незамогла работать. Муж в темнице голодует. Сегодня я вышла на улицу...

— Как велик долг твоего мужа? — спросил мореходец.

Женщина сказала цену долга.

Долг как раз равнялся цифре, которую должен был получить мореходец на свой торговый пай. Раздумывал недолго.

— Жди меня здесь у ворот.

Он сходил на лодью; отсчитал из общей казны столько, сколько приходилось на его долю, и вернулся к гостинице. Была ночь, женщина дрожала у ворот.

Он подал ей тяжелую шкатулку:

— Возьми, госпожа. Выкупи своего мужа из темницы.

Подал шкатулку и ушел скорым шагом. Женщина опомнилась, закричала, хотела догнать. Никого уже не было в ночном сумраке. Она пала на землю и целовала следы его ног.

Лодья вернулась на Двину. Мореходец вручает заморское серебро своим товарищам-складникам:

— Примите ваше. Здесь моей доли нет. Я свою, пятую, часть вынял.

Пайщики говорят:

— Ты из общего выхватил свое без ведома товарищей? Ты распорядился самовольно. Ты разорил общий вековой устав.

Мореходец наотрез отказался объяснить, для какого случая он вынул пай.

Той же осенью пристал к другой артели и ушел в зимовье к небывалым берегам, откуда и не вернулся.

А через пять лет приходит на Двину датский корабельщик, тот, которого русский мореход избавил от беды. Корабельщик разыскивал своего благодетеля, чтобы вернуть долг. Нашел только четверых его товарищей. Их упрашивал со слезами:

— Возьмите это серебро, господа двиняне! Раздайте в память доброхота моего.

Те говорят:

— Не нашими руками раздавать эти бесценные деньги. Тяжело нам будет «спасибо» получать.

И никто на Двине не дерзнул принять это серебро.

Тогда сдумал думу датский корабельщик и воздвиг этими деньгами каменный столп между Русским и Варяжским берегом Студеного моря-океана. И поднял колокол на этот столп с отлитым имепем русского своего доброхота. Колокол звонит в туманы, в непогоду, и проходящие мореходцы вспоминают доброе дело русского человека.

## БРАТАННА

Гандвик — Студеное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит,
Вечерняя заря догорает.
Маменька помирает,
Сына и дочь благословляет:
— Ухожу к заре подвосточной,
Ухожу к звезде полуночной.
Се тебе, милому сыну,
Промысел морской оставляю,
Отецкой лодьей благословляю.
Где руки отцовы трудились,
Туда и тебе, сыну, ходити.
Сестра тебе в материно место,
Братанна в доме хозяйка...
Мир тебе, доченька родная,
Речь у тебя не людская,
Да велика кротость-терпенье,
Велико по дому раденье.
Поживите, деточки, в совете.
А кто совет ваш нарушит,
Кляну того морем и землею!
Земля на того и море!
Услышь меня, синее море!
Поблюди моего милого сына,
Подроди[1] немую Братанну! —
И солнышко закатилось,
Вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И днем поют попы-дьяки,
Ночью брат с сестрой плачут.
После этого быванья[2]
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдет — простится,
С промысла придет — доложится,
И брата Братанна хвалит,
По головушке его гладит.

---

[1] Подроди — прибавь силы, здоровья.
[2] Быва́нье — событие, происшествие.

Только речь у ней не постатейна[1],
Говоря[2] у Братанны непонятна.
А брата, как мать, жалеет,
День и ночь по дому радеет.

После этого быванья
Возрастные годы приходят.
Тут брат сестру не спросился,
Молодой женой оженился.
Глаза у ней с поволокой,
Роток у ней с позевотой.

Молодая жена Горожанка
Немую золовку[3] невзлюбила,
Остуду в семье заводила.
Гарчит[4], что лихая собака:
— Ахти, безголосая рыба,
Ахти, камбала криворота,
Оборотень деревенский,
За что тебе ключи и пояс?
Я тебя, дуры, не меньше!
Тебе надо мной не смеяться!

В зимнюю безвременную пору
Грубость Горожанка согрубила:
Лодейные паруса сгноила,
Амбарному гнусу стравила,—
Подвела на немую Братанну.

И брат на сестру в кручине,
А жену от брани унимает:
— Не твое дело, жена Горожанка,
Парусы — материны статки[5],
Не твои, не мои нажитки!

---

[1] Не постате́йна — здесь: не обычна для человека.
[2] Гово́ря — речь.
[3] Золовка — жена брата.
[4] Гарчи́т — хрипло лает (о собаке).
[5] Статки — остатки, наследство.

Лютая зима окротеет,
Перед красным летечком смирится,
А людской-то злобе краю нету.
Злая жена Горожанка
В погодливо время, в распуту,
В глухую, безлюдную ночку
У Братанны ключи отвязала,
К лодейному прибегищу сходила,
Причальные цепи отомкнула.
Тут великая невзгода учинилась:
Лодью водой повернуло,
Заторными льдами зажало,
Якори рвало самосильно.
Беда на Братанну упала —
Подвела на нее Горожанка
Воровским своим поклепом и подметом.
И брат на сестру опалился,
Тяжко на Братанну оскорбился.
Перестал с сестрой говорити,
К столу сестры не стал звати,
Не так-то жили при матке,
За одним столом, в одном хлебе...

После этого биванья
Горожанка на Братанну, как пес, гарчит,
А Братанна, как стена, молчит,
Знай горькие слезы проливает,
Их правой погою заступает,
Чтобы не было брату укоризны.

И в ту пору, в то время
Горожанка младеня породила,
А злобы своей не отложила.
Коль матери любы дети!
Горожанка и о том не умилилась,
Пуще на злобу устремилась.

О празднике было о вешнем,
Недельный день осветился,
С промыслу хозяин воротился,
Дома у ворот поколотился.
Брата сестра услыхала,

Поскорешеньку отворяла,
На шею желанному напала,
Птичкой воронкой кричала,
Кукушицей куковала.
И брат на сестру умилился,
Что камень от сердца откатился.

Недолга *немая беседа*.
Горожанка в окно усмотрела,
Пуще лютой змеи освирепела,
Что ровня она бешеной собаке;
Душегубное дело учинила:
Младеня из зыбки схватила,
Золовкиным ножом заколола,
Шибла[1] золовке на постелю.
Выбежала к мужу космата,
В ногах закаталась безобразно:
— Увы, тебе! Люто, люто!
Сестра твоя лиходейка
Убила нашего младеня!

И отец видит страшное дело.
Затрясся кабыть от морозу,
Пришла на него озноба люта:
Сгорстал сестру за руки,
Ей руки отсек по запястья.
Повисли ручки, как рукавички.
Этого страху мало,
Этой беды недостало,—
Своего убитого младеня
Брат сестре навязал на локти,
Выгонил сестру за ворота.

И почто с кручины смерть не придет,
С печали душу не вынет!
Боса, кровава, космата,
Без памяти Братанна ступает,
Светлого деничка не видит,

---

[1] Шибла — здесь: бросила.

Не путем бредет, не дорогой —
Черым лесом дремучим,
Белым мохом зыбучим.
Уж некуда Братанне деваться,—
Ей бы заживо в землю закопаться!
Кабы мать-то земля расступилась,
Она живая бы в землю схоронилась.
И тут как свет осветило,
Как на волю двери отворило:
Развеличилось отеческое море
От запада до востока!
Тут волны, как белые кони,
Тут шум, как конское ржанье.
К камню Братанна припадает,
К морю кричит и рыдает:
— Батюшко море, кормилец,
Матка у нас помирала,
Морю нас поручала!
Батюшко синее море,
С тобою живу, помираю,
В лютый день припадаю!
Услышь меня, синее море:
Нет на земле упокоя,
Некуда деться от злобы! —
В камень немая припадает,
В море младеня простирает.

Море убогую слышит,
Море убогую видит.
Страшно стало у моря:
Гром, и облак, и сумрак,
Трубные звуки и буря!
В бурях гора затряслася,
В море Братанна урвалася.
И море Братанну подхватило,
В бездонных пучинах огрузило.
Еще речью море говорило:
— Кто с морем в любви и совете,
Кому на земле управы нету,
Тому от моря управа.
Пригожается сердце морское
Ко всякой человеческой скорби!

И в ту пору, в то время
Диво славно и ужасно:
Пала Братанна в море,
Рученьки мертвы висели,
Пала с мертвым младенем,
Пала нема, полумертва,—
Встала цела и здрава.
Волнами ее подхватило,
В сердце морском переновило:
С костью кость сошлася,
С жилой жила свилася.
Дивны у моря угодья![1]
Руки целы и здравы.

Живой воды немая поглотила,
Запела и заговорила.
Выговаривает светло и внятно,
Поет постатейно и красно:
— Мир тебе, синее море!
Слава морю до веку! —
А море, как лев, рыка́ет,
С младенем, как мать, играет.

И ожил дитя, засмеялся,
По-ребячьи в волнах заплескался.
Вышла Братанна из моря,
Как ново на свет родилась.
Она славу морю припевает,
На руках-то младенец играет.
Слава синему морю,
Мир тебе, сердце морское!

После этого быванья
Брата сестра вспомянула:
— Птичка бы я была, воронка,
Домой бы я полетела,
На окошечке бы посидела,
Брата бы я поглядела!

---

[1] Угодья — деянья.

Дойду я до братнева дома,
Покажусь вдовой-побирухой,
По речам меня не признати,
По рукам на меня не подумать:
Я ушла безъязыка, безрука.
По-вдовьи Братанна повязалась.
Опоясалась по-старушьи,
Младенца в пазуху склала,
Сажей лицо замарала.
Солнце пришло на запад,
Белый день на закате.
К дому Братанна подходит.
В доме песня и пля́сня.

Говорит Братанна кухарке:
— Здравствуешь, тетенька-голубка!
Всё ли у вас по-здорову?
Что у вас за пир, за веселье? —
Статны и внятны вопросы,
Сладки и светлы разговоры,
И кухарка Братанну не узнала.
— Здравствуй и ты, сиротинка!
А пляшет и поет Горожанка,
Этому дому лиходейка.
Брата с сестрой разлучила.
Нашу хозяюшку сгубила.
Ишь, собака, скачет да смеется,
А ей золовкина слеза отольется!

Уж Братанна ей не внимает,
Она в горницу гостину доступает.
Гости сидят за столами,
За яствами, за питьями.
Горожанка перед ними дробно ходит,
Золотым перстнем прищелкнет,
Серебряным каблуком притопнет.
А хозяин выше всех посажен,
Пуще всех хозяин печален:
Без сестры у него пиру нету.
А сестра стоит, поклоны правит:
— Здравствуйте, хозяин с хозяйкой! —
Горожанка Братанну не признала:

— Уваливай, нищая коробка!
Здесь не монастырь, не поминки:
Господские песни да пляски!

Отвечает странница хозяйке:
— Тут-то меня и надо!
Я песни петь разумею,
Былинами душу питаю.—
Не туча с дождем прошумела,
Хозяин в углу отозвался:
— Садись-ка, тетка, на лавку,
Сказывай ста́рину-былину,
Разгони мою тоску-кручину! —
В горнице говбря замолчала,
Странница младеня закачала,
Запела сама, заговорила:

— Маменька помирала,
Сына да дочь благословляла:
«Живите, деточки, в совете,
Сестра, обихаживай брата,
Будь ему в материно место.
Брателко, не обидь сестрицы.
К морю пойдешь — простися,
С моря придешь — доложися.
Клятвою вас заклинаю,
Во свидетели море призываю».
Тут вечерня звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И брат с сестрой зажили советно,
Одподумно они, одноличпо.
А сестра говорить не умела,
А горазда на всякое дело.

После этого бываньн
Брат сестры не спросился,
Молодой женой оженился.
Молода жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Что дом приказан золовке,

А молодка у ней под началом.
Стало все не в честь да не в радость,
Все не в доброе слово.
Лихорадство Горожанка учинила:
Лодейные парусы сгноила,
Подвела под немую золовку...

Горожанка сделалась в лице переменна:
— Врака, врака, врака все!

А брат слушает, дивится, а сам на сестру не подумал, что́ ушла нема и увечна; эта цела и здрава, в речах сладка и успешна.

А странница сидит, как свеча горит,
Слово говорит, что рублем дарит:
— Да... парусы в зиму сгноила.
И этой напасти мало.
Этой беды недостало.
Молодая жена Горожанка
Мужневых трудов не пощадила,
Промысловую лодью погубила,
Подвела на немую золовку
Ябедой, поклепом и подметом...

Горожанка опять зубы явила:
— Врака, врака, врака! Ябеду сказывает и врет!
А муж говорит:
— Не сбивай, со врак пошлин не берут.

Странница эта опять поет:

— Да... промыслову лодью погубила.
И этой кручины мало,
Этого горя недостало.
Коль матери любы дети!
Горожанка дитя не пожалела:
Дитя свое заколола,
Золовкино сголовье зарудила,
Душегубством золовку уличила.
И брат сестре казнь придумал:
Без суда, без сыску, без управы

Руки сестре изувечил,
Навязал на локти младеня
И выгонил сестру за ворота...

Горожанка схватила со стены ловецкое копье да шибла в певицу. Муж копье перехватил на лету, бросил в угол, а сам заплакал:

— Правда, правда! И у нас то!

И опять стала тишина, только странница поет:

— Да... выгонил сестру за ворота.
Побрела кровава, космата.
Шла, пришла на край моря
И к морю немая возопила,
Смерти себе запросила.
На море волны встали,
Как лист, земля затряслася...
В море немая урвалася.
Как сноп, ее море носило
И в сердце морском переновило:
Была нема и увечна,
Стала цела и здрава.
Запели уста, заговорили,
Руки младеня подхватили.
В живой воде дитя заплавал,
По-ребячьи дитятко заплакал...
Дивны у моря угодья!..
Я бабой-старухой срядилась,
К брату на праздник явилась.

Братанна платок-то сдернула да сажу стерла. Больше слов не надо.

Брат сестру узнал, тут радость неудержимая. Упал сестре в ноги, целует ей руки, уста и очи, к сердцу жмет свое детище. А Горожанка заскакала собакой да прянула в окно, только пыль свилась в след. Больше Горожанку здесь никто не видал. Да и кто ее рад видеть!

И после этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдет — простится,
С моря придет — доложится.

А Братанна племянника хвалит,
По головушке его гладит.
Дивны у моря угодья!
Слава сердцу морскому!

## СТАРИНА О ГОСТЕ НОРВЕЖИНЕ

У синего моря, у солоного,
У светлого Гандвика студеного,
У Двины-реки в Низовско́й земли
поживала женочка Устьяночка.
Было у женочки девять сынов,
десята дочка любимая.
Первого сына вода взела,
второго сына земля взела,
третьего мать на войну сдала.
Шесть сыновей на лодью зашли
во студеное море промышлять пошли —
разбивать кораблики гостиные[1].
Дочку-то женочка выростила,
выдала замуж за норвежанина,
за умного гостя отменитого.
Увез ей норвежин за сине море,
во свою землю, во большую семью.
Жила, молода, не печалилась.
Отставала обычая крестьянского,
навыкла обычая латыньского.
Тут повытают снежочки у чиста́ поля,
придет весна разливна красна.
Тогда молода стосковалася,
стала мужа упрашивать:
— Поплывем, норвежин, во святую Русь,
светлым-светла земля русская!
она травами, цветами изукрашена.
Поплывем, норвежин, в гости к маменьке.
Норвежин ей на смех отворачиват,
отнялся норвежин недосугами.

[1] Гостиные — купеческие.

Она год жила, и другой жила,
родила сына, закручинилась.
Повеяли ветры весенние,
побежали кораблики за море.
Молода-то мужу разговариват:
— У нас русска-та земля хлебородимая,
житными полями изукрашена,
кунами-соболями изнаполнена.
Дорогу́-то рыбу кораблем берут;
добрых коней с торгу табуном ведут!
Поплывем, норвежин, во крещену Русь!
А и тут норвежин не ослышался,
Оснастил кораблик белопарусной.
Нагрузил товарами мено́выми[1],
которы товары в Руси надобны.
Порядил подсобных корабельщиков.
Выпало пове́терье на Русь идти;
скричала гагара за синим морем;
сплакала мати норвежина.
Побежал корабличек за море,
во светлое печальное раздольице.
Парусом бежали полтретья дни,
Оминули береги варяжские.
Варяжско-то море на волнах стоит,
встречу норвежанам лодья летит.
На той лодье Русь крещеная,
шесть братов — дружина разбойная.
Струбила Русь во серебрян рог
грозно, и звонко, и жалобно.
Ударила Русь на норвежаны;
сгремели копья долгомерные
о булатны доспехи норвецкие.
Молода дружина корабельная
твердо стала о норвежине.
Они телом толсты, а умом просты.
Запа́дали норвежана труп на труп.
А разбойна та дружина натодельная,
от роду доспеху с плеч не складывали,
опричь копья забавы не задеивали.
Молода-то женочка-норвежанка
Жмет своего детища посечена,

[1] Для меновой торговли.

На полы младеня порублена.
Видит норвежан, крепко бьючися,
Молит себе смерти скорые:
— Не видеть бы в мертвых своего мужа.
А он в первых испил чашу смертную,
от Руси крещеной без правды убит.
Ра́тились норвежане мужественно,
билися днйну до вечера,—
никто не избыл смерти горькие.
Разбойна дружина стала радоваться:
— Немцев-то было шестнадцатеро,
нас-то молоденьких шестеро!
А ратно-то дело нать доправливать.
Они трупье-то сбодали в море копьями,
расхожий товар следом высвистали,
отборной товар в лодью выгрузили.
Вдовицу-норвежанку в полон взяли,
Воеван кораблик огнем сожгли.
Разметали по морю по синему,
По широкому печальному раздольицу.
Встала заря многокровавая,
Красно-то солнце ушло к за́кату.
Норвецко трупье плывет к западу.
Разбойна дружина разгуляласяя.
Они пьют, и льют, и в набаты бьют.
Люто пили — обесстужились,
молоду вдову стали безчестити.
На первой, на па́зори, на утренней
Затянуло дружину в могутны сны.
Один только разбойничек не спит,
не лежит,—
У руля сидит, на вдову глядит.
Признял́ася[1] на коленца молода вдова,
обвела кругом очи ясные.
Пустила вопль по синю морю,
по светлому, печальному раздольицу.
Стала звати на русску речь:
— Прости, прости, любезный муж!
Прости, осударь, одинакой сын!
простите, осудари корабельщики!
простите, горды норвецкие!

---

[1] Приподнялась.

Тебе бог судья, земля русская!
Не виню дружину разбойную,
мне положить обида на свою голову!
Нету причитанья против вдовьего,
нету слез против матерних.
Еще плачет женочка на русску речь,—
молодой-то разбойник приросслушался,
Учал вдовы разговаривать:
— Не плач-ко ты, женочка-норвежанка!
Мужу твоему не воротитися,
покоен лежит во синем мори.
Муж твой убит, а и всем там быть.
У тя кто остался роду, племени?
Ты какого отца, какой матери?
Ты русського роду аль норвецкого?!
Ему стала полоняночка сказывать:
— Я по мужу-то немка, а род с Руси.
В Двинской-то губы, в Низовской земли,
У светлого Гандвика студеного
Поживала маменька Устьяночка.
Было у маменьки девять сынов.
Я — та десята любимая.
У меня первого брата вода взела;
Второго брата земля взела;
третьего мати на войну сдала.
Шесь-то братей на лодью зашли,
побежали до моря, до Варяжского.
Нет об их ни вести, ни навести.
После-то братнева бываньица
одна я у маменьки выросла.
Наехали сваты из-за моря,
Взели меня за норвежанина,
за ласкового молодца хорошего.
Увез меня норвежин во свою землю.
Тут год-то за годом, как снег, идет.
Жили-пожили, сына нажили.
Падут ветерочки полуденные,
побежат лодейки весновальные,
стала я мужа уговаривать:
— Поедем, норвежин, в гости к маменьке!
Навеку меня норвежанин не бранивал,
поперечного словечка не говаривал,
покрутил подстанных корабельщиков,
отворил паруса белы полотняны,

Оминули береги варяжские,
норвецка-та земля потаилася.
Студеное море на волнах стоит,
Навстречу-то ваша лодья бежит,
Труба-то трубит, и копье звенит,
Зарудилися поддоны корабельные,
побежала кровь во сине море,
Выпили норвеги чашу смертную.
Не осталося в живых ни единого.
Нету у меня мужа милого,
нет у меня детища любимого.
Только сраму у меня много добыто,
вековечного укору будет до веку...
Молодо-ет разбойник приужáснулся,
захватился за сестру, приросплакался.
Зачал дружину роспинывать,
не по-доброму братьев побуживать:
— Горе нам, братья разбойники!
Грóзна беда сотворилася!
Страшное дело учинилося!
Мы зята на копья насýнули,
милого племяша секли на полы,
родну сестру обесчестили!

## ОБ АВДОТЬЕ РЯЗАНОЧКЕ

Зачинается доброе слово
Про Авдотью-жёнку, Рязанку.

Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистали.
Деялось в стародавние годы.
Не от ветра плачет сине море,
Русская земля застонала.
Подымался царище татарский
Со своею Синею Ордою[1],
С пожарами, со смертями.

[1] *Синяя Орда* — прозвище одного из племен во времена нашествия монголо-татар на Русь.

Города у нас на дым пускает,
Пепел конским хвостом разметает,
Мертвой головой по земле катит.
И Русь с Ордой соступилась,
И были великие сечи...
Кровавые реки пролилися,
Слезные ручьи протекали.
Увы тебе, стольный Киев!
Увы, Москва со Рязанью!
В старой Рязани плач с рыданьем:
Носятся страшные вести.
И по тем вестям рязанцы успевают,
Город Рязань оберегают:
По стенам ставят крепкие караулы,
В наугольные башни — дозоры.

Тут приходит пора-кошенина.
Житье-то бытье править надо.
Стрелецкий голова с женою толкует,
Жену Авдотью по сено сряжает:
— Охти мне, Дунюшка-голубка,
Одной тебе косить приведется,
Не съездить тебе в три недели,
А мне нельзя от острога отлучиться,
Ни брата твоего пустить с тобою,
Чтобы город Рязань не обезлюдить.

И Авдотья в путь собралася,
В лодочку-ветлянку[1] погрузилась.
Прощается с мужем, с братом,
Милого сына обнимает:
— Миленький мой голубочек,
Сизенький мой соколик,
Нельзя мне взять тебя с собою:
У меня работа будет денно-нощна,
Я на дело еду скороспешно.

---

[1] Ветля́нка — лодка, прошитая корнями ветлы — ивы. Такое крепление было прочнее железного.

После этого быванья
Уплыла Авдотья Рязанка
За три леса темных,
За три поля великих.
Сказывать легко и скоро,
Дело править трудно и долго.
Сколько Авдотья сено ставит,
Умом-то плавает дома:
«Охти мне, мои светы,
Всё ли у вас по здорову?»

А дни, как гуси, пролетают,
Темные ночи проходят.
Было в грозную ночку —
От сна Авдотья прохватилась,
В родимую сторонку взглянула:
Над стороной над рязанской
Трепещут пожарные зори...
Тут Авдотья испугалась:
— Охти мне, мои светы!
Не наша ли улица сгорела? —
А ведь сена бросить не посмела:
Сухое-то кучами сгребала,
Сучьем суковатым пригнетала,
Чтобы ветры-погоды не задели.
День да ночь работу хватала,
Не спала, не пила, не ела.
Тогда в лодчонку упала,
День да ночь гребла, не отдыхала,
Весла из рук не выпускала.
Сама себе говорила:
— Не дрожите, белые руки,
Не спешите, горючие слезы! —
Как рукам не трястися,
Как слезам горючим не литься?
Несет река головни горелы,
Плывут человеческие трупы.
На горах-то нет города Рязани,
Нету улиц широких,
Нету домовного порядка.
Дымом горы повиты,
Пеплом дороги покрыты.
И на пеплышко Авдотья выбредала.

Среди городового пепелища
Сидят три старые бабы,
По мертвым кричат да воют,
Клянут с горя небо и землю.
Увидели старухи Авдотью:
— Горе нам, женка Авдотья!
Были немилые гости,
Приходил царище татарский
Со своею Синею Ордою,
Наливал нам горькую чашу.
Стращен был день тот и грозен.
Стрелы дождем шумели,
Гремели долгомерные копья.
Крепко бились рязанцы,
А татар не могли отбити,
Города Рязани отстояти.
Убитых река уносила,
Живых Орда уводила.
Увы тебе, женка Авдотья,
Увы, горегорькая кукуша!
Твое теплое гнездышко погибло,
Домишечко твое раскатилось,
По камешку печь развалилась.
Твоего-то мужа и брата,
Твоего-то милого сына
В поло́н увели татары!

И в те поры Авдотья Рязанка
Зачала лицо свое бити,
Плачем лицо умывати.
Она три дня по пеплышку ходила,
Страшно, ужасно голосом водила,
В ладони Авдотьюшка плескала,
Мужа и брата кричала,
О сыне рыдала неутешно.
Выплакала все свои слезы,
Высказала все причитанья.
И после этого бываньй
Вздумала крепкую думу:
— Я пойду вслед Орды, вслед татарской,
Пойду по костям по горелым,

По дорогам пойду разоренным.
Дойду до Орды до проклятой,
Найду и мужа и брата,
Найду своего милого сына!

Говорят Авдотье старухи:
— Не дойти тебе Орды за три года.
Пропадешь ты, женка, доро́гой,
Кости твои зверь растащит,
Птицы разнесут по белу свету.

Говорит Авдотья старухам:
— То и хорошо, то и ладно!
Дожди мои косточки умоют,
Буйные ветры приобсушат,
Красное солнце обогреет.

Говорят Авдотье старухи:
— В Орде тебе голову отымут,
Кнутом тебе перебьют спину.
— Двум смертям не бывати,
А одной никому не миновати! —
И пошла Авдотья с Рязани:
Держанный на плечах зипупишко,
На ногах поношенны обутки.
И поминок[1] добыла своим светам:
По́яса три да три рубахи.
— Найду их живых или мертвых,
В чистые рубахи приодену.

Шла Авдотья с Рязани,
Суковатой клюкой подпиралась.
Шла она красное лето,
Брела она в грязную осень,
Подвигалась по снегу, по морозу.
Дожди ее насекают,
Зимние погоды заносят.

---

[1] П о м и́ н о к — памятный подарок.

Страшно дремучими лесами:
В лесах ни пути, ни дороги;
Тошно о лед убиваться,
По голому льду подаваться.
Шла Авдотья с Рязани,
Шла к заре подвосточной,
Шла в полудённые страны,
Откуда солнце восходит,
Смену несла своим светам:
Три пояска да три рубахи.
Шла, дитя называла,
Мужа и брата поминала.
Тогда только их забывала,
Когда крепким сном засыпала.
Шла Авдотья близко году,
Ела гнилую колоду,
Пила болотную воду.
До песчаного моря доходила.
Идут песчаные реки,
Валится горючее каменье,
Не видать ни зверя, ни птицы;
Только лежат кости мертвых,
Радуются вечному покою.
В тлящих полуденных ветрах,
В лютых ночных морозах
Отнимаются руки и ноги,
Уста запекаются кровью.

И после этого быванья
Веют тихие ветры,
Весна-красна благоухает,
Земля цветами расцветает.
Жёночка Авдотья Рязанка
На высокую гору восходит,
Берега небывалые видит:
Видит синее широкое море,
А у моря Орда кочевала.

За синими кудрявыми дымами
Скачут кони табунами,
Ходят мурзы-татаре,
Ладят свои таборы-улусы.

Тут-то Авдотью увидали,
Врассыпную от нее побежали:
— Алай-булай, яга-баба!
— Алай-булай, привиденье! —
Голосно Авдотья завопила:
— Не бегайте, мурзы-татаре!
Человек я русского роду.
Иду в Орду больше году,
Чтоб вашего царя видеть очи.—
И в ту пору, и в то время
Авдотью к царищу подводят.
Блестят шатры золотые,
Стоят мурзы на карачках,
Виньгают в трубы и в набаты,
Жалостно в роги играют,
Своего царища потешают.

Сидит царище татарский
На трех перинах пуховых,
На трех подушках парчовых.
Брови у царища совины,
Глаза у него ястребины.
Усмотрел Авдотью Рязанку,
Заговорил царище, забаял:
— Человек ты или привиденье?
По обличью ты русского роду.
Ты одна-то как сюда попала?
Ты не рыбою ли реки проплывала,
Не птицей ли горы пролетала?
Какое тебе до меня дело? —
И жёнка Авдотья Рязанка
Его страшного лица не убоялась:
— Ты гой еси, царище татарский,
Человек я русского роду,
Шла к тебе больше году,
Сквозь дремучие леса продиралась,
О голые льды убивалась,
Голод и жажду терпела,
От великой нужды землю ела.
Я шла к тебе своей волей,
У меня к тебе обидное дело:
Приходил ты на Русь со смертями,
С пожарами, с грабежами,

Ты разинул пасть от земли до неба,
Ты Рязань обвел мертвою рукою,
Катил по Рязани головнею,
Теперь ты на радости пируешь...

Ей на то царище рассмехнулся:
— Смело ты, жёнка, рассуждаешь,
Всего меня заругала!
Не слыхал я такого сроду.
А не будем с тобою браниться.
Давай, Рязанка, мириться.
Какое тебе до меня дело? —
Говорит Авдотья Рязанка:
— Ты увел в полон моего мужа и брата,
Унес моего милого сына.
Я ночью и днем их жалею,
Покажи их живых или мертвых.
Я одену их в чистые рубахи,
Поясами их опояшу,
Покричу над ними, поплачу,
Про запас на них нагляжуся.

И царь на Авдотью дивится:
Орда молодцов видала,
Такого образца не бывало!
Не князь, не посол, не воин —
Женочка с Рязани, сиротинка,
Перешла леса и пустыни,
Толкучие горы перелезла,
Бесстрашно в Орду явилась...
Гой вы, мурзы-татаре,
Приведите полоняников рязанских,
Пущай Авдотья посмотрит,
Жив ли муж ее с братом,
Тут ли ее милое чадо!

И полон рязанский приводят,
И Авдотья видит мужа и брата,
Живого видит милого сына.
И не стрела с тугого лука спрянýла,
Не волна о берег раскатилась,

С семьей-то Авдотьюшка свидалась.
Напали друг другу на шею,
Глядят, и смеются, и плачут.
Говорит царище татарский:
— Жалую тебе, женка Авдотья,
За твое годичное хожденье:
Из троих тебя жалую единым,
Одного с тобою на Русь отпущаю.
Хочешь, бери своего мужа,
Хочешь, бери себе сына,
А хочешь, отдам тебе брата.
Выбирай себе, Рязанка, любого.

И в ту пору и в то время
Бубны, набаты замолчали,
Роги и жалейки перестали.
А женка Авдотья Рязанка
Горше чайцы морской возопила:
— Тошно мне, мои светы!
Тесно мне отовсюду!
Как без камешка синее море,
Как без кустышка чистое поле!
Как я тут буду выбирати,
Кого на смерть оставляти?!
Мужа ли я покину?
Дитя ли свое позабуду?
Брата ли я отступлюся?..
. . . . . . . . . . . . . . .
Слушай мое рассужденье,
Не гляди на мои горькие слезы:
Я в другой раз могу замуж выйти,
Значит, мужа другого добуду.
Я в другой раз могу дитя родити,
Значит, сына другого добуду.
Только брата мне не добыти,
Брата человеку негде взяти...
Челом тебе бью, царь татарский,
Отпусти на Русь со мною брата!

И в то время жёнка Рязанка
Умильно перед царищем стояла,
Рученьки к сердцу прижимала,

Не мигаючи царю в очи глядела,
*Только слезы до пят протекали.*
Тут не на море волна прошумела,
Авдотью Орда пожалела,
Уму ее подивилась.
И царище сидит тих и весел.
Ласково на Авдотью смотрит,
Говорит Авдотье умильно:
— Не плачь, Авдотья, не бойся,
Ладно ты сдумала думу,
Умела ты слово молвить.
Хвалю твое рассужденье,
Славлю твое умышленье.
Бери себе и брата, и мужа,
Бери с собой и милого сына.
Воротися на Русь да хвастай,
Что в Орду не напрасно сходила,
На веках про Авдотью песню сложат,
Сказку про Рязанку расскажут...
А и мне, царищу, охота,
Чтобы и меня с Рязанкой похвалили,
Орду добром помянули.
Гей, рязанские мужи и жены,
Что стоите, тоскою покрыты?
Что глядите на Авдотьину радость?
Я вас всех на Русь отпущаю.
Гей, жёнка Авдотья Рязанка!
Всю Рязань веди из полону,
И будь ты походу воевода.

И в те поры мурзы-татаре
Своего царища похваляют,
Виньгают в трубы и в роги,
Гудят в набаты, в бубны.
И тут полоняники-рязанцы
Как от тяжкого сна разбудились,
В пояс Орде поклонились,
Молвили ровным гласом:
— Мир тебе, ордынское сердце,
Мир вашим детям и внукам!

И не вешняя вода побежала,
Пошла Рязань из полону.
Понесли с собой невод и карбас

Да сетей поплавных — переметов,
Чем, в дороге идучи, питаться.
Впереди Авдотья Рязанка
С мужем, с братом и с сыном,
Наряжены в белые рубахи,
Опоясаны поясами.

После этого быванья
Воротилась Рязань из полону
На старое свое пепелище,
Житье свое управляют,
Улицы ново поставляют.
Были люди, миновались,
Званье, величанье забывалось.
Про Авдотью память осталась,
Что женка Авдотья Рязанка
Соколом в Орду палетала,
Под крылом Рязань уносила.

## ССОРА ИЛЬИ МУРОМЦА С КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ

Что во городе во Киеве,
У князя Володимира,
Заводился почестен пир.
Тут все-то созваны
Князья и бояре,
И могучие богатыри:
Добрыня Никитич свет,
Алеша Попович млад,
И Дюк Степанович,
И Василий Буслаевич.
Только нету матерого старика,
Только нету Ильи Муромца,
Не позвали Ивановича.
Илье-то Муромцу
Обидно палося.
Он с полатей спрядывает,
Шелковы портки подтягивает,

На крылечко выхаживает.
Тугой лук натягивает,
Калену стрелу накладывает...
Полетела калена стрела,
Отшибала маковки
У хором-то боярских,
У домов-то купецких.
Илья-то Иванович
По улке похаживает,
Кричит во всю голову:
— Эй вы, голи кабацкие,
Доброхоты царские!
Собирайте золоты коньки,
Хрустальные маковки,
Волоките во царевы кабаки,
Пропивайте на зеленом на вине,
Поминайте Ильи Муромца
Обиду великую! —
Эти голи кабацкие,
Все горькие пьяницы,
Собирали золоты коньки,
Хрустальные маковки,
Потащили во царевы кабаки,
Пропивали на зеленом на вине.
Эти голи кабацкие,
Они будут во полупьяне,
Илья-то Иванович
По кабакам-то похаживает,
Умильно выговаривает:
— Вы, други любезные,
Голи кабацкие,
Не оставьте старого
Старичонка убогого
Илейку-то Муромца
На обиде великия[1].
Пойдем на княжий двор,
Володимира повыгоним!
Со княжа стола повысадим! —
Говорят голи кабацкие:
— Илья Иванович,

---

[1] Старинная форма предложного падежа в единственном числе.

Твое пили-кушали,
Тебя и слушаем! —
Эти голи кабацкие,
Все горькие пьяницы,
Они валят по городу,
Идут по Киеву,
Бежат на княжий двор.
Володимир стольно-киевский
Увидал, закручинился:
— Охти, тошнехонько!
Илья-то Муромец
Сособирал голей кабацкиих,
Идут меня выгонити,
Со стола-то повысадити!
Ты, Добрыня Никитич свет,
С Ильей-то Муромцем
Вы братья крестовые.
Ты Илью поуговаривай,
Не ходил бы на мой-то двор
С голями кабацкими.—
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапоньку,
Умильно выговаривал:
— Илья Иванович,
Крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися,
У нас клятва положена
Друг друга слушати.
Не ходи ты на княжий двор
Со голями кабацкими.—
Говорит Илья Муромец:
— Я князя ничем зову,
Я Владимира не слушаю,
Но я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Нейду на княжий двор,
Не велю голям кабацкиим.—
Что со этой-то радости
Володимир стольно-киевский
Принадвинул белодубовых столов,
Принабавил питей-кушаний.
Говорит Добрынюшке:

— Ступай, Никитич млад,
Зови-тко Муромца
Ко мне на княжий пир,
Ко мне во княжий стол.—
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапочку,
Умильно выговаривал:
— Илья Иванович,
Крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися.
У нас клятва положена
Друг друга слушати:
Пожалуй на княжий пир,
Пожалуй во княжий стол.—
Говорит Илья Муромец:
— А я князя ни во что кладу,
Но я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Приду во княжий стол,
Приду во княжий пир.
Будет пир во полупире,
Княжий стол во полустоле.—
А и тут песни поют,
А и тут гудки гуднут,
Тогда Илья пожаловал.
И Владимир стольно-киевский,
Он прядал со лавицы,
Илье в пояс кланялся,
Умильно выговаривал:
— Что уж гость-от идет не по нам,
Не по нашим достаточкам.
Илью-то Ивановича,
Гостенька самолучшего,
Я чем буду потчевати,
Я как буду чествовати? —
Говорит Илья Муромец:
— Ты хитёр, Володимир-князь,
Догадался, кого послать
По Илейку-то Муромца,
Кабы не Добрынюшка,
Не его речи умильные,
Тебе не быть бы во городе,

Не сидеть па княжом столе.—
Старина стародавняя,
Былина, быль досельная
Морю на утишенье,
Добрым людям на услышанье.

## СТАРИНА О ВАРЛАМИИ КЕРЕТСКОМ

Согласно рукописному житию, Варламий жил в XVI веке, был протопопом соборной церкви города Колы. Красавица жена изменяла ему с приходящим в Колу скандинавом Олафом (или Фарлафом). Варламий убил жену, положил ее тело в лодью и отплыл в океан. Житие говорит, что после долгих путеплаваний Варламий поднялся в Белое море, причалил к берегу около села Кереть[1], похоронил жену в каменной вараке и сам остался тут для пустынного подвига.

Устное песенное предание утверждает, что Варламию, во искупление убийства, определено вечно плавать во льдах Северного океана.

Балладу о Варламии слышал я в дни юности от своих семейных в Архангельске. Пелись уже только отрывки. Забытый стих пересказывался простой речью.

— Иерею Варламие,
Где твоя молода жена?
— Она ушла в гости к татеньке,
Ко родителю-маменьке.
— Нет, ерею Варламие,
Твоя жена за гульбой ушла:
Ночью в город Фарлаф на лодьи прибежал.
По твою госпожу в божью церковь послал.

Она, боса и пьяна,
С корабельщики целуется,
Со фарлафами валяется.
Поп Варламий зачнет их колом
Огородним градить:

---

[1] Село Кереть на Западном берегу Белого моря.

— Про мою госпожу так не сметь говорить!
Она жена иереева,
Она краса несказанная!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поп Варламий о Паске обедню служил,
По собору свещу со цветами носил.
«Паска красная» пел.
— Не видали ли, миряне, где девалась госпожа?
Она дома ночевала и к обедне шла...

— Твоя госпожа
За гульбою ушла.
Ночью в город Фарлаф
На лодье прибежал,
По твою госпожу
В божью церковь послал.
Она теперь пьяна,
Боса и без пояса.
С корабельщики валяется,
со фарлафами целуется.
Поп Варламий с свещей и с цветами
на пристань идет
и свою госпожу с воплем крепким зовет:
— ...без тебя дома пиру нет!
без тебя в церкви пенья нет!
Жена отвечает ему:
— Я одежды поповской боюсь,
Я твоей бороды не люблю.
Полюбила я молодчика кудрявенького,
я Олафа, я Фарлафа расхорошенького.
Поп Варламий с плечей епитрахиль сымал
и святой патрахилью жене белы руки вязал...

Затем он привел жену в собор, становил против алтаря, покаял жену последним покаянием и, взяв с престола копье, метнул копье в жену. Она бежит по церкви, прячась за столпы. Но копье настигло ее...

Поп Варламий во гроб госпожу,
как к венцу, снаряжал.
Космы пьяные ей на челе
благочестно сплетал:
— Спи, жена иереева,
Спи, краса несказанная!

Взвалив гроб-колоду на плечо, Варламий идет к лодейным причалам, к морю. Фарлаф и его дружина не успели отчалить. Варламий занес колоду на варяжский корабль, поставил свою ношу у середовой мачты. Потом, ухватя якорь, перебил всю варяжскую дружину, в том числе и Фарлафа. Сбодав трупье в воду, Варламий приготовился к отплытию. Народ принес сноп воскояровых свеч. Их зажгли вкруг госпожи. Отдали причалы, Варламий открыл паруса. Скричала гагара за синим морем. Набежала полоска тумана и скрыла уходящую лодью.

С той поры, говорят легенды, век прошел за веком. Варламий сидит у руля и не спускает глаз с лица жены, красота которой не померкла. Века проходят за веками, но,

Не устал Варламий
У руля сидеть.
Не уснул Варламий
На жену глядеть.
Не умолк Варламий
Колыбельну петь:
— Спи, жена иереева,
Спи, краса несказанная!

Когда весною к тому или другому берегу Белого моря наносило туман, старики говорили:

— Варламьева лодья подошла.

Отец мой, бывавший в Северной Норвегии, говорил, что, когда с Мурманского берега подвалит туман к Варде и Вадзе, рыбаки-норвежцы шутят:

— Русский поп жену привез.

## ЕМШАН-ТРАВА

Емшан-трава благоухает,
Песню в уста мои влагает.

Деялось в стародавние годы:
Князь Владимир — грозные очи
Дружил с половецкой ордою;
В гости звал князей половецких,
Братьев Отрока и Сырчана.

И на пиру братьев обидел —
Обнес круговою чашей:
Почтил перво Юнду, чудина.
И Сырчан на князя оскорбился:
— У Владимира-князя правды нету,
В гости звал, величал сыновьями,
А чествовал ниже холопа.—
И Отрок Сырчана унимает:
— Не по делу крамолишься, брате.
Со всеми Володимир ровно грозен,
С бояриним грозен и со смердом.
А мы не князю — мы Киеву дружим,
С Киевом у нас нету обиды.—
Сырчан на то рассмехнулся:
— Ты и наймися Киев караулить.
Повесь на бедро колотушку,
Ходи по улицам, стукай!
А моя голова не поклонна,
Я надвое сердце разбиваю:
Родимые степи покидаю,
А с Владимиром-князем мне тесно! —
И ушел Сырчан на чужбину,
С родимою степью простился,
С травами, со цветами...
— Прости и ты, милый брате,
У меня с тобой нету обиды!—
И после этого быванья
Черкесские горы и долы
Родиной Сырчан называет,
Стоит за них честно и грозно,
Мечом и щитом обороняет.

И после этого быванья
За годами проходят годы,
И грозный Сырчан-воевода
Царем на горах учинился,
Надел золотую шапку,
Принял серебряный посох,
Сел на высоком троне.
Позабыл родимые степи
Со травами, со цветами,
С вешними ручейками...

И после этого быванья
За годами проходят годы.
Умер в Киеве князь Володимир,
Закрыл свои грозные очи...
И Отрок гонца снаряжает:
— Поспешай в Черкесские горы,
Сказывай кончину Мономаха,
Домой зови брата Сырчана,
Пой ему половецкие песни.
А если не послушает песен,
Подай ему пучок травы-емшана,
Подай вот эту горсть травы душистой...

И гонец в дорогу напустился.
Горные дороги протяжны,
Емшан в пути завял и высох,
Но живет его благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье.

И после этого быванья
Гонец доступает до Сырчана.
Сырчан с дружиной пирует.
На челе золотая шапка,
В руках медвяная чаша.
— Здравствуй, гонец половецкий!
Сказывай вести от брата.
И звенят половецкие гусли,
Под гусли гонец держит слово:
— Вернись домой, господине!
Умер грозный князь Володимир,
Закрылись орлиные очи.
Вернись домой, господине!
Новый князь любителен и ласков.—
Сырчан на то усмехнулся:
— Что мне до княжеской ласки!
Я царь над тремя городами,
Над всею Черкес-горою!
Я Киевского князя не меньше.—
Но звенят половецкие гусли
Перелетных птиц голосами,
Весенними ручейками:
— Вернись домой, господине!
Помяни половецкие степи.
У нас реки, озера разлилися,

Лебеди и гуси — будто пена.—
И Сырчан хмурит грозные брови:
— Добро, игрец половецкий!
Мне мать певала эти песни.
Вспомнил я голоса степные...
Да мне домой не вернуться,
С золотою клеткой не расстаться,
Не сменить дворца на кибитки.

Тогда гонец половецкий
Подает царю пучок емшана,
Подает пучок травы душистой.
И царь берет траву, дивяся,
И к лицу пучок травы степной подносит.
И стряслося дивное диво:
Грозный царь прикрыл глаза рукою
И, пучок степной травы целуя, плачет.
Жмет к устам пучок травы душистой,
И по грозной бороде струятся слезы...
Нежное травы благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье...

И Сырчан не видит гор, теснин угрюмых.
Степь перед ним бескрайная сияет,
Половецкие кибитки вереницей,
Мать поет, емшан-траву сбирает;
Та трава печали отымает...

И молчит разгульная дружина,
И дивит на слезы господина...
А Сырчан встает тих и весел.
С головы сложил царскую шапку,
Царский посох в угол поставил;
Надевает сукман[1] половецкий,
Пастушью шапку баранью,
Меч по бедре опоясал.
Сел на коня и молвил:
— Прощайте, живите, други!
Зовет меня милая отчизна.
Ухожу в половецкие степи,
В родимую землю навеки!..

---

[1] Сукма́н — суконный кафтан.

И после этого быванья
Два всадника правят дорогу,
Правят под северный ветер.
Сырчан и гонец половецкий
В милую едут отчизну,—
Едут денно и нощно,
Синие дали соглядают:
Не блеснут ли реки степные,
Не сбелеют ли шатры кочевые.

## СЛОВАРЬ ПОМОРСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, ОБЪЯСНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

А к с и́ н ь я - п о л у з и́ м н и ц а — 24 января старого стиля. По народному календарю — середина зимы, уже прошла половина холодов.

А ф а н а́ с ь е в  д е н ь — 18 января старого стиля. С этого дня кончается полярная ночь, в полдень показываются утренние зори. Со 2 февраля старого стиля появляется солнце, светлое время увеличивается с каждыми сутками, постепенно переходя в беззакатный северный трехмесячный день.

Б а р к, б а р к а — океанское парусное судно, у которого задняя мачта снабжена косыми парусами, а остальные имеют прямые паруса.

Б а х и́ л ы — высокие кожаные сапоги на мягкой подошве с круглыми носками, сшитые на прямую колодку; удобны для хождения по толстому льду в зимнее и летнее время, употребляются поморами на промыслах.

Б а ю н о́ к (от слова «баять») — сказочник.

Б л а́ г о — много.

Б л а з н и́ т ь — мерещиться, казаться, представляться.

Б о т — род лодки; ходит на веслах или под парусом; в наше время применяются моторные боты.

Б р а т ы́ н я — деревянный или медный сосуд для браги или кваса.

Б р и г, б р и г а н т и́ н а — типы легкого двухмачтового судна: у брига прямое вооружение, у бригантины — вторая мачта с косыми парусами, строились на Севере в XVIII и XIX веках.

Б у с, б у́ с е л ь — мелкий дождь, мокрый туман, морось.

Бутепант — воинский чин в польской армии во времена польской оккупации 1612 года.

Быва́нье — событие, происшествие.

Быстри́на — течение, быстрота, быстрое течение воды.

Ва́женка — самка оленя.

Ван, или вапа, — краска.

Ва́рака — гора, крутой холм, скалистая гора у берега моря.

Ватерли́ния — линия или полоса, наведенная краской по корпусу судна от носа к корме. Глубже этой линии судно при погрузке не должно садиться в воду.

Веде́ньев день — 21 ноября старого стиля. По народному календарю — время обильных снегопадов: пошла настоящая зима.

Велизария питает — Велизарий, знаменитый византийский полководец (499—565 гг.), после громких побед над персами и другими врагами Византии в результате дворцовых интриг подвергался временной опале, которая впоследствии и дала повод к легенде об ослеплении Велизария, о том, что кончил жизнь он нищим. В старинных школьных хрестоматиях можно было прочесть историю Велизария, в которой упоминалось, что мальчик-поводырь собирал подаяние для прокормления несчастного Велизария.

Ве́рес, вереск — можжевельник; вересовый — можжевеловый.

Верфь — место, где строят суда и корабли.

Ветреница — шитый из разноцветной материи длинный и узкий флаг, показывавший направление ветра; прикреплялись на длинных шестах. Встречались и служили скорее украшением в Архангельске, включая начало XX века.

Взво́день — сильное волнение на море; крутая, большая волна, крутой вал.

Вздохнуло море — начался прилив.

«Виноград (то есть сад) Российский» — книга Андрея Денисова (1675—1730 гг.) о преследованиях, которым подвергались со стороны церкви и царской власти староверы в конце XVII и в начале XVIII века. Андрей Денисов основал на реке Выг крупное поселение староверов, которое стало своеобразным культурным центром Поморья (так называемая Выгореция).

Вода крóтка — отлив, состояние воды во время наибольшего отлива, затишье при смене отливно-приливных течений.

Волощане — жители волости.

Встóк (также всточник) — восточный ветер; порывистый, часто штормовой силы ветер с востока, дующий в западном устье пролива Маточкин Шар.

Выть — еда, прием пищи. В обычных условиях у поморов было три-четыре выти в день: первая выть — завтрак, между 4 и 6 часами утра; вторая выть — обед (обедник) в 9 часов утра; третья выть — паужина — между обедом и ужином; четвертая выть — ужин (ужна). На промыслах были две главные выти: первая — в 9 часов утра и вторая — в 3 часа дня.

Во срéту — навстречу.

Гальот — вид морского парусного судна, разновидность шхуны голландского образца, на Севере появилась с XVIII века.

Гáндвиг — песенное название Белого моря, слово скандинавского происхождения.

Гарчи́т, гаркать — хрипло лаять.

Гля́день — 1) знак на берегу (обычно крест или пирамида из камней), указывающий безопасный фарватер при заходе в становище или пролив; 2) возвышенный пункт у становища, с которого открывается широкий вид на море. Отсюда наблюдали за морем.

Гну́с амбарный — мыши.

Говóря — речь, разговор.

Гóлк — крик, галдеж.

Гóломень, гóломя — дальнее от берега, открытое море; голомя́нный — уходящий далеко в море.

Голубéц — голубая, бирюзовая краска.

Гóрло, Горловина — пролив, соединяющий два бассейна; Горло Белого моря — пролив, соединяющий северную часть Белого моря с Баренцевым морем.

Грумалáны (груманланы) — русские промышленники, плававшие на Грумант (Шпицберген) и зимовавшие там.

Губá, губи́ца — большой залив, в который впадает более или менее крупная река. Губа носит название той реки, устье которой выходит в губу.

Гу́бка, или ла́хта, — небольшая губа, мелководный морской заливчик.

Гудо́к — древнерусский музыкальный инструмент, похожий на виолончель.

Домови́ще — гроб.

Досе́льный — старинный.

«Де мортуи низиль пи бебене» — искаженная латинская поговорка: «De mortuis aut bene aut nihil» — «О мертвых (говори) или ничего, или хорошее».

Дра́вить (то же, что драить) — тереть, чистить; палубу дравить — мыть палубу.

Дресва́, дресвя́ный камень — из породы гранитов, в пережженном и измельченном виде употребляется для мытья полов, палубы и деревянных тротуаров; для этого раскаленные в печи камни бросают в холодную воду, отчего они становятся хрупкими, а потом измельчают до крупнозернистого песка.

Его́рьев день — 23 апреля старого стиля, время весеннего половодья на Севере. «Егорий с водой, Никола (9 мая ст. ст.) — с травой, троица (50-й день после пасхи) — с листом».

Ёла (отсюда — ялик) — легкое на ходу беспалубное однопарусное судно с высоким носом и кормой; применяется для рыбного промысла у мурманских берегов и в Норвегии, откуда и взят поморами образец этого судна.

Жи́ра (жировать) — богатство, роскошество.

За́болонь — ближайшая к коре молодая часть древесины. Превращается в годичное кольцо. Заболонь, как недостаточно окрепшая часть древесины, при подборе судостроительного материала удаляется.

Задве́нный — удаленный, далеко задвинутый.

За́лёжка — скопление зверя на льдине или на берегу.

Закати́мое, всхо́жее — подразумевается солнце.

Заро́д — стог сена.

Заруди́ть — окровавить, окрасить кровью.

Зару́пасить — загромоздить льдом, наторосить.

Зато́р — стеснение льда в устье весною.

Здви́женье — воздвиженье, церковный праздник 14 сентяб-

ря старого стиля. По народному северному календарю с этого дня начинается холодное время.

З и м н и й б е р е г — восточное побережье Белого моря от Двинской губы до Мезенской.

З н а т л и́ в ы й — знахарь, ведун.

З у ё к — северная птица вроде чайки. Зуйками называли у поморов мальчиков, работавших на промысловых судах.

И к о́ т н и ц а (от слова «икота») — больная особой, вроде падучей, распространенной на Севере болезнью. Кликуша — бранное слово у пинежан и мезенцев.

К а з е́ н к а — каюта на судне, в которой помещался или хозяин, или кормщик.

К а н о́ н — правило, чин.

К а́ н с к а я з е м л я — полуостров Канин, в прежнее время место безлюдное. «В канский мох провалиться» — затеряться, пропасть.

К а́ н т е л е — музыкальный щипковый инструмент вроде гуслей у финнов и карелов.

К а́ р б а с — парусно-гребное судно древнерусского образца для речного и морского прибрежного плавания. Карбас легок и поворотлив на ходу; распространен на Севере до наших дней. Морские карбаса были с палубой.

К е р ё ж к а — вид санок с плетеным кузовом; в них промышленники тащили за собой продовольствие и мелкие снасти.

К о ж а н ы й с т а р е ц — в Соловецком монастыре старец, заведовавший запасами кожи и кожаных изделий.

К о к о́ р а, или к е к о́ р а, — ствол дерева с корневищем; при помощи ее связывают бимсы со шпангоутами. На речных судах заменяет шпангоуты.

К о п ы́ л ь я, к о п о́ л ы, или у т о́ р ы — вертикальные стояки у саней, вделанные в полозья. «Поставить разговор на копылья» — заговорить о главном, основном; «с копыл сбиться» — потерять правильную нить в жизни, сбиться с панталыку.

К е́ м ь — западный берег Белого моря с центром в городе Кемь.

К о́ р г а — каменистый островок или мель, образовавшаяся у берега. К о р г а, или к о р г, — передний вертикальный брус, крепящий обшивку судна спереди — форштевень.

К о р е́ л а — западный берег Беломорья (Карелия).

К о́ р т о м а — аренда.

К о р м щ и к, или к о́ р щ и к, — капитан морского промыслового судна.

К о с т ы́ ч — косоклинный, с застежками по переду, сарафан у староверок.

К о т л я́ н а — судовая артель промышленников на моржей.

К о́ ч а, к о́ ч или к о ч м а́ р а, — древнейшее парусное палубное судно, устройством схожее с лодьей, но значительно меньших размеров. Коча известна на Севере еще во времена новгородского владычества.

К р е н е в о́ й — крепкий.

К р о т е́ т ь — ослабевать, уменьшаться. Кроткая вода — отлив. Зима окротела — конец зимы.

К р я ж — выступ горы.

К о р о б к а н и щ а я — презрительное выражение; на Севере нищие ходили с коробом или корзиной.

К у́ д е с ы — волшебство, чародейство.

К у к у́ л ь — шапочка из меха или тонкого сукна вроде капора или чепца — носили монахи и дети.

К у л ё м к а — ловушка для зверя.

К у м и р и́ ч е с к и е б о г и — боги античной мифологии (от слова «кумир» — изображение языческого бога).

К у́ т е р — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII и XIX веках.

К у́ ф м а н (норвежск.) — купец.

Л а з о́ р и — утренние зори.

Л а́ х т а; л а́ х т и ц а — небольшой морской залив.

Л е в к а́ с — смесь клея или олифы с мелом; левкасом густо покрывали предмет, подлежащий окраске.

Л е к а́ л а — модель, форма частей судна в натуральную величину или части деревянного чертежа, сколоченные на месте постройки судна. Расположение лекал определяет очертания будущего судна.

Л е́ с т о в к а — четки у староверов; полотняные четки клали с умершими.

Летние горы — то же, что и Летний берег — часть побережья Белого моря, влево от устья Двины.

Лихора́дство — злодейство, злой умысел, злой поступок, лиходейство.

Лихте́р — буксирное разгрузочное судно. Товары с больших кораблей выгружаются на лихтеры и так доставляются на берег.

Ло́дья — самое большое из поморских судов, морское палубное трехмачтовое парусное судно. Древняя лодья подымала груз в 12 тысяч пудов.

Лопша́к — годовалый.

Ло́пь, Ло́пский берег — так в старину называли Кольский полуостров, где жили лопь, лопины или лопари — исконные жители Кольского полуострова. (Отсюда — Лапландия.)

Мате́рая вода — места с большими глубинами, глубь; матерый берег — материк; матерый лед — ледник, или глетчер.

Матица — балка, которая поддерживает доски потолка.

Ма́на — (от слова «манить») — обман.

Ма́ра (отсюда — марево) — мираж, густой туман.

Медведь — остров Медвежий.

Межо́нное время, также меженник, межень — тихие дни в середине лета, когда почти совсем нет ветра; уровень рек в это время принимается за норму при исчислении нормального уровня.

Михайлов день — 8 ноября старого стиля; на Груманте начинается полярная ночь.

Наба́т — барабан.

Наблюдник — полка, на которую ставят тарелки на ребро.

Навь — мертвец; навий — относящийся к мертвому.

Навыкновенные дохматы (от слова «навык») — незыблемые правила; привычные, установившиеся порядки.

На́кры — медные тарелки в оркестре.

Напрасный — внезапный.

Натоде́льный — для того сделанный; специально сделанный, приспособленный или предназначенный.

Нать — надо.

Находа́льник (от слова «наход» — набег, наскок) — участник набега, разбойник.

Никóла-вешний — 9 мая старого стиля.

Немецкая слобода — район в Архангельске. Здесь с давних времен жили домами и дворами немцы, англичане и голландцы. До германской войны 1914 года Немецкая слобода слыла самой богатой частью города.

Немóжет (отсюда — неможется) — болеет.

Несоблю́дно — небрежно.

Нестуди́рованный (от слова «штудировать») — неученый.

Никóлин день — 9 мая старого стиля; на Новой Земле — поворот от зимы к весне, прилетают птицы.

Обая́тельный — волшебный, оговоренный (от слова «обаять» — околдовать, очаровать).

Ободвéрина — косяки у дверей.

Огнéло (от слова «гнет») — придавило, прижало.

Одинáкий — единственный.

Ознóба — простуда.

Окýтка (отсюда — окутывать) — одеяло.

Оприкóсить — сглазить.

Остýда — холодок, здесь — холодное отношение.

Относ, унóс, попасть в унос или относ — быть унесенным на льдине.

Отпря́дывать — отскакивать; отпря́дыш, отпря́дный камень — отпрянувший, отскочивший от берега в воду камень, одиноко стоящий в воде камень.

От Петровá до Покровá — от Петрова дня (29 июня старого стиля) до Покрова дня (1 октября старого стиля).

Пáвесть — слухи, недостоверные вести (в отличие от вестей); ни вéсти, ни нáвести — ни вестей, ни слухов, никаких известий.

Палагýнье (поллагуна) — деревянный лагун для молока.

Паволока — холстинка, которую наклеивали на доску, приготовляя последнюю к живописи; потом покрывали левкасом, лощили, полировали, а после этого наносили рисунок.

Партес — нотное пение по партиям.

Паужна — третий в течение дня прием пищи у поморов — промышленников (см. слово «выть»), еда между обедом и ужином.

Переладец — набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку.

Перешерстить — перебрать, переменить.

Побочина — боковая обшивка у судна.

Побывальщина — быль, бывальщина.

Поветерь — попутный ветер; наповетерь — по ветру, на попутный ветер.

Погудальце — смычок для игры на гудке.

Поддон — нижний настил судна, в отличие от верхнего настила — подтоварья.

Породить — прибавить, укрупнить; прибавить силы, здоровья.

Подтоварье — деревянный настил, идущий над днищем судна, на который кладут груз; предохраняет груз от подмочки.

Пожиточный — имеющий много пожитков (имущества), зажиточный.

Поклониться большим обычаем — поклониться в пояс — знак большого уважения.

Покрут — команда промыслового судна; покрут обряжать — набирать, вербовать команду.

Полудник (на полдень, на юг) — южный ветер.

Поливной камень — камень, покрываемый водой во время прилива.

Порато — очень, весьма, сильно, крепко.

Порозно — порожно, пусто.

Порядовный — идущий по одной линии, соседний.

Посолонь (по солнцу) — поворот по солнцу, в направлении движения солнца.

Постановный — степенный.

Постать — статность, осанка; постатейно — статно, прямо, с достоинством; постатейно поет — поет как подобает.

Прибегище — пристань, причал для кораблей.

Постель реки — русло реки.

Приглубый — крутой (под водой) берег, под которым глубоко.

Приправить — приняться; приправить работы — приняться за работу.

Причеть — поэтические речи, распеваемые на Севере женщинами в торжественных случаях жизни.

Провéиться — говорить, высказываться (от слова «вещать»).

Прохватúться — спохватиться.

Прýжить, опружить — опрокидывать.

Прядень — пряжа.

Пых — дух; пых перевести — дух перевести.

Радéть — усердно желать, стремиться.

Рáдоница — родительский день, день поминовения усопших.

Раздóлье — время смены течений; лед в это время расходится, образуя проходы для судов.

Рáпьшина — небольшое поморское судно древнего типа, приспособленное для ранних весенних промыслов.

Рангóут — общее название всех деревянных или стальных брусьев на судне (мачты, реи, стеньги, бушприта), на которых укреплены паруса.

Роями ходить — лавировать.

Рóпак, ропаки — нагроможденье льда, гряды стоящих по берегу льдин.

Рóчить (мореходн.) — закреплять, привязывать; рочить шкоты — крепить шкоты.

Румпель — рычаг для управления судна.

Сáлма — пролив между островами или между островом и материком.

Свéи — шведы.

Свéстен — имеет вести, знает.

Свиль — винтообразно расположенные волокна в дереве, делающие его непригодным для обработки.

Семéнов день, или Семен листопроводец — 1 сентября старого стиля, начало осени.

Сгóрстать — схватить в горсть.

Сивер или север — северный ветер.

Сирин (от греческого слова «сирена») — в памятниках древнерусской письменности и в народных сказках фантастическая птица с женским лицом и грудью.

Скоморóх — бродячий актер в древней Руси.

Слйчные — схожие друг с другом, похожие лицом, одинаковые.

Скорополучно — скоро и благополучно.

Смённый ветер — переменный ветер.

Сóломбала — древний пригород Архангельска; здесь долго сохранялся старый быт.

Спóлохи — северное сияние.

Сряжаться — собираться.

Стадный (от слова «стадо») — многий, многочисленный.

Становой — главный.

Стáрина, или старйна — эпическая песня.

Стéпень — ступень; стать на степени — стать на ступени; степенные — здесь: члены правления.

Стáтки — остатки, наследие, наследство.

Столéшница — дощатая поверхность стола.

Стрáдники — бранное слово; буквально — крестьянин-бедняк, нанявшийся в работники на летнее время (в страду), последний бедняк на деревне.

Стреж — фарватер реки.

Сувóй, или толкунцы — беспорядочное волнение, при встрече противоположных течений или при встрече ветра и течения.

Сурядный — опрятный, порядочный, чистоплотный.

Такелаж — веревочная оснастка судна; стоячий такелаж — снасти, которые удерживают в надлежащем порядке мачты и прочие брусья, служащие для установки парусов; бегучий такелаж — снасти, посредством которых производится управление парусами.

Телдосá — деревянные щиты на дне — внутренняя обшивка палубного судна.

Тертуха — массажистка.

Тинóк, или тинек, — моржовый клык.

Толкучие горы — беспорядочно расположенные горы.

Торосовáтый — малопроходимый из-за скопления торосов — морских льдов.

Троицын день — начало лета на Севере; по церковному календарю — пятидесятый день после пасхи.

Тулйться — прятаться, укрываться.

Турья гора — гора на Западном берегу Белого моря.

Туск (отсюда — тусклый) — непрозрачное, тусклое небо.

Угóр (от слова «гора») — возвышенный, гористый берег: не затопляемая приливом часть берега.

Удробел — оробел.

Упрйг — мера рабочего времени в крестьянстве в прежпее время, — от отдыха до отдыха, примерно треть рабочего дня.

Усадить — украсть.

Устьйне — жители речного устья.

Ушкуйники, или ошкуйники (от слова «ошкуй»), ушкуйная голова, первоначально—промышленники на белого медведя; смелые, отчаянные люди. В древней Руси ушкуйниками назывались ватаги новгородцев, которые в больших лóдьях—ушкуях — ходили на дальние северные реки и занимались разбоем.

Фактория — торговая контора и склад купца за морем, в данном случае — на Груманте.

Хехена — гиена.

Черёва — внутренности рыб.

Черпопáхотные реки — реки, по берегам которых преобладало земледельческое население.

Чýнка — детские санки с высокими побочинами и спинкой — кузовом.

Шаньгá — ячменная лепешка на масле, сметане, с крупой.

Шелóник — юго-западный ветер (с Шелони).

Шкýна — вид морского парусного судна; строились па Севере в XVIII—XIX веках. На шкунах поморы плавали почти до наших дней.

Шнёка — рыбацкое однопарусное судно на Мурмане, образец которого взят у древних норманов. На шнёках поморы промышляли треску еще в начале XX века.

Шнява — род поморского судна, отличалось неповоротливостью.

Штéвни — носовой и кормовой брусья, сдерживающие концы досок, образующих обшивку судна. Поморское название штевня — корч, или упряг.

Э т т а — здесь.

Ю р о в о — стадо морского зверя; ю р о в щ и к — староста артели на промысле морского зверя, самый опытный мореход — промышленник.

Я г р а — протянувшаяся от берега в море подводная отмель.

Я р ь — медная окись, употребляемая в качестве зеленой краски.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРИ-КОРМЩИКИ

РАССКАЗЫ О КОРМЩИКЕ МАРКЕЛЕ УШАКОВЕ



О КОРМЩИКЕ УСТЬЯНЕ БОРОДАТОМ

РАССКАЗЫ ПРО СТАРОГО КОРМЩИКА
ИВАНА РЯДНИКА



МОРСКОЙ УСТАВ ЖИВУЩИЙ



ДРЕВНИЕ ПАМЯТИ